

ЗНАМЯ

ЗНАМЯ

12

1993

12/93

Елена БОННЭР
Без корня и полынь не растет

Владимир ВОЙНОВИЧ
Дело № 34840

Юрий ДАВЫДОВ
Заговор сионистов

Владимир ЕЖОВ
Без меня — тебе!

Андрей НЕМЗЕР
Двойной портрет

Евгений СТАРИКОВ
Антиподы

ДЕКАБРЬ

Журнал «Знамя»

выражает глубокую благодарность фонду «Культурная инициатива» и Джорджу Соросу за ту помощь, которую он оказывал нам на протяжении всего последнего полугодия.



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

Содержание

12

**ДЕКАБРЬ
1993**

Григорий Бакланов. К читателям	3
Михаил Щербаков. Лекарство от государства. Стихи	5
Юрий Давыдов. Заговор сионистов (Конспект частного расследования)	9
Михаил Кукин. К Фурдуеву. Стихи	40
Владимир Войнович. Дело № 34840	44
Ольга Постникова. Понтийская соль. Стихи	121
Владимир Ежов. Без меня — тебе! Фрагмент	125

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Елена Боннэр. Без корня и полынь не растет. Вольные заметки	142
--	-----

Публицистика

Евгений Стариков. Антиподы (Компрадорская и национальная буржуазия в России)	162
Елена Иваницкая. Дедушка надвое сказал	174

Критика

Андрей Немзер. Двойной портрет на фоне заката	183
--	-----

Москва
Издательство
«Пресса»

Евгения Кацева. Описание одной борьбы (Франц Кафка — по-русски)	194
<u>Из почты «Знамени»</u>	201
Содержание журнала «Знамя» за 1993 год	205

Дорогие читатели!

Вы сможете приобрести любой интересующий Вас номер журнала «Знамя» (начиная с № 9 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Интерпол — Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для Вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью — посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Уважаемые читатели!

Семь лет я был редактором журнала «Знамя». Это были разные годы. И годы небывалого подъема надежд и духа от пьянящего глотка свободы; не думалось или думалось во вторую очередь, что цена свободы велика. Она-то и налагает на человека нелегкие обязательства, огромную ответственность. Свободен только тот, кто так же, как свою свободу, уважает свободу другого, не утесняет ничьих прав. И насколько легче и привычней нам отвечать «за все на свете», чем просто отвечать за самого себя.

Журнал наш своими публикациями пытался помочь читателю самостоятельно мыслить, самостоятельно жить и жить не только ради хлеба насущного. Для этого не требовалось вглядываться из-под руки в даль, в обещанное светлое будущее, в этот мираж на горизонте, отдалявшийся по мере приближения. Необходим был опыт провидцев прошлого, тех запретных книг, тех писателей, историков, философов, которые не по плодам, а по самым первым шагам отличили лжепророков, увидели и предсказали, что они всем нам несут. Каждая такая публикация давалась трудно, но мы чувствовали поддержку читателей: по письмам, по тому, как сразу резко вырос тираж журнала. Я не могу забыть сотни и сотни писем и телеграмм, когда директивные органы попытались ограничить подписку на журналы, в том числе — на наш журнал.

«Нам с мужем чуть больше тридцати, мы представители молодого поколения, обделенного правдой, поэтому читаем взахлеб «Знамя» и сохраняем все журналы для подрастающих детей. Ухта. Супруги Борец».

«Обращаюсь к вам инвалид второй группы, бывший учитель. Вот уже несколько лет выписываю «Знамя» и не хочу с ним расставаться. Никому, конечно, это не интересно, но скажу, что ограничена финансами, а еще какое-то наваждение на нашу семью — вынесли четыре гроба. И вот опять похороны... Фетисова А. А., Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области».

«Сам я работаю механизатором в совхозе. В этом году наша семья была единственным подписчиком в нашем почтовом отделении. И вот теперь лимит. У нас только нет лимита на грязь, которую видим, работая на тракторе. Узнав, что в 1989 году «Знамя» будет печатать интересные вещи, нас взяли и отбросили. Кувшинов В. А., Дмитровский район Московской области».

«Неужели за 10 лет сталинской Колымы я не заработал право читать «Знамя»? Вот тебе и перестройка. Болтовня натуральная. А может быть, как на сахар, пришлете мне талончик? Да благословит вас Господь! Соловьев М. И., село Поддорье, Поддорский район Новгородской области».

«Меняю квартальную норму сахара на годовую подписку «Знамени»! Киев. Трегуб».

«Мне не надо тряпок, не надо журнала «Бурда-Моден», я насчет этого спокойна. Но отказаться от «Знамени»... Обидно! Долгие годы сидели, как в конуре, не высовывая голов, мало чем интересуясь, и только-только потянулись к своей истории, экологии, к судьбе Родины, а тут... В. Трефилова. Новокузнецк».

«На 7000 человек нашего завода имени Петрова ПО «Волгограднефтемаш» не дали ни одного номера «Знамени». Инженеры завода. (19 подписей)».

«На весь Владимир с населением в 350 тысяч человек выделено 127 подписок «Знамя»! На заводе, где работает муж, подписок хватило только на администрацию. Алексеева А. А. Владимир».

«Живу одна с детьми и целый год собираю по крохам на подписку. Я лишена многих жизненных благ, у меня нет связей и средств, но книги и журналы для меня святое. И вот теперь я этого счастья лишилась. Что делать? Бегать по библиотекам я не могу, дети малые, а на дом не выписать. Добывать «блат» ценой унижений — не для меня. Н.Смирнова. Львов».

Горько думать, что сегодня многие наши подписчики не в состоянии выписывать журнал: дорог стал. А еще и границы разделили страну.

Перестройка, начатая на ощупь, вслепую, по принципу «Вот раскручу маховик — сама пойдет», пошла дорогами непредвиденными. Полвека назад наши военачальники учились воевать на войне: цвет армии был уничтожен в предвоенные годы. И дорого обошлась эта учеба, за нее солдатскими жизнями заплачено. Вот так же и экономисты в ходе самой перестройки становились экономистами, потому потерь наших считать — не сосчитать. И все же не пойму: как за восемь лет не дать народу накопить себя? Это для меня необъяснимо.

Дважды мы уже пережили трагедию, не гарантированы и впредь. Но началось подспудное, неодолимое движение самой жизни, родина наша возродится.

Все семь лет, которые связывают меня с журналом, мы в меру наших сил способствовали возрождению нашей культуры, старались не дать погаснуть этому священному огню. Журналы в России всегда были центрами духовной жизни, собирали вокруг себя все талантливое, молодое, мыслящее, смелое. Эту традицию мы старались поддерживать.

Сегодня мне — семьдесят. Я благодарю читателей и друзей, которые поздравили меня в тот день. Благодарю авторов журнала. Но я давно уже решил в семьдесят лет оставить журнал, потому что все эти годы писать мне удавалось только урывками. Да и должна происходить нормальная смена поколений. Я оставляю журнал не в плохую для него минуту: он прочно стоит на ногах. И хотя тираж «Знамени» несравним с недавними временами, явление это общее, и по нынешним дням он далеко не плох.

А я вновь хочу стать автором и читателем журнала. Этот номер — последний, который я подписываю.

Григорий Бакланов

Михаил Щербаков

ЛЕКАРСТВО ОТ ГОСУДАРСТВА

* * *

Мы, жители социума, не могущего без войны, граждане гипер-Отечества по прозвищу «тройка-птица», нынче, сложив оружие, с той и с другой стороны сходимся, чтобы на миг побрататься и к тебе обратиться.

Ты — наш потомок общий, грядущий лет через сто, мальчик предполагаемый, воображаемый прапраправнук, нищий наследник наших, трансформирующихся в ничто, дел противоестественных, богопротивных и противоправных.

Кто тебе мы, воинствующие прутья былой метлы?
В судьи или в единомышленники нам ты вроде бы не годишься.
Пропасть между тобою и нами огромна — ведь мы мертвы, ты же еще не родился, мальчик. А Бог даст — и не родишься.

Но, если ты все же явишься, что странно само по себе, и либо жрецом насилия станешь, либо певцом свободы, — долго еще с тобой аукаться будем, учти сие, мы — жившие веком ранее звери твоей породы.

Каждый век выражает по-своему в каждой отдельной стране зависть к чужому будущему и страх перед тьмой загробной; мы выразили это тем, что вырезали звезду у тебя на спине и бросили тебя одного умирать в стране допотопноподобной.

Заклинание

Не ангел я, но врать не буду:
земля ничья, ходи повсюду.

Ходи, где зной тяжел как бездна.
Ходи, не стой, тебе полезно.

Везде узришь простор вольготный.
Чуждайся лишь тропы болотной.

Ходи, где снег блестит жемчужно.
Ты человек, тебе не чуждо.

Она для хилых — смерти злей.
Не в наших силах ладить с ней.

Ходи, где лён, ходи, где маки.
Ходи с бубён, ходи во фраке.

Любой из нас на ней бесславно
погибнет враз, а ты — подавно.

Сердца буди порой дремотной.
Но не ходи тропой болотной.

Не там свернешь, фонарь уронишь,
тонуть начнешь — и весь утонешь.

В аэроплан залезь не глядя.
Начни роман со слов «мой дядя».

Беги оттуда, робок, нем.
Иначе худо будет всем.

Луди, паяй, чуди безбожно.
Но не гуляй, куда не можно.

Главней запрета в мире нет.
Уверуй в это с юных лет.

Не презирай ни Альп, ни Кента.
Обшарь Китай, вернись в Сорренто.

Мадридский двор смени на скотный.
Но дай отпор тропе болотной.

Честное слово, только так.
Спроси любого, скажет всяк.

Никто не враг твоей свободе.
На твой очаг ничто в природе

воды не льет в ущерб горюнью
и не зовет тебя к смиренью.

Наоборот — очнись, развейся,
возьми расчет, влюбись, напейся.

Рискуй добром, теряя здоровье —
всё при одном простом условии...

Но ты, ни в грош его не ставя,
опять идешь, куда не вправо:

среди трясин, во мгле болотной.
Совсем один, как зверь голодный.

Чуме подобный, злобный зверь.
Антропофобный, злобный зверь.
На все способный, злобный зверь.

1993

О, город слез! Мечта, мечта...
Контрольно-пропускной режим.
Раскрась его во все цвета —
вовек не станет он цветным.

Какой бы в нем смычок ни пел,
какой бы кипарис ни рос —
не здесь твои сады, Отрада.
Здесь город слез.

В его стенах, под звон цепей
брожу, прижав ладонь ко лбу.
Здесь мог бы я, хоть сам плебей,
открыто презирать толпу.

Здесь мог бы я, свинцу живот
подставив, избежать седин.

Но, даже умерев, не мог бы
побыть один.

О, город слез! О, кровь и гнев!
Клевретство, мятежи, нужда.
Ликует всяк, чужое съев.
Всё как везде, всё как всегда.

Привычный вид, извечный лад.
Воистину роптать грешно.
Обычные дела животных.
Не Бог весть что.

Не странно ли, что вновь и вновь
пять лет назад, вчера, сейчас —
мне хочется сказать кому-то:
«Помилуй нас»?

Фармацевт

Волнуйся, знахарь, о травах, почве, камнях, золе.
Снабжай сигнатурой склянку, словно ларец ключом.
Пекись о добротном тигле, об огневом котле.
О звонких весах заботься. Более ни о чем.

Сто тысяч лиц исказятся, гневно задрав носы:
мол, стрéлок ты не следишь и эпохи пульс потерял.
Меж тем — вот палец твой, он на пульсе. А вот часы,
они идут, и довольно быстро, я проверял.

Сто тысяч глаз, то есть двести тысяч, берем вдвойне,
на зелье твое посмотрят, как на исчадь зла.
А ты доверься ни в коей мере не им, но мне.
Я первый приду отведать из твоего котла.

Сто тысяч ртов напрягутся, как только я и ты
бальзам разольем по чаркам, даже не дав остыть.
«Не пейте, вам станет плохо!» — запричитают рты.
А нам и так уже плохо, что ж мы будем не пить?

Сто тысяч лбов, начиненных мудростью лет и зим,
замрут, не решив, как быть, едва лишь я намекну,
что даже отдыха ради ты отойдешь не к ним,
а к сыну Ночи и брату Смерти, то есть ко сну.

Кому же и спать-то сладко, как не тебе, врачу?
Дремли, покуда в котле твоем, закипая в срок,
бурлит лекарство от государства, пей не хочу,
оно же средство от людоедства, рубль пузырек.

Я сам бы спал, да бальзам гудит, аромат плывет,
объяв район, а также примкнувший к нему пустырь,
плывут индийские перцы, гвоздика, шафран и мед,
мускатный цвет, кардамон, орехи, изюм, имбирь...

* * *

Ей двадцать восемь лет, она уже вполне во власти
привычек, коим грош цена.

Она не в силах не любить собак, цветы и сласти,
зато в объятьях холодна.

Красы не много в ней, хотя черты чисты и хрупки,
но меркнет даже то, что есть, —

от нераденья, от зевка, от телефонной трубки,
от неуменья встать и сесть.

Людских законов не ценя, она в усердьи милым
блюдет законы божества.

При этом ближнему вредит с религиозным пылом
и полагает, что права.

Вопрос нехитрый ей задав при ординарной встрече,
не жди простого «да» иль «нет»:

она из тех, кто предпочтет членораздельной речи
полумычанье-полубред.

Пою о ней, когда, раздевшись, как и должно летом,
на берегу или в лесу

она спешит покрыться тем ненатуральным цветом,
который мало ей к лицу.

Пою о ней, когда, забравшись в шубу, как в берлогу,
по мостовым родных трущоб

январским днем она идет, заняв собой дорогу:
все люди, падайте в сугроб!

Но тут, быть может, кто-нибудь из оппонентов строгих
воскликнет с пеной на губе:

«Да кто же, кто сия модель твоих словес убогих?
И кем приходится тебе?»

А я отвечаю, словно я не я и хата с краю,
как подобает рифмачу:

«Побойтесь Бога, я ее не только что не знаю,
ее и знать я не хочу».

О чем, зачем, к чему... пускай решает сам, кто слышит.
Решит — и будет в барыше.

Бумага терпит, карандаш скрипит, контора пишет.
Душа тоскует о душе.

* * *

Пренебреги приятностью обряда,
не объявляй помолвки с иноверцем:
кто воспылал любовью неземною,
тот редко прав, а счастлив еще реже.
Стань холодна, тебе к лицу прохлада.
Коль выбирать меж разумом и сердцем,

пренебреги последним — то есть мною.
Не отвечай безумцу — то есть мне же.

Как ходит бык, не зная реверанса,
так я хожу, развлечься не умея.
Вокруг меня — лишь кровь да неизвестность,
и мой напев едва ль зовет ко благу.
Как от чумы беги от мезальянса,
остепенись — и будь вперед умнее:
люби одну изящную словесность,
но не люби бездомного бродягу.

В последний раз с последним безразличьем
взгляни туда, где хуже быть не может,
где посреди кровавого ненастья
реву быком, и хрипну я, и гложну;
но не спеши, гнушаясь ревом бычьим,
тех предпочесть, кто меч в уста мне вложит.
Вообрази, что я пою от счастья —
и так и буду петь, пока не сдохну...

Не плачь, не плачь. Не больно и хотелось.
Гляди на всё холодными глазами.
На всех двуногих, чуждых воспитанью,
которым грех не грех, могила спишет.
И на одно из них, что вдруг распелось,
на существо с разъятыми зубами,
на это вот, с надорванной гортанью...
Гляди, гляди! Оно уже не дышит.

* * *

После холодности безбрежной,
безнадежной, из года в год,
после медленной этой казни,
затяжной, как болезнь, как песнь,
ты, Бог весть для какой причуды,
глаз и рук своих ад и мед
вдруг распаиваешь навстречу
мне, забывшему, кто я есмь.

И молчу я, дыша едва.
Сердце вспыхивает и гаснет.
Слух не внемлет. Ни рук, ни глаз
нет.

Гортань мертва.

Так, быть может, иной пернатый
с юных дней в стенах четырех,
позабыв назначение крыльев,
долгий срок живет взаперти,
и, когда он уже не птица,
кто-нибудь — невзначай, врасплох —
открывает ему просторы:
что, мол, делать с тобой! Лети.

Но ведь это — янтарь, слюда,
безделушка ручной работы.
Уж какие ему полеты!
Беда, беда...

А представь-ка себе, что узник,
не найдя на окне замка,
от внезапности ошалев
и шагнет, ошалев, в окно —
потому что, увидев небо
без малейшего огонька,
возомнит, что оно в алмазах.
А такое не всем дано.

Только гений он или бахвал —
мягче камни внизу не станут.
Обманулся или обманут —
равно пропал.

Берегись выпускать на волю
сумасброда, слепца, певца.
Берегись, он весьма опасен,
ибо с бездной путает высь.
Если ж выпустишь, то немедля
сожаленье сотри с лица,
задави в себе состраданье
и тогда уж — не берегись.

Можешь с легкой душой смотреть,
как он, падая, улыбнется:
что, мол, делать с тобой! Придется
и впрямь лететь...

Юрий Давыдов

ЗАГОВОР СИОНИСТОВ

КОНСПЕКТ ЧАСТНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, и Пинхус Бромберг это знал. Да вдруг и обратился письменно в родные палестины: «Постарайтесь прислать в Петербург человека, умеющего делать обрезание».

Тайна переписки? Не было ее и не будет. Письмо скопировали. Сакраментальное — «обрезание» — подчеркнули. А рядом, на полях, толстым красным карандашом обозначили увесистый знак восклицания. Получилось графическое изображение предмета, обреченного живосечению.

Спецслужба города Петра однажды и навсегда выяснила, что Петр, апостол, извините, еврейской национальности, давно обрезан. Однако спецслужба справедливо полагала, что крайняя плоть нужна, а крайние взгляды не нужны. И посему возникло дело «О противозаконных действиях еврея Бромберга».

Дело серьезное, архисекретное; в том нет сомненья. Но по ходу нашего частного расследования всплыло, как Атлантида, нечто, не снившееся мудрецам сионским.

В конспекте, представленном читателю, литературы ни на грош. Как раз тот случай, над которым потешался эмигрант В. В. Набоков: бедняге не достало ума самому придумать какую-нибудь историю.

Но коль ты следовательно... Пойди найди такого, чтоб не придумал. А тут, повторим, все так, как было.

Отметим только, что Пинхус Бромберг явится не сразу. Он здесь подброшен, словно бы приманка в зачине детективных повестей. На это, кажется, ума у всех хватает.

Итак, начнем, призвав на помощь сестру таланта.

РАКЕЕВА Ф. С. теперь никто уж не вспомнит. Порос травой забвенья смоленский дворянин. А ведь какой был человек! Он конвоировал в Святые горы Пушкина, убитого на Черной речке. Спусти десятилетия арестовал Гаврилыча да и доставил в крепость — пусть в каземате, как в могиле, сочинит «Что делать?». И вот вам связь времен, ей не дано порваться.

Служил он долго-долго в корпусе жандармов. А благодарности потомков ни на табачную понюшку. Лишь кто-то, очень равнодушный, отметил в мемуарах: имел Ракеев пренеприятнейшее выражение лица. Наблюденье странное! Принимаемая меры пресечения, приятность можно ль сохранить? А ежели физиономия заветренна, как окорок, так надо ж знать — полжизни он провел в дороге.

На бесконечных трактах в просторах родины, скажу, как эпик, шапку посунул ямщик по самые брови, вожжи забрал в кулак. Но, человек простой, он обращается к Буяну, как лирик: «Уважь!» И приглашает Маньку: «Гляди не выдай!» И просит Дуньку: «Постарайся!» Уважат, постараются, не выдадут. И вот уж легендарная, и вот необгонимая несется, гремят мосты, ну и так далее. Вопрос, однако, задан: куда несешься; чудо-тройка? И дан ответ: нет, не дает ответа. Ракеев же, наш Федор Спиридоныч, пожав плечами, отвечал: зри, судырь, подорожную.

И верно, на гербовой, орленой указано, куда. И сколько верст рвать грудью воздух. А ведь версте синоним — поприще. Есть подорожная, есть и поприще. И приложением зри, сударь, дорожный «Указатель», он

новенький, он пахнет типографией. И тут уж Гоголь на все проклятые вопросы дает ответ прямой: книжка издана довольно укладисто, но карту было б лучше поместить по частям, между страницами. Есть указание и «Указатель», есть и поприще. А утеряешь, будешь ты Поприщин и сядешь в желтый дом.

Спиридоныч и молодым-то не терял. А поприще он начал так.

Цезарь путешествовал в губерниях. На трактах видел нищих и огорчался. Распорядился: «Чтоб этого впредь не было!» Одну некраткую дистанцию доверили Ракееву, он нищих быстро упразднил. Его рачительность была замечена. А далее пошло-поехало по высочайшим повелениям.

Скажите: «Здравствуй» — он ныне воротился из привисленских краев. Там ловко-тайно раздобыл и пуговицы фрачные, и перстни со знаками ма-сонскими. Но погодите, господа, нас «логарифмы» ждут; они в прямой связи со стержнем заговора сионистов.

А покажет Спиридоныч без мундира, лицом приятный, приемлет отдых в семейном круге.

Э, врет пословица — мол, от трудов-то праведных не наживешь палат каменных. В наследственной берлоге, на Смоленщине, всего-то навсего семнадцать душ. А здесь, в столице, на Большой Подъяческой — смотрите не дорожник, нет, «Адресную книгу», — он домовладелец.

Супруга Анна в хлопотах метет подолом, запястья в ниточку, ох-ох, желанная. Дочь Лизанька волочит куклу за ногу, как на правёж, а папенька смеется одобрительно. И одобрительно кивает он Егорушке: тот сабелькой выделывает пресамобытный артикул. А на столе-то рюмочка-кубышечка к графинчику похаживает, сварливый самовар фырчит, он с алкоголем выясняет отношения.

То ли дело, братцы, дома! Да вот уж завтра снова поприще.

— ГОНИ, ГОНИ, ВЫКИДЫВАЙ КОЛЕНЦА!

Их было три, все чудо-тройки в метельном дыме.

Слепили хлопья штаб-ротмистра Слепцова. Он адъютант, он из столицы. Там, в Северной Пальмире, вершилось следствие над декабристами, и северными, и южными. А генеральский адъютант стремился к пункту, который на генеральной карте не обозначен даже точкой, не то чтобы кружком: сей пункт — в канаве.

А следом за Слепцовым мчал Ракеев в тулупе, эдакой колодой. С ним рядом подпоручик Заикин I-й. Его везут. Везут из крепости Петра и Павла, из каземата Кронверкской куртны. Везут на край Украйны в ручных железах — кандалный бряк с глухим пришлопом.

Не грех и покалякать с арестантом. Запрещено? Ракееву случалось инструкцию расклинивать беседой. Жандармский офицер, но ведь русак, а не прусак. Да нынче-то, гляди-ка, оробел Ракеев, хоть видом подпоручик прост, как репа: власами желт, глазами светел, нос туповат. Принимая арестанта, Ракеев трижды сверил его приметы. Да-с, носом туповат, ан мыслями, видать, остер.

Заикин I-й обещался указать, где клад зарыт. Сундук иль ящик есть собственность злодея Пестеля. У-у, вурдалак с предлинными зубами. Все клады ихние уж непременно под зарокон. Кто расточит зарок, тому он дастся в руки. Так вот, ка-акой зарок исполнит Заикин I-й, хоть видом прост, как репа?.. Ах, Спиридоныч, ты суеверием смущен. Ну, как не стыдно, на тебе нательный крест. Нет, робеет, служебным ухом отмечая, надежен ли кандалный бряк с глухим пришлопом. Молчит и подпоручик-арестант.

Он здесь служил, на Юге. Прельщенный Пестелем, прельстился тайным Южным обществом. Полковник, бывало, музицировал: Моцарт и Глюк. Одной любви музыка уступает. По мнению Заикина, любви к Свободе. И Пестель все писал, писал, писал. В канун ареста прижал ладонью рукопись, а грудь — тяжелым, как у Бонапарта, подбородком. Сказал: «Жилы будут тянуть, ни в чем не сознаюсь...»

Тогда ж, в канун ареста, предмет его раздумий трудных свернули плотно, пометили конспиративно: «логарифмы» — да и зарыли в ночь и в землю, как заповедный клад.

А очень скоро Заикин I-й шагами мерил каземат. Нервно мерил и диагональ, и стороны прямоугольника в Кронверкской куртине, номер три-

дцать. Повтором этих «ррр» был «карр» ворон, круживших над куртиной, над крепостью с курантами. Повтором граю был вопрос из самых грозных: «Не запирайтесь, укажите, где бумаги Пестеля?» Но все как в рот воды набрали, тем самым увеличивая кару. Заикин I-й наконец решился укоротить ее. Самосбман, внушенный страхом? Быть может, так. Когда казнили Пестеля, когда полковник, вытянувшись длин-н-но, ушел, как на пуантах, куда-то ввысь, казнили наш Заикин. И было так до самой смерти на берегу угрюмого Витима, где золото роют в горах. Но здесь, сейчас он должен вырыть «логарифмы».

И думал он о бок с Ракеевым, он думал, черт возьми, как в Тульчине служилось весело. На въезде в городок и горячо, и плотно шумели тополя. И сразу видишь красивый пруд, на берегу костел. Ксёндз с офицерами дружил, союзно негодуя, что монастырь здесь, в Тульчине, доминиканский монастырь — увы, мужской. А пуще всех негодовал майор, имевший прозвище Лука Мудищев. Но это слишком грубо, ведь Ащеулов был поэт, поэт соитий... Служилось весело, и прапорщик Заикин вдруг обозлился на Пестеля, полковника... Готовясь к высочайшим смотрам, друг Свободы солдатам спуску не давал; полковником владела рифма: «эзекуция» и «конституция». Пусть нижний чин своей нижней плотью почувствует, что значит деспотизм. И возопит: о дайте, дайте конституцию... Метелица, ложась, заголубела, латунью выплыл месяц и зачернил корчму. Тотчас же у Заикина забилось сердце и, екнув, сжалось тоской предательства: близка канавка, где зарыли «логарифмы», и это было то, что называлось «Русской правдой». Ее зарыли, как под забором, за жесткой чередой кустов. Ужель и вправду плясать и плакать под забором, а месяц из латуни будет плыть над голубой метелью?

Он плыл, налитый ярко, метель ушла в поземку, звенели заступ и лопата, снег наново отбеливал комья черные, как антрацит, они блестели — и вот он, этот клад, там правда русская, проент гражданского устройства великого народа. С учетом малого...

Покамест вы недоумеваете, штаб-ротмистр Слепцов не бродит, как слепой по пряслу, он в Петербург спешит с претолстым свертком. Ракеев с неприятным выраженьем на лице везет несчастного Заикина, служебным ухом отмечая надежный бряк с глухим прищелпом.

ПОПОВ М. М., чиновник того же ведомства, что и капитан Ракеев, однако не так-то прост, как правда. О нем бы надо прозой... этой... как бишь ее?... психо-ло-ги-ческой. Но ею пишет всякой. Изыщем достоверное, и баста.

Когда-то в Пензенской гимназии Михаил Максимыч внушал всем юношам божественный глагол. Одни внимали с чувством; иные ну ни в зуб ногой, хоть ты дрови их гневным ямбом. Из первых первым шел гимназист с серьезным именем — Виссарион. Любил Попова и не забыл, как первую любовь.

Вот тут и фунт! Стал Виссарион — Неистовым, Попов пошел в жандармы. Они встречались и в Москве, и в Петербурге. Встречаясь, лобызались. Ах, не судите вы Белинского. И без того уж виноват. И обращеньем к Гоголю. И тем, что прочил нас в чело цивилизации. Он так ошибся, мы так наказаны. Однако сказано: не след перебираться в прошлое с тяжелой кладью домашних впечатлений. Простим Белинскому гонения на Гоголя. Попову же простим... Об этом будет речь.

Михал Максимыч среди жандармов отличался мягкой просвещенностью. И Бенкендорф, представте, его ценил. Он поручил Попову, помимо прочих дел, внимательное чтение всех писем, всех бумаг. Да, исходящих, но не из ведомства его сиятельства, а из мест заключения государственных преступников, сказать иначе, декабристов. И потому бумаги эти были проходящими чрез ведомство его сиятельства и снова исходящими — теперь уж к адресатам. Словесник наш любил цезуры и не любил цензуры. Да что ж попишешь, ежели предписано?

Из этого досмотра и просмотра возникло заочное, одностороннее общение Попова с Вильгельмом Кюхельбекером. Поэт, прозаик, критик был пленником не только Музы, но и Церберов. Сидел он в крепости, на малом островке близ Гельсингфорса. Свободы был лишен он на пятнадцать лет,

но права переписки не лишен, что как-то подрывает убеждение в престижности деспотизма при царизме. Сидел он в тесном каземате, но ежедневно волю обретал, переводя Шекспира и изводя чернила на собственные сочинения.

Его посланья к родственникам Попов читал цензурным оком, а сочиненья — как ценитель божественных глаголов. Сему способствовало совпадение оценок. Там, в каторжной норе, Кюхельбекер прочел однажды какую-то журнальную статью Белинского. Прочтя, предположил, что автор, должно быть, очень молод — он нетерпим, односторонен. И обер-аудитор согласно улыбнулся.

Потом приспели сроки, сошлись они, что называется, глобально. Тут исключалась нетерпимость. Ее за скобки вывел персидский царь, и Зоровавель, герой поэмы Кюхельбекера, вывел иудеев из вавилонского пленения.

Положим, каторжанин полагал, что так поступит русский царь и с ним самим, и с братьями его во глубине сибирских руд. У выхода из каторжной норы их примет радостно не буйная Свобода, нет, надежда возвести Храм внутренний, Храм Господа своего.

Положим, Кюхельбекер думал так. Попов Михал Максимыч, склоняясь близоруко над рукописною поэмой «Зоровавель», сместил виденье поэтическое в прозаическое.

А вам, читатель, надо наперед признать, что белыми ночами и небывалое бывает. Особенно тогда, когда ты рьяно занят следствием по делу сионистов.

ВЫ ГОВОРИТЕ: наше северное лето карикатура южных зим? Согласен. Но, несмотря на это, премиленькую дачку для своего семейства нанимал Попов. От Питера верст тридцать по Петергофскому шоссе. Сосенок несколько, кусты и цветики, и сыровато, и комары, как водится, звенят. Зато дар взморья не какой-то солнцедар, нет, облака и чайки. И в монрепо, конечно, круглая беседка. Беседовали мы там с Михал Максимычем. Вопрос был бесконечен, как, прямо скажем, Млечный путь. Скажу вам также, что не вдруг, нет, в разрезе историческом возник старик Державин: мурмолка и шлафрок, ворчлив и мудр.

На заданную тему говорил неспешно. Он, в гроб сходя, заметил, что чирей назревает, а лопнет, будет много гною. Да-с, так-то, господа. И по-сему он, будучи министром, предположение сделал даровать евреям землю в губерниях Новороссийской и Астраханской. Ладно вышло на бумаге, на деле вышел пшик. Иудей, извольте ли знать, повсюду в Старом свете гость. Укореняться не то чтоб не желает, по естеству не может, ибо он в извечном ожиданьи: ждет и тогда, когда о сём не помышляет. Старик прибавил важно: «Исхода ждет на земли праотцов». И, покряхтев, спросил: «А где тут, братец, у тебя нужник?»

И не вернулся — послышался стук дрожек на шоссе. Не захотел, видеть, рукоположить в поэты хоть и словесника, но обер-аудитора. И это было справедливо: не пунш дымился на столе, а чай. Попов мундштук сосал, топырил губы, кхекал, ведь трезвеннику не дано и покурить-то всласть. Он не живет, а только существует. При этом, правда, мыслит.

Того, кто мыслит, заедают комары. Оно конечно, коль много комаров толчется, быть овсам хорошим. Увы, Попов не думал об овсах, и мы отправились на лукоморье, где ходит-бродит Кот ученый.

Нас провожал вечерний звон. Он много дум наводит. А иногда заводит в желтый дом — звонили рядом с дачей; в больнице Всех Скорбящих сзывали к ужину всех сумасшедших. А встретили нас облака, воздушная кронштадтская эскадра, везущая стройматериал для возведения воздушных замков. И этим занялся Попов. Граф Бенкендорф ему препоручил сложнейший из множества сюжетов — вопрос еврейский.

И вам, и мне известны сужденья на сей счет. Попов свое суждение имел.

Он полагал — война Двенадцатого года явила нам еврейскую приверженность России и офицерскую приверженность к евреям местечковым. Когда же наши повара в ошип пустили наполеоновых орлов, евреи западных губерний встречали русских как освободителей. Поляки — как победителей. Разница!.. Ну, войне конец, и гром победы раздавайся. Подобно рус-

не «тыкайте», прошу. Как раз вот потому, что следовательно, беру в расчет и топографию, чего не делают беллетристы, а уж подавно литературоведы, и оттого-то зачастую бродят, как впотьмах, и порят дичь. Да, у Фонтанки, у Цепного моста. Но позже. А тогда, тогда на набережной Мойки, у Красного моста, и не извольте «тыкать».

Сейчас пора вам «ахать» или «охать» в зависимости от направления чувств и мыслей, а также оттого, что верх возьмет.

Да, дежурный офицер зевал, а часовые не дремали на посту. Попов Михаил Максимыч припозднился в доме с окнами на Мойку. Мерцали лишь фрамуги, а створки нараспашку. Тепло, белесый сумрак. Но, приглядевшись, видишь, наш обер-аудитор словно бы в ознобе. А на столе — бумага. Прочтешь и без лампы, что Пестель написал, когда полковником работал над «Русской правдой», для роздыха садясь за фортепиано — Моцарт и Глюк.

СОДЕЙСТВОВАТЬ ЕВРЕЯМ к учреждению особенного отдельного государства в какой-либо части Малой Азии. Для сего назначить сборный пункт еврейского народа и дать несколько войск им в подкрепление. Они смогут одолеть все турецкие препоны, пройти всю Турцию Европейскую, перейти в Турцию Азиатскую и там устроить Еврейское государство. Сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости.

КОЛЬ СКОРО ТЕКСТ ошеломительный, подтекст и вовсе оглушительный, необходимо вникнуть — как исполинский сей проект настиг и ознобил Попова. Да как не ознобить, а вслед не бросить в жар: решение еврейского вопроса. Окончательное! Бескровное, если кровью не считать препоны басурманские...

Теперь уж не скажут ни камень, ни крест, где «Русская правда» лежала. Но помнится: в канаве, при дороге. Там зимней ночью мельтешили фонари, лопаты, заступы звенели и стучали, а комья черные, как антрацит, спешила забелить поземка.

А вскоре в Зимнем царь Николай бежал глазами «Правду» на предмет царевийства. Но «логарифмы» на сей счет ни полсловечка. И государь, вздохнувши с облегченьем, переменял четвертованье Пестеля на умерщвление в петле-удавке. «Могли бы нас и расстрелять», — сказал герой. Бородина не государю, не анналов ради.

Его проекты читал и Бенкендорф. Внимательно. Мы это утверждаем. Читал и тот раздел, где предлагалось предприятие исполинское, требующее гениальной предприимчивости. Мы это предполагаем.

Потом могилой «Русской правды» была не яма — Государственный архив, что на Дворцовой, напротив Зимнего. В архиве княжил тяжелый, как медведь, Поленов, к бумагам допуская лишь по царскому хотению, да и то ворча и медля. Но Попова прислал сам Бенкендорф, и тут уж нечего годить. Попов читал, и в тишине так крупно цокали напольные часы. Да вдруг и прозвонили над «логарифмом» судьбоносным...

А белыми ночами, мы говорили, и небывалое бывает.

Затихло все и, словно на подмошки, вышли Попов, казненный Пестель с пониженьем головой, зек Кюхельбекер, автор «Зоровавеля».

Втроем они стояли у окна. И вдаль глядели.

Шли караваны еврейского Исхода, блестели русские штыки.

А ГДЕ-ТО ТАМ, за Мойкой, спал Пинхус Бромберг.

Вы помните? Вы все, конечно, помните! Взволнованно ходили вы по комнате — ведь этот Бромберг затребовал во град Петра единоверца, умеющего делать обрезание.

ПИНХУСА РОДИЛ ИОСИФ. Родитель вскоре был убит драгуном Великой Армии. Не потому, что предки предали Христа, а потому, что Бромберг-старший не продал русских и, как лазутчик, обманул французов.

Жена его звалась Сарой. Ее убили драгуны того же энского полка Великой Армии. Не потому что она в местечке была библейскою Юдифью, а потому что Сара противилась насилью скопом.

За малолетним Пинхусом сочувственно присматривал кагал, род местного, простите, местечкового самоуправления. А дядя Соломон из Вильны или Варшавы, в точности установить не удалось, не оставлял племянника советами. Этот дядя был бы честных правил, когда бы не был сионистским эмиссаром, что, впрочем, обнаружилось гораздо позже. По-настоящему заботилась о сироте: сердобольная душа из Бромбергов. Из тех, что некогда откочевали на восток, оставив Бромберг-городок, который в Познани. В ветхом доме на краю местечка царила опрятность бедности. И это хорошо, красиво — ведь бедность красит, как красная попона на серой лошади.

Раввином можешь ты не стать, но вундеркиндом быть обязан. И посему в зубрежке книги «Бытия» сиротка наш все зубы съел, тогда еще молочные. Взамен он овладел — евреи так расчетливы — древнееврейским. Потом уж годы, годы над бесконечными пространствами Талмуда, в его бездонных глубях.

Знаете ли вы, как тиха украинская ночь? О да, прозрачно небо, звезды блещут. Мы все учились понемногу не где-нибудь, а в средней школе. Но знаете ли вы, что значит «знать Талмуд на иглу»? О-о, вы не учились в иешевоте, как Пинхус Бромберг.

А было так. Учитель-меламед раскроет Талмуд наобум да и воткнет с нажимом портняжную иглу. Все мальчики нишкнут. А меламед укажет: «Пусть отвечает Пинхус». И тот, не запинаясь, скажет, какие именно слова игла пронзила на всех страницах. Вот это, братья-сестры, да! Такое и не снилось изучавшим «Краткий курс». А почему? Да, знаете ли, автор зубы искрошил от ненависти к талмудистам, взамен снискав — он был расчетлив — любовь народных масс. К тому ж на жесты он скупился. А талмудистам на диспуте не гож был ни сухорукий, ни плоскостопый.

В еврейских диспутах на талмудические темы жестам не было числа. Одним из главных считался большой палец. О, Господи, да это ж наше-ское «на большой»! Дурное следствие проникновения местечек в повсеместность. Как хорошо, что забылось. Но — заметим в скобках — что делать нам с субботой? Еврейский нерабочий день теперь уж всероссийский. И шире — на одной шестой. Попробуйте-ка отменить! Тотчас же социальный взрыв. И православный, и буддийский, и мусульманский. Суббота, черт дери, опять же следствие иудаизма.

Вернемся, впрочем, к жестам. Жестикуляция сильнее артикуляции. Мысль изреченная есть ложь. Жест выразит ее неложно. Не устоишь ты в словопрени, евреи скажут, посмеиваясь в бороды: «Хе-хе, ни рук, ни ног у этого, и не хватило...» О Пинхусе, красе местечка, так не говорили.

Ему б в равнины. Но мы установили по ходу следствия — раввинов не было в роду у Бромбергов. Без генетической поддержки успеха не видать. Но импульс был из Вильны. Там дядя Соломон держал торговлю скобяным товаром. Племянника позвал, сказал, что жизнь прожить — не поле перейти, а волочить, как волокушу, товар, товар, товар. Не ограничившись советом, ссудил первоначальный капитал и приискал невесту.

Дензнаки были салынными, как ужас малолетства: изловит гой и, гогоча, отрефит — намажет губы салом. А то возьмет и запихает в судорожный рот колбасы шматок...! Отрефят! Не то, что нынешнее племя, — меняется менталитет — всё колбасы да колбасы.

Да, ассигнации он осызгал; невесту — только после свадьбы.

Ривке Гитл (так в документе) было уж тринадцать — девчонка засиделась в девках. Однако не будем вторить еврейскому поэту, тот описал еврейку: изъеденные вшами косы да шеи лошадиный поворот. Нет, стройна и чернобрива. И Пинхус предельно-искренне признал: «Ты мне посвящена кольцом по закону Моисея и Израиля».

На свадьбе наяривали скрипки, их урезонивал серьезный контрабас, а бубен отрешенно бил. Девицы, как и дамы, заслуженные во супружестве, танцевали. Но без кавалеров. Они, достойные мужчины, уже откушали куриного бульона; его золотая зыбь падежно защищала тракт, который пищу нам варит, от бурных натисков напитков алкогольных, и кавалеры, не тан-

цую, лоснясь, хмелели весьма пристойно. Да вдруг и завели какой-то древний танец... Впрочем, нет, не вдруг, а когда уже невеста, потупясь, тихонько удалась... Танец медленный, с припевом монотонным: «Берите, берите, берите его...» И ласковым тычком в три шеи словно б затолкали Пинхуса в ту комнату, где было ложе с приложением Гитель Ривки (так в документе).

Сказал бы вам, что, мол, она чувствовала в темноте, как у нее глаза блестят, да вы, уверен, глумливо усмехнетесь: позвольте-ка, чувство это принадлежит Карениной, которая скорее Анна, чем Ривка. Пусть так. Но вот что несомненно: Пинхус ей пришелся ко двору, и с этой ночи Ривка поехала.

А далее чету несла буда, пародия на дилижанс. И будущие папа-мама не куда-то ехали — домой, в местечко, где родился Пинхус Бромберг. Их с кровель провожали аисты. Им в поле жаворонок пел. Им было тесно, но не обидно. Смуглое лето, буда плыла враскачку, вперевалку.

Тяжелая, увалистая, она, стена и скрипя, одолевала за день верст десять. Колыхались картузы, пыль порошила бороды и пейсы, и все сидели, как в приемной у дантиста. Но это бы куда ни шло. Возница слишком часто вспоминал, что и у лошадей есть право отдохнуть. Одры понуро отдувались. Возница флегматично трубочкой пых-пых. Поднимался ропот недовольных пассажиров. Рисунок нервных жестов был замысловат. Все пресекал возница беззловонным басом: «Хазаны, ша!»

И это было бы смешно, когда бы ехали одни хазаны-певчие, услада си-нагог. Но разделение труда давно свершилось. Еврейский шарж на дилижанс перемещал в пространстве западных губерний портных, лудить-паять, и лекарей, и проповедников-магидов, и винокуров, и всяческих разборов коммерсантов. Народец малый, как их ученый дяденька назвал, был странником, как Вечный Жид.

И потому, наверное, приключался специфический момент, всегда внезапный, как толчок подземный. Возница обращался к лошадям, как море — к берегам, на непонятном языке. И тотчас же буда вставала, словно бы ковчег... «Движенья нет», — сказал один мудрец; другой смолчал и стал пред ним ходить... Ходил возница, подруги трогал, трогал и колеса... Между прочим, вопрос в литературе знаменитый: «доедет — не доедет» — отнюдь не юмор и не усмешка над мужичками — они решали задачу сопромата, и это следовало бы знать оголеведам. Еврей давно решил — доедет! — и думал о другом. Он в ухе ковырял корявым пальцем, засим — в каржавой бороде. Все население ковчега, онемев, за ним следило молящим взглядом. И наконец меланхолически, а вместе и лирически ронял он будто б в никуда одно лишь слово: «Кербель...» Нет, не надо ассоциаций с памятным Маркус, хотя, и это вам известно, его сработал Кербель. Возница знал, как слово отзовется. Гвалт поднимался, взлетали кулаки и картузы, а чепчики взлетали в воздух не радостно, а гневно. Тиран проселочных дорог, свой ультиматум объявив, он требовал добавить «кербель», что значит «рубль», ходил туда-сюда, подруги трогал, колесо, а трубочкою-носогрейкой пых-пых... О, роковой момент и специфический, и от судьбы защиты нет. Звенит уж серебро светло, и медяки побрякивают тупо: ну, делать нечего, давайте-ка, еврей, складчину.

И вот уж вновь движенье есть.

Им аисты кивали длинным носом. Им пели жаворонки. Буда плыла враскачку, а марево замаривало. Но Ривка с Пинхусом и в дрёме держались за руки: морок был отраден — мерещилась каморка постоянного двора; там мухи и клопы, но Пинхус, как было сказано, пришелся Ривке ко двору.

В местечках на заре кричали петухи. Евреи выпевали: «Слушай, Израиль!» И, смежив веки, смотрели на Восток. Из радужных кругов и в радужных кругах был Храм. Доедет иль не доедет колесо? От поколенья к поколенью ехало оно, в местечках знали — доедет. Так начинался день, а каждому довольно злобы дня.

Но вот уж меркнет пятница. Какой-нибудь Юдель, общественник, обходит дом за домом. Он молотком бьет в двери, как масон, и объявляет важно, как мажордом: «Еврей, в баню!» А в бане заправляет какой-нибудь Арон. По совместительству известный всей округе исполнитель погребальных песнопений, а также балагур на свадьбах. Согласитесь, талантлив он, притом надолго.

А во субботу всё тот же Юдель, общественник, не смеет в руки взять молоток, но зычен, как и в пятницу: «Евреи, в синагогу!»

С ГОДАМИ МИКРОКОСМ МЕСТЕЧЕК стал тесен Пинхусу.

Он трудился. С Сизифом аналогий нет и быть не может. Сизиф был греком, а Бромберг, сами понимаете, не еллин, а иудей. Правда, есть мнение: греки-де в торговой кривде дают всем фору, они, мол, фавориты у фортуны. Евреи и армяне идут ноздря в ноздю, но грек — спешит навыпередки. Но это очень, очень спорно. Бесспорна частность: Пинхус Бромберг «знал на иглу» не только Талмуд, а и гроссбух, иначе бы не стал купцом второгильдейским. С прикидкой на выход из микрокосма.

Напрасно Ривка напевала что-то вроде «Наш уголок я убрала цветами»; по канцелярской справке «уголком» был новый дом под крышей белой жести и весьма обширный двор с надворными кирпичными строениями. Напрасно детки разливались в три ручья; по канцелярской справке их было столько ж. Тщетно. Наш нежный Пинхус оставался непреклонен. Он целовал семейство, потом — мезусис на дверях, тот талисман, который странников хранил и был залогом возвращения к очагу.

ЯВЛЕНИЮ ПИНХУСА В СТОЛИЦУ всегда был рад доносчик Г-зон.

Фамилию вполне мы называть не станем. Он был стукач сполна, потомкам это неприятно. И это, право, странно. Тому, кто помнит двери в дерматины, на них ведь не мезусис, а табличка: «Без стука не входить». Да ведь к начальнику-то нужно. Входили и стучали, потом вопрос решали. Ну как потомкам это не понять?

Ну, ладно Г-зон так Г-зон, а иногда и просто Г. Нам важен материал для следствия. К тому же Г-зон разрушил стереотип еврейской спайки. Он «освещал» единоверцев.

Сей ссученный еврей держал кухмистерскую. На бойком месте он ее держал — вот угол Большой Садовой и Вознесенского проспекта. И очень бойко дело шло. За яствами, бывало, приходили и соседи. Они не понимали, ротозен, что жидовская кулинария есть тонкий яд иудаизма. Не понимал, возьмем его примером, не достойным подражанья, некто Приклонский. Как точно нами установлено, служил по провиантской части. Однако, и это несколько его вину смягчает, он был «дуплом» для Г-зона.

Но надо милость к падшим призывать. Кобель-то черный омывался. Раз в году вершился род покаяния, который назывался шай-иволос. Возможно ошибка грамматическая, а сущность такова.

Представьте, триста десять омовений. В струе проточной, это непременно. И без порток, и без рубахи. И это в сентябре! И это в Петербурге! Воды проточной много, но вся державная. Тут государь имеет быть! Вдруг да и увидит шай-иволос, тебя, в чем мама родила, твой вид отнюдь не гордый и не стройный, нет, эдакий сморчок, к тому ж без крайней плоти. Ведь это ж надо, дорогие дамы?.. Ну хорошо, ну хорошо, положим, государь и не увидит. Да ведь военная столица, шум и гром. Девы, дивы, швейцары, дворники, курьеры и кареты, артельщики и казачки, золотари, гуляки праздные эт цетера. А жид гольем купается. Такого не увидишь и в века. Гого, га-га, скорей зовите-ка доцента, который в городе Петра, апостола еврейской национальности, издал, ура, «Майн Кампф»...

Но тяга к покаянию сильнее всех прочих притяжений. И чижик-пыжик Г-зон ходил к Фонтанке. Как назло всегда лил дождь. Дрожа, как шавка, он мокнул на мостке для прачек-раскорячек. Он озирался и окунался, окунался, окунался. А ражий Дормидонт, знакомый будочник, авансом получив на водку, оберегал жидка от взглядов гоев и даже, кажется, сочувствовал ему, считая, что бог жидов до ужастии жесток.

Проточная вода, смывая грех стукачества, дарила грипп. Г-зон кашлял, хлюпал носом. Так было и в день приезда Бромберга. Намаевшись в дороге без кошерной пищи, Пинхус заявился к Г-зону. Тот, встрепенувшись, сощурился и встал на цыпочки: «Ой-ой, вы смотрите совсем столичником, мосье!»

Он не льстил. Еще до петербургского шлагбаума Пинхус искусно приводил пейсы к видимости бакенбардов. Лапсердак менял он на сюртук, от-

лично сшитый. Плащ-альмавива, несколько смущенный теснотой сундука, лощился под тяжелым утюгом. Да и лорнетец был исправлен... Хоть Ривке и теперь был Пинхус мил, она бы не сказала: «Я милого узнаю по походке...» Конечно, местечковый Бромберг не смел прищелкнуть каблуками, как гвардии подпрапорщик. Иль сапогом пришаркнуть, как ассессор. Но в Петербурге он ходил, ступни не выворачивая и не вихляя бедрами.

Салфетку повязав, он ужинал столь аппетитно, как вправе ужинать лишь тот, кто здрав морально. Бокал он к канделябру подносил и чмокал алыми устами. В глазах его в минуту эту никто бы не заметил скорби мировой.

Г-зон задавал любезные вопросы: о детках, о супруге; каков куртаж — вознаграждение посредникам при купле и продаже; мосье продлит контракт на содержание госпиталя иль что-нибудь иное... Но это были присказки. А — главное — старался вызнать, с кем именно имеет дело Бромберг в том департаменте Сената, где заполнялась книга бытия евреев и прочих инородцев. (Ну, значит, в Третьем.)

Пора открыть в его стукачестве идейно-омерзительное качество. Он, видите ль, с коррупцией боролся. А в душу глянуть, был сутягой. И завистью язвился, как изжогой, к тем, кто взятки получал.

Но нынче, вот сейчас, он сделал стойку. И губы облизнул, как ящерка. Мосье, прощаясь, доставая кошелек, спросил как бы небрежно об ортодоксе, умеющем делать обрезание.

«Кому???» — застряло в воспаленной глотке Г-зона. Он знал евреев иностранных; им дозволялось проживание в столице бессрочное. Знал временных, приезжих, наплывных на срок, указанный полицией. И тех, и этих обрезали младенцами. Так вот — кому???

Он потерялся, поперхнулся, пошатнулся, он как бы даже и попятился. А Бромберг, уходя, с участием молвил: «Пригласите лекаря. Я вскоре навещу вас. Прошу вас здравствовать».

И Г-зон один остался. И погружался в запахи подлив и соусов, а также рыбные и форшмака, а также мяса кисло-сладкого. Но кулинарный дух иудаизма не ощущал. Его мучило. Была ломота, жар, кружение головы. А в голове кружило — мосье желает приобщить к еврейству всех взяточников Петербурга. Однако не обрадовался, нет, ужаснулся и рухнул головой на стол, уставленный посудой. Тотчас увидел он сквбзь тьму в глазах все департаменты на марше, за ними хвост карет дворцовых; а голубое ведомство вдруг полыхнуло холодно, как всполох. Таинственною силою влекло всех, всех туда, туда, где Повивальный институт. Да, императорский, но повивальный... И доносчик содрогнулся от догадки. Там, в Повивальном, служили два товарища. Один был прусский подданный — Давид Мезеритцер; другой же мекленбургский — Якоб Вагенгейм. Да, иностранцы, но евреи. Да, врачи, но ведь зубные. Зубные-то они зубные, да ведь врачи же... Тут бедный Г-зон, вконец ополоумев, услышал щелканье щипцов, и началась сперва поэмка, а вскоре и метель из крайней плоти; насколько хватало глаз, спустив штаны, все департаменты стояли, и Г-зон как бы почувствовал их затаенный трепетный восторг — витал над ними Пинхус Бромберг, плащ-альмавива развевался, а пейсы завивались...

Какой светильник разума уга!

Что было делать? Везти в психушку на Обуховском? Но тотчас пушкинцы возопят, заламывая руки: нельзя, нельзя доносчика туда, где так страдает Германн. А пуще пушкинистов — гоголеведы: ведь там же и Поприщин; он, король испанский, жиденка не потерпит и будет прав... Так что же, право, делать? Везти по Петергофскому шоссе в дурдом, что рядом с дачей обер-аудитора Попова? Увы, больницей Всех Скорбящих управляет доктор Герцог, подозреваемый во тайном иудействе. Доносчика на соплеменников он непременно порешит...

Однако поглядите: сморчок-то оклемался. Салфеткою обтерся, за конторкой встал — светильник разума чадит очередным доносом.

Фактик обернулся фактом и возопил до сотрясения чернильниц. Спецслужба немедленно подключила Черный кабинет. Он позже помещался на Почтамтской, при почтамте, а тогда... не помню, позабыл. Но важно вот что. В одном из писем к компатриотам речь шла об иудее, умельце по части обрезания.

В подобных бесподобных случаях нельзя же медлить. Тут промедление не смерть, а кое-что похуже.

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИЛАСЬ, когда команда воинов взяла в полон еврейское местечко, весьма далекое от Петербурга. По правилам науки побеждать оцеплен был дом Бромберга. Командовал всей операцией подполковник Бек, жандарм губернский. Он службу знал и потому поставил у корчмы особый караул — не сметь устраивать побудку корчмарю до окончания дела.

Настал черед и капитана, командированного из столицы. Имел Ракеев оперативное задание по производству обыска. Ах, черт возьми! Русские безмолвствуют, евреи так крикливы. Ну, толстозадая, чего ты патлы рвешь, уйми-на лучше сопляков, зкая распущенность; ужель не понимаете, как вы мешаете... И все же Спиридоныч управился не плоше Бека.

Об этом — рапорт: «В доме и надворных строениях, принадлежащих еврею Бромбергу, пересмотрены все места, где можно и невозможно было подозревать хранение его бумаг. Особенное внимание обращено на мягкие мебели и перины. Все обнаруженное уложено в чемодан, каковой в запечатанном виде имсоу счастье отправить с фельдгегерем».

Имея такое счастье, подполковник и капитан велели Ривке Бромберг подать на стол. Бек, в службе поседельный, и рюмку хлопнул, и огурчиком захрупал, как может только честный воин. Засим он подцепил селедочку с лучком и произнес с невыразимым отвращеньем: «Евреи, в баню... Евреи, в синагогу...» И внятно стало Спиридонычу, сколь тяжкое житье досталось Беку. А тот, почувствовав сочувствие, тот продолжал, тоскуя: жиды от взятки не отдадишь, жида хабар несут исправнее несущек, да взять-то честь не позволяет, уж лучше бы в полиции служить... Ракеев ел, ходили желваки. Кивал Ракеев, понимал Ракеев, одобрял Ракеев... А Бек мундир и душу распахнул. Эх, Федор Спиридоныч, поверьте, не со зла, нет, с досады, бьвает, выпорешь, кого ни попадя: «Не соблазняй ты, курвин сын, хабаром!» Глаза его замглились мутью водки. Вздохнул и рассказал печально — случается, ей-ей, не хорошо-с, двоих-троих сгребешь за бороды да и стучишь башкою о башку, пока у самого не грянет в голове трезвон... Ракеев, доедая курочку, уж не кивал. Ракеев обретался в согласье с государем. А государь и не скрывал: жида, равно поляки, наихудший элемент державы, их следовало бы вешать за два за ... Но, говорил наш государь, жида, как и поляки, подданные русского царя и, стало быть, блюди законность... Подполковник Бек не спорил, не перечил, он с невыразимой скорбью отозвался в том смысле, что пробовал не раз блюсти закон, но всякий раз припутывался бес... Он был простой и честный воин.

В комнате курилась пухом перина, распоротая саблей при обыске. Пулувоздушные пушинки взлетали и кружили, как от уст Эола. Бек морщился сердито: «Всегда у них сквозняк. Проклятый Бромберг, мне эта вылазка-то даром не пройдет». Он потирал крестец. Бедняга, сказать по-нашему, нередко маялся радикулитом. А «ишиас» не надо говорить: звучит-то, как на идиш.

На сквознячке простились, желая здравия друг другу. И вдруг в приливе жалости к себе и зависти к столичной службе капитана жандармский подполковник Бек ляпнул, заменив пустое «вы» сердечным «ты»: «Найдется жид и на тебя, подставит ножку!»

И что ж вы думаете? Нашелся! Мать-перемать, глядел, как в воду, прямодушный воин.

ОН БЫЛ ТЩЕДУШЕН, ростом мал, а борода казалась долгой и отличала серебром. Шептал в темнице «Слушай, Израиль», и в изголовье койки ветка Палестины отзывалась шорохом. И видел он руины Храма. Да, видел несомненно. Был этот Соломон, рожденный в Плонске, совсем недавно был в Ерусалиме. Да, собственно, за это и сидел он в цитадели. В секретном помещенье. (В какой из цитаделей именно — варшавской или вильненской? Тут различенье в документах. Но выяснять, пожалуй, и не нужно; все цитадели — близнецы.)

Был Соломон из Плонска допрошен дважды или трижды. Все уложи-

лось в один лист почти без вариаций. Мы этот лист включаем в следственное дело как проявление сионизма в чистом виде.

- С какой целью ты ездил в Иерусалим?
- Молиться.
- Что видел достойного вниманья?
- Иерусалим.
- Поехал бы еще?
- Да.
- Зачем?
- Чтобы умереть там и приложиться к предкам.
- Зачем же ты вернулся?
- Затем, чтоб деньги собирать на Храм.
- Когда евреи ожидают пришествие Мессии?
- Мессия может к нам явиться в любой день.
- Какими средствами евреи приблизят этот день?
- Молитвой.
- Надеются ли евреи только на молитву?
- Пророчество должно исполниться.

Вот все, что он сказал. Приходится признать, жандармы не владели методикой допросов. Попробовал бы дурака валять в прекраснейшей из цитаделей — Лефорговской. Там приводили таких вот сомонов к знаменателю. Хорош был подполковник Б. (Прошу не смешивать с губернским Бекком.) Он ныне, к сожалению, на пенсии. Не демократ, само собой, но горой стоит за демос. Ругает рыночные отношения и юную редиску возит на Палашевский рынок. А было времечко — вернись, вернись желанное — таких вот «дедушек», таких вот «соломончиков» ничком укладывал он на пол. И ноги врозь, а руки-то враскидку. А сам по цитадельной камере, где пол цементный так неласков, похаживает и посвистывает: «Слаще всех со мной будешь ты гулять, не гляди, что я рябой...» (Он был и вправду рябоват, как и Кумир его.) Да, вот так-то он похаживает, посвистывает. Тем временем какого-нибудь соломона из Черкизова цепенит цементный пол. И жалкий сионист так жалостно попросит: пустите, мол, пописать. А тот, который «слаще всех», тот говорит смиренно: «Жида-то, помнится, Христа распяли, а мы тебя, жидок, жалеем. Хоть и распяли, да без гвоздей. Лежи, лежи, не вздумай шевельнуться». Тут «дедушка»-то, замокрев штанами, по доброй, значит, воле да и запишет сам себя в происки империализма се-ше-а...

Но в цитадели, где содержался Плонский Соломон, семидесяти от роду, придумать не умели, что делать с ним. Спасибо, Петербург распорядился.

РАКЕЕВ БЫЛ ТЯЖЕЛОЙ СТАТИ, но легок на подъем. Ему дарила служба охоту к перемене мест. Он мастеров ямской гоньбы звал по именам, как некогда Суворов своих богатырей. Он не боялся, что неповоротливый инвалид перелобанит лоб шлагбаумом. И говорил приятелям-жандармам: «Я, господа, Россию знаю назубок». И правда, отечественными звуками были для него не только ведь острог и кнут, а и трактир, и тракт.

Переменяя местности, наш Спиридонич, казалось, не имел охоты к промене должности. Да вдруг и размечтался. Вакансия открылась весьма вальжжная. Она не отменяла дальние вояжи, но только по делам важнейшим. И называлась: Старший Адъютант Штаба Корпуса Жандармов. Таковую перспективу Спиридонич изобразил округлым звуком: «О!» И это «о» восторженною дырою не осталось. Шеф жандармов, испрашивая повеление царя, аттестовал Ракеева похвально. Мол, так и так, Ваше Величество, сей капитан и опытен, и благонамерен, и мне давно известен.

Спиридонич, взглянув со стороны, увидел на себе новехонький мундир, построенный у Шторха. И приглядел в конюшне жандармского полуснадрона жеребца Аслана, на коем, взглянув со стороны, увидел новехонький чепрак небесной свежей синевы... Все это было несколько академично. Практическим опережением событий было то, что Спиридонич велел Анне Егоровне съестное забирать у Кондакова, на Шестилавочной; у Егорова же, в Церковном переулке, ничего не брать, отныне это не совсем прилично...

В прекрасном умонастроении, в приятном расположении духа капитан Ракеев Федор Спиридонич отправился исполнить оперативное задание. Ибо, господа, вакансия совсем не то, что и вакация, когда гуляешь праздно.

Эх, дороги, пыль да туман, бородачи, сермяги, бабы: соломы запах и парного молочка, цыганский бубен и бубенцы навстречу; потом местечки, где то и дело слышишь: «Что скажете, реб Борух?»

Приняв Пиихуса в эпистолярной форме, оформив оное как рапорт графу Бенкендорфу, капитан Ракеев, сделав немалый крюк, явился в цитадель за Соломоном, рожденным в Плонске и желавшим умереть в Ерусалиме. Задача была в том, чтоб этого не допустить и допросить в Санкт-Петербурге.

И вот уже Ракеев конвоировал старичка-хлячка; и вот он транспортировал, как позже выяснилось, эмиссара. И в этом слове звук похлеще, чем «острог» и «кнут». Он волновался и спешил, дабы вакансия, спаси, Господь, не ускользнула. Но, Боже, какие хляби, ветры и дожди противились его желаньям и даже, если уж вполне серьезно, высочайшей воле, которую Ракеев, и не только он, принимал, как волю Провиденья.

Хрипели кони вместе с ветром, а ветер хрипел, как кони. Колеса огружали в грунте по ступицы. Ямщик был жалок непротивленьем злу. Возок вдруг резко накренился, старик как бы бросался в объятья капитана, дышал нечисто, шамкал: «Ой, пане, извиняйте».

Как можно Соломона извинить? — он занемог гнилой горячкой. На станциях наш капитан заболелся о нем, почти как нянька. Нельзя слевшить, нельзя промашку дать, а надобно доставить к пирогу — новехонький мундир, построенный у Шторха, а на Аслани — новехонький чепрак.

Ракеев, скажем откровенно, надеялся-то на авось. Ошибка, ошибка роковая — авось-то русское, и до еврея нет ему забот. А-а, вот еще что. Ракеев, беспокоясь о доставке Соломона Плонского, аж в ересь впал — Владыку живота всех православных просил не отымать живот у одного-единственного иудея.

А непогода свирепела пуще. Разверзлись хляби, все смешалось, и вот уж, точно, ни еллина, ни иудея... Однажды утром, хоть утро было прохладившейся хлябью, в каком-то из местечек, хоть оно и было сгустком хляби, Соломон, рожденный в Плонске, сбегал из-под конвоя.

Итак, пророчество свершилось: был прав губернский подполковник Бек — найдется жид и на тебя, подставит ножку. Убитый горем капитан сидел в корчме. Промок не то чтобы до нитки, нет, до хрящиков. Причитания хозяйки не слышит и не протягивает ноги, чтобы она стянула сапоги. Окаменел. И вдруг как молнией прожгло — ужели ихний бог сильнее русского царя?!? Прожгло и зашипело, угасая, в слезе горючей — не быть тебе, Ракеев, Старшим Адъютантом.

Пришли туземцы. Глазами не искали красный угол и картузы не сняли нехристы. Капитан не сразу понял, чего они клекочут, беспрестанно кланяясь... А-а, хоронить... Надо хоронить... Инструкцией не предусмотрено рено... Кажись, уж все предусмотрели, а это нет? Иль он от горя позабыл?.. Ракеев оставался бессловесен. Елозил сапогами по полу, а кулаки сжимал и разжимал, как тульский параличный заседатель... Туземцы понимали жесты не только талмудистов-спорщиков. И поняли они неизреченное: что пялиться, пархатые? — поступайте, как вам велит жидовский бог...

В хибаре шорника евреи выстлали соломой пол и положили Соломона. Затешили свечу у изголовья. Поставили стакан. Но с водою. Душе еврейской долг путь средь зноя и пустынь, и ей на посошок — стакан воды... В хибаре пахло шляхом. Комочек праха ждал возвращения во прах. А ветка Палестины сгнула в губернских хлябях. И этим мальчикам-евреям она не скажет, ни где росла, ни где цвела, и не услышит, как они читают Соломону Плонскому псалмы Давида, нараспев читают.

Душа его, псалмам внимая, трудилась, претворяя щуплых мальчиков в масляные деревца, а желтизну соломы в позлащенный свет, и этот несказанный свет струился над долиной, где пахло дальним шляхом. Шлях вел к воротам Яффским. Они, как все ворота Иерусалима, смыкались на заходе солнца. А солнце уж садилось. Горы душе казались белыми, как из фарфора. Над ними, как душе казалось, кружили голуби. Не вифлеемские, горючих жарят на вертеле без масла, и это очень вкусно, а горлом стонущие корлицы. Но, может, то был какой-то сизый пар... Меж тем еврейские ребята устали читать псалмы (их многовато, полтора ста), устали, заскучали, тянули слишком нараспев. И чуткая душа, прибавив ходу, легкими стопами сокрылась за Яффскими вратами Града.

Душа еврейская сбежала за кордон, тому виной Ракеев. Недосмотрел он и за телом. Не на телегу положили — на руках снесли. А это знак особого почтения. Не странно ли? Что уж такое старикашка Соломон свершил для нашей Родины? Торговля скобяным товаром — отнюдь не производство чугуна и стали. Так почему же несли-то на доске, как на доске почета? Ответ простой, но в простоте многозначительный: для них, евреев, Соломон, рожденный в Плонске, пал жертвой необоснованных репрессий.

Ракеев, превозмогая горе, пошел на кладбище.

Минувшею зимою, когда февральские метели кривят дороги, капитан доставил во Святые горы гроб камер-юнкера, убитого на Черной речке. И с гроба глаз Ракеев не спустил, покамест гроб не опустили в землю. Вот и в еврейском захолустье, где слышен погребальный плач, обязан жандармский капитан удостовериться, что тело не сбежало вслед за душой.

Он шел, мотая головой, сжимая, разжимая кулаки, шел по водам, с трудом переставляя сапоги, в которых тоже хлюпала вода. Пришел, увидел... И тут настала тишина ума и сердца, то есть кротость. Все суета сует, подумал Спиридоныч, пусть будет то, что будет. И кратко, что тоже кротость, погрозил евреям кулаком.

А ПИНХУС БРОМБЕРГ, обретаясь в Петербурге, свои гешефты продолжал и по инстанциям ходил.

Тотчас в обыденном сознании кувшинность рыл. Давно пора расстаться нам с карикатурами классической литературы. Да никаких там рыл, а просто рыльный табачок, чтоб власть понюхать. И общность трудового выраженья сутулых спин. Ах, вона что, там взятки, взятки, взятки. Но кто, скажите, девственность хранит? Лишь та, которую никто не пожелает. Чиновника желают страстно. Но, не впадая в мужеложство, дают то, что положено. Хождение по инстанциям отнюдь не мука — там обходительные люди есть. Их нужно чутя. И Бромберг в этом преуспел.

Но, преуспев, зарвался.

Он, позвольте вам сказать, надумал учредить еврейское подворье. В Москве такое было. Но — в Петербурге?! Мда-с... Гм... И Пинхус обратился в органы. Не то чтобы внедрил, как это приключилось много-много позже, и не было сперва печали, а после кровию блевали. Нет, Пинхус не внедрил, но обратился.

Был ли принят он тем немцем, который для государя православного держал в руках всю тайную полицию? Как мы ни бились, установить не удалось. Но вот что несомненно и вот что подозрительно — и прожектера, и коммунальный сей проект граф Бенкендорф препоручил Попову. Заметьте, именно Попову. Не потому, наверное, что тот учил Белинского, а потому, наверное, что научился сионизму он у Пестеля.

Вот вы плечами пожимаете: всего-то навсего гостиница... Ах, эта вечная славянская доверчивость! Да надо ж, наконец, под землю видеть хотя б на два аршина. Иль, голову подняв, увидеть крышу для сионистских шабашей. И перспективу просчитать, черт вас дер!

Ну-с, вникните, пожалуйста, в плоды соавторства Попова с Бромбергом. Именовался выкидыш нейтрально — «Положение о гостинице для евреев». О, тонкая игра, все шито-крыто, все для отвода глаз. Преамбула вполне благонамеренная: гостиница-де учреждается для лучшего наблюдения. И далее по пунктам:

а) устройством подворья уничтожатся вредные во всех отношениях еврейские пристанища у солдаток, коих мужья из евреев находятся на службе в Петербурге и в Кронштадте;

б) построить особый флигель для евреев, приезжающих в столицу из-за границы. В паспортах они евреями не обозначены, но, как свидетельствуют разыскания полиции, оказываются иудейского вероисповедания;

в) смотрителем назначить полицейского чиновника; жалованье от доходов гостиницы — 600 руб. и 300 руб. столовых, а также квартира и дрова. Смотрителя снабдить инструкцией от обер-полицимейстера;

г) дозволить постоянное жительство в гостинице еврею-резаку для забоя скота по иудейскому обряду, а также для обрезания детей, рожденных солдатками, указанными выше. Иметь в гостинице двух поваров-евреев, рассыльного и почтаря;

д) учредить гостиницу в черте города, но в отдалении, на Шлиссельбургском тракте;

е) назначить двух привратников из отставных солдат, дабы имели строгий надзор за всеми приходящими к евреям;

ж) вменить привратникам ворота держать всегда на запоре.

На этом «ж» с запором поставим многоточие. Необходимы комментарии как информация для размышлений.

1. О солдатах.

Оставляя в стороне возможность рождения полукровок, менталитет которых занимает ныне лучшие умы Российской Федерации, отметим нижеследующее. В соответствии с цитированным «Положением» Бромберг П. И. имел, оказывается, некоторые основания для вызова в Петербург «человека, умеющего делать обрезание». Обязанности этого специалиста включали и забой скота. Но — «по иудейскому обряду»! Посему следует, очевидно, признать нравственную ответственность Бромберга П. И. за подготовку в столице империи ритуальных убийств. Однако, ради вшей объективности, придется снять с него подозрение в садизме. В обоих случаях — и обрезания детей, и убийства скота — Бромберг П. И. не рассчитывал на зубных врачей, как вообразилось Г-зону в часы гипертонического криза.

2. О солдатах «из евреев».

В годины проклятого царизма Инспекторские департаменты министерства военного и министерства морского ежегодно «спускали» циркуляры с перечнем «важнейших еврейских праздников» и указанием на то, что в такие дни «военнослужащие евреи должны быть увольняемы от обязанностей службы».

Отсюда, на наш взгляд, необходимо сделать два вывода.

Во-первых, солдатики, указанные выше, имели возможность зачинать детей не только от евреев, находящихся в командировке, но и от евреев, находящихся на срочной службе.

Во-вторых, хмурое утро нашей демократии отмечено, в частности, приметным, судя по прессе и ТВ, сближением православной церкви с Вооруженными Силами РФ. Не исключаются, стало быть, циркулярные указания о двенадцатых праздниках. Коль скоро демократия (разумеется, в принципе) не может быть менее либеральной, нежели монархический образ правления, не придется ли генералам и адмиралам считаться с календарем важнейших еврейских праздников, что вряд ли доставит удовольствие вечерашним коммунистам, да и всему офицерскому корпусу. На сей счет следует, вероятно, крепко задуматься и Военным комиссариатам во время очередных призывов в армию и флот.

3. О евреях иностранных.

Для иудеев, приезжающих из-за границы, предполагался постройкой отдельный флигель. Нельзя в этом не усмотреть дух низкопоклонства перед Западом, что вдвойне позорно в отношении евреев.

Приложение.

Оставляя гр. Бенкендорфа А. Х. в сильном подозрении на счет его причастности к заговору сионистов, нельзя не отметить, что шеф жандармов Российской империи, изучая «Положение о гостинице», внес собственноручное дополнение. Точнее, исключение. Оно, не без труда обнаруженное в ходе следствия, гласило: «Иностранным евреям, которые обрели общую известность и значительность, дозволяется жить в вольных квартирах».

Что значит — общую известность?.. Где?.. Само собой, не в Пошехонье, а в европах. Как видите, и шеф жандармов, правая рука царя, зачумился тем же позорно-неизбывным духом. Как раз вот эта правая рука, не будучи левой, и подписала «Положение», претонко сработанное Поповым — Бромбергом.

Однако учреждение в столице еврейского постоянного двора зависело в конце концов от Зимнего дворца. И есть надежда, что государь, привычно имея вставанье с левой ноги, сорвет сей умысел.

ПРИТОНА СИОНИСТОВ на Шлиссельбургском тракте еще не было, и Пинхус жил, пусть временно, но жил на...

Иной наш современник, писатель, прописал бы Бромберга П. И. на

площади Урицкого, который, прямо скажем, Соломоныч. Зная с детства, как и Пинхус, Талмуд «на иглу», он... об этом Пинхус и не мечтал... возглаголю органы, представьте, в Петербурге. И получил в награду большую площадь аж в самом центре.

Но следовательно, будь он и заединщиком с писателем, обязан все же действовать иначе. Сыщи у сыщиков те ведомости, которые имели заголовков почти такой же, как пьеса у Стругацких, — «О евреях, проживающих в С. Петербурге». Сыскав, определи, где именно гнезвился объект оперативной разработки. И тут окажется, что Бромберг П. И. нанимал фатеру у Харламова моста, в доме Дубинкина.

Не в силах мы тут не прибавить, что бельэтаж у этого Дубинкина занимал Исаак Шильдрот. Иностранный, но тоже, как и Бромберг, еврей. Тоже коммерсант, но не из Жмеринки или Житомира, нет, из Марселя.

Конечно, Шильдрот не был Ротшильдом, но он был Шильдротом, а это не так уж мало. В Одессе он оптом покупал пшеницу, в Москве и Петербурге продавал вино. Шел в гору? Да это ж неумно. Он ровной шел дорогой, играл, но не отыгрывался. Он не картавил, а грассировал. И длинный нос его вполне сходил за галльский, притом классический, стародворянский.

Мосье Исаак ужасно импонировал как француз — Дубинкину, как иудей и Пинхусу. И даже приставу в 4-й Адмиралтейской части, где находился дом Дубинкина, — жид не был жаден.

Шильдрот держался с Бромбергом соседом добрым, но при этом соразмерно с паспортом своим, гражданскими правами, равными природному французу, и проносу, что означало некоторую снисходительность. Являть ее было приятно мосье Исааку, он нередко приглашал соседа, и Пинхус, не дичась, спускался в бельэтаж. Так было месяц, два, пока не пробежала кошка.

Мосье Исаак был галломаном, его кумиром был Наполеон. Кумиру он курил сигару, как фимиам. Сигарный дым слоился, подсвеченный свечами, как в кумирне.

Но к императору французов Пинхус Бромберг имел особый, неоплаченный счет. Родителей своих почти не помня, он помнил, что их убили драгуны Великой Армии. За это отомстили русские, а царь («наш царь» говорил Пинхус) отнял Париж у Бонапарта. Мосье Исаак нисколько не оспаривал сей факт истории. Однако неизменно отмечал — наш император уравнил евреев в правах со всеми гражданами своей империи, взамен не требуя измены иудейской вере. И тут уж Пинхус не имел, что возразить. И все же словно б обижался за русского царя.

Однако кошка-то бежала по иной демаркационной линии.

Уравненный в правах негоциант, случалось, гнул к тому, что есть, оказывается, глубинная общность в сущности религий, а также к признанию их равного существования. И намекал, что Талмуд искажает Моисеевы законы.

Всему, однако, предел положен. И Пинхус приложил к Шильдроту тавро вероотступника. Диссидента. Наш Бог, подумал Пинхус, не простирает свой шатер над Шильдротом. А нынче бы сказали: пусть простирается на нарах. За что? Вероотступник не ждал пришествия Мессии, как диссидент прихода Коммунизма. Всему виной растленный Запад. А Пинхус Бромберг располагал конкретным, точным сроком: в течение жизни поколенья.

Менделеев-химик умел расчислить существованье элементов. Творцом уж сотворенных, но еще не познанных венцом Его творенья. А Мендель-часовщик, прозябая в том местечке, где Пинхус Бромберг так неплохо жил, Мендель расчислил, когда же, наконец, наступит к е ц.

У Менделя таблицы Менделеева не было, коль скоро не было ее в природе, да и появится она не скоро. Но были у него псалмы Давида. Сто пятьдесят псалмов. Из одного извлек наш Мендель четвертый стих в четыре слова — одиннадцать древнееврейских букв. И в чудотворный миг из них возникло, сложилось, начерталось: при Николае Первом наступит к е ц... Не поняли? Чего скрывать, без Бромберга не понял бы и следовательно по делу сионистов. О-о, кец — срок возвращения евреев, рассеянных по свету, в град Ерусалим. Вот, стало быть, и срок пришествия Мессии. Так вера перетекает в знание, в познание, они — обратно — в веру, и в этом истин-

ное значение, предназначение сосудов, сообщающихся друг с другом. Лишь в этих случаях познания не душат, как лианы, Древо жизни.

Сигарный дым слоился в бельэтаже. И словно бы рассеялся. Поднялся Пинхус Бромберг во весь свой средний рост. Глаза метали искры, а лейсы с рыжиной уж не казались бакенбардами, сюртук прикинулся лапсердаком, мурмолка сдвинулась на брови. И, стоя во весь свой средний рост, жид русский объявил еврею из Марселя, когда наступит кец.

Увы, Шильдрот, уравненный в правах с французом, не кинулся искать мурмолку, не опустился на колена, нет, как был, так и остался в креслах. Пыхнул сигарой, добавил фимиаму и воскурил в том смысле, что, ежели при Наполеоне Бонапарте не свершился кец, то Николаю Первому ничем не сыграть роль Мессии. Сказал, грассируя, да и пустил гнусавый гнусный смех сквозь квази-галльский нос.

Стал слышен шум вечернего дождя. Уж лучше слушать дождь и вечер, чем перекоры еврея-ортодокса с евреем-диссидентом.

Внимание увяло, лишь отдаленный слабый повторялся звук — «Бонапарте»... Ударили часы на башне, хотя ее и не было окрест, потом послышалось мяуканье котов на крыше, хоть в бельэтаже и не услышишь, и вот ботфорты наследили лестницу, ОН саблей грянул о косяк дверей. Там, на дворе, проснулся дворник, метлою взял на караул: на НЕМ треугольная шляпа и серый походный сюртук. Но в подворотне мочился какой-то сукин сын, и дворник, позабыв о Бонапарте, помчал с метлой наперевес...

ТАК УПУСКАЕШЬ СВЯЗЬ СОБЫТИЙ. А нынче и терзайся — когда, каким же образом, какой методой на столе у обер-аудитора Попова оказалась вот эта прокламация. Вы соберитесь с духом и припасите нитроглицерин.

ПРОКЛАМАЦИЯ К ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ.

Штаб-квартира. От Бонапарта, главнокомандующего армиями Французской республики в Африке и Азии, — законным наследникам Палестины.

Через несколько дней я вступлю в Дамаск. Его близость не будет более угрозой для города Давида. Законные наследники Палестины! Поднимайтесь! Покажите, что вся мощь ваших угнетателей не смогла убить мужества в наследниках героев, которые сделали бы честь Спарте и Риму. Покажите, что два тысячелетия рабства не смогли удушить это мужество. Поспешите! Настал час! Пришел момент, который не повторится, может быть, еще тысячу лет, потребовать восстановления ваших гражданских прав, вашего места среди народов мира. У вас будет право на политическое существование как нации в ряду других наций. У вас будет право свободно славить имя Господа Бога вашего, как того требует ваша религия.

Поспешите! Настал час!

ПОПОВ... как склонность к сионизму пагубна... Попов нисколько не огорчился утратой русского приоритета. Напротив, чуть не умилился сходством замысла Наполеона и Пестеля. А приоритет... Должно быть, все же царь персидский Кир...

В бумагах обер-аудитора хранились как бы в скрепе и «Зоровавель» Кюхельбекера, и выписка из «Русской правды», и прокламация «К еврейской нации». И думал он в задумчивости, как думают словесники: «Какая одиссея!»

Но знать не знал о том, что в этот день другая экспедиция все тех же органов принимала от фельдъегеря, разбитого дорогой, совсем иные «прокламации».

Печати были сорваны, пакеты вскрыты, и вышла тут немая сцена: текст древнееврейский! Придя в себя, или, как говорила Ривка Бромберг, придя к себе, чиновники Госбезопасности слились в едином слове: «Ну, господа, черт ногу сломит».

ЕЩЕ СТУДЕНТОМ возлюбил Герасим Павский древнееврейский. Язык ветхозаветный ему казался звучным, сильным. Тогда же возлюбил он ба-

ню. Конечно, русскую, в субботу, не то что у жидов по пятницам. Что может угрожать такому чувству красоты и стиля? Э, погодите...

В Духовной академии сын благочинного из Луги считался коренником в предметах коренных. И не считался пристяжным во вспомогательных. К ним был причислен и древнееврейский. Герасим столь увлекся, что составил некое учебное пособие для однокашников: пусть без уныния и лени еврейский выучат только за то, что на нем говорили пророки. Засим писал он обозрение псалмов Давида. И, написав, предал тиснению, что и отметил русскоязычный литератор Греч в журнале «Сын Отечества».

Идя стезею добродетели, бежал соблазнов. Невдалеке от Александроневской лавры обитали ласточки-касаточки, наставницы в науке страсти нежной студентов-богословов. Герасим ни ногой.

Впоследствии одна вдова не оценила его младенческой невинности. В законном браке они, однако, существовали мирно. Она рябиновку с утра тянула помаленьку и не тужила, мол, не к кому рябине перебраться, а на дворе, под дубом вековым, кормила голубей довольно жирных и, пожалуй, глупых.

Служил отец Герасим в университете. Служил в Лицее, нам неинтересном — не Пушкин там расцветал, не Кюхельбекер и иже с ними. Назначен был и непременным членом Комитета. Тот назывался, как роман старинный, отменю длинно — Комитет для рассмотрения книг, заключающих под видом истолкования Священного Писания развратные и возмутительные сочинения, противные гражданскому благоустройству и напечатанные в частных типографиях.

С годами отец Герасим Павский, не покорный общему закону, не менялся. Как немощь, бледен; как жердь, длинен; глаза, как васильки, и неизменно горé, поверх земных барьеров. Волос убавилось, очки прибавились.

Заняться в Комитете были заняты — гимнастика ума. Он полагал, что ереси ему полезны: разбей, преодолей и верой поюнеешь. Юнел и юмором. Бледен, хил, а вот поди ж ты; ну, значит, ни простаты, ни колита.

Умел он глупость вывернуть, как наизнанку, подобьем глупости. Один митрополит, сердчая, указал цензурный промах: «...и стаи галок на крестах» — в ответ услышал: «Поэт святынь не оскорбил, виновен полицмейстер, не взял он мер, чтоб птицы испражнялись в нужниках»... В статье «О нравах пчел» учуял Комитет хвалу фаланстера, от Сен-Симона что-то и нечто вроде бы от Оуэна. Отец Герасим отвечал: «Достоин автор порицанья за похвалу пчелиным взяткам, ведь ни цветочка не пропустят, берут, берут, как приказные...»

Однако с фаланстером не шутят, коль призрак бродит. И выпал мрачный день — пожаловал на заседание Комитета чрезвычайно важный господин. От императора недалкий и вместе не очень заметный, как серый кардинал.

Пожаловал и заскрипел, избобличая — молвить страшно — творения отцов Церкви яко противные гражданскому благоустройству. Имеющие — еще страшнее молвить — коммунистические мнения. (Да-с, так и сказал: «коммунистические». Тому, кто усомнится, текст почтой вышлем, но, разумеется, с оплатой на наш валютный счет.)

Засим вонзился ястребиным взглядом в протоиерея Павского. И, взяв октавой выше, избобличенья продолжал: читаю, мол, ученые статейки ваши; перо макую в красные чернила, чтоб вымарать все красное, да вижу — от Луки, глава такая-то... Особа важная пригнула Павского тяжелой паузой и заключила обращеньем к Комитету: «Вам дороги отцы Церкви, но россияне мне дороже». (Так! Тому, кто усомнится, — см. выше.)

Молчали все. Отец Герасим, бледнее бледного, смиренно молвил: «Соборными постановлениями запрещено и полсловачка из Евангелия вычеркивать». Особа, змесься претонкими губами, взяла октавой ниже: «А государь особым повелением дозволит». И вострым подбородком указал достопочтенным комитетским — ступайте восвояси...

Такой, предтавте, выдался «фаланстер». Что скажете? Мол, всмятку сапоги, что называется, Андроны едут? Нет, не Андроны — крыши. Крыши Невского проспекта едут, как и крыша отца Герасима.

И знаете ли, господа и дамы, не станем усмехаться. Не лучше ль на себя оборотиться? Ой, право, лучше, хоть это хуже. Казалось бы, изгнали призрак Коммунизма и стали возрождать религиозное сознание. Тагнав под

лавку, как шелудивого котенка, приبلудный атеизм, вчерашний коммунар, коллективист и коммунист надел нателный крест и слышит, и читает творенья отцов Церкви. И что ж вычитывает? И что же слышит? Молчу! Молчу! А дозволения государя на вымарки все нет да нет, хоть россияне, как и встарь, всего дороже... Ну, и прощайте, поступайте, как хотите, а ваш слуга покорный побредет вслед Павскому.

Совсем уж окосев, последние лучи заката светили слабо в тощего протоиерея. Он шатко шел — шатанье в мыслях и разброд. А царь земной, помазанник Божий, о чем-то строго, как на разводе караулов, выговаривал Луке, Матфею, Иоанну, Марку. Совсем уж окосев, печальные лучи заката озаряли от лбов и до сандалий евреев, по бедности одетых на босу ногу. Они понурились под гнетом коммунистических наитий — об этом говорил им царь земной, но ведь помазанник-то Божий. Понурились еврей, один лишь Марк, казалось, не внимал, он полон был, казалось, коммунистических идей, и вдруг в шатанье и разброде мыслей протоиерей сознал связь имманентную евреев с фаланстером. Он ослабел в коленках, его пробрал озноб.

Спасибо, подвернулся ванька. Повез трусцой. И как бы утрясал смятение протоиерея. Он подумал: банька... в здоровом теле — здоровый дух... банька... в здоровом теле — здоровый дух...

Он жил близ Лавры, и баню монастырскую он возлюбил, напомним, еще студентом. И любил доселе, как может только русский, — сильно, пламенно и нежно. Она нам свыше всем дана, но не заменой счастья, а залогом счастья. Она, как поле, огоньки, дальняя дорога, ботвиния со льдом и красная рубаха. А ежели да монастырским квасом не только запивать, а пару под-давать? — в зобу усладой спирает, трепещут ноздри, как у лани, и произносишь: «уф!». Вот прелесть и прельщенья бытия. К тому же с пользою для плоти в единстве с духом. Мы говорили, отец Герасим хил и бледен, но это, вроде бы, мираж. Не знал он не то чтобы хворобы, слабеньких недомоганий: в баню хаживал протоиерей в согласии с методой медицинской. Ах, эта книжечка, как золотник! Протоиерей держал ее на полке рядом с молитвословом. И каждую субботу, предвкусывая баню, заглядывал в старинное тиснение — «О парных российских банях, поелику способствуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здравия».

Отец Герасим и сейчас, в пролетке, перелетел к ней мыслью, а вдруг — как давеча, вообразив апостолов-евреев, — ужаснулся. И вот уж снова крыши ехали, как ехал он в пролетке, и снова грохотали кровли.

В каком бы направлении ударилась бы романисты, изображая потрясение отца Герасима? Они бы дули с разных румбов и так, и эдак надувая паруса. Потом уж записные знатоки, обсуживая, кто из них достоин премиальных и западных изданий, толковали бы о самобытном материале, стилевом разнообразии, о том, что соцреализм уже кремирован и т. д. А между тем нас надувают и пищущие, и обсуждающие — и лжа, и лажа, симпатии и антипатии, а ларчик... Нет, его открыт не просто, колы ты не романист, а следователь. Трудись усердно, безымянно, не жди наград и не оспаривай истолкователей, которым, как некогда Булгарину и Гречу, хорошо бы и на гауптвахте посидеть, что на Сенной... Трудись смиренно. И тогда, быть может, восчувствуешь другое «я»... Скажу вам коротко о том, что длилось долго: библиографические и биографические разыскания. Всего-то навсего. Без вдохновенья и без слез. Но ларчик был открыт.

Певцом всех русских бань, как оказалось, был еврей. Куда б ни шло, русскоязычный. Так нет же, португальский. Служил лейб-медиком, в походы ратные ходил; полезен был увечным, хворым, потом — наукам в Академии наук. Так было при царице Анне. Но воцарилась дочь Петра. Такая, знаете ль, веселая, чертовски брови хороши, плюсуныя, любила баню и не только, да вот евреев не любила. Играя бровью, весело сказала: «От врагов Христовых не желаю и полезной прибыли». А слово царское на ветер не бросают, и доктор Санчес был изгнан за кордон.

И это знал отец Герасим. Однако, прибьлы-то полезную имея, не придал доселе о значенья тому, что гимн российским баням спел еврей... И крыши ехали, как ехал он в пролетке. Все нынешнее — там, в Комитете, когда особа важная пронзительную речь держала, и там, на Невском, когда наш государь не жаловал апостолов-евреев, а Марк не соглашался с пра-

вославленным государем, — все нынешнее, включая помышления о бане, потрясло отца Герасима, а затем...

Затем, уж к дому подъезжая, он, может, и запел бы жалобно: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» — да отнялся язык: у дома прядал ушами статный конь под синим чепраком. Под синим, ну, значит, из конюшен Бенкендорфа.

ХРИПЕЛИ СТАРЧЕСКИ ЧАСЫ. В подполье осторожничала мышь-подпольщица; кот-мурлыка, готовый к мере пресечения, сторожно лежал в углу.

Отец Герасим, сутулясь за столом, плевал на пальцы, свечной нагар снимая, и, рук не отирая, всей пятернею лез в волоса. Бурсацкая привычка, знак бодрости в мыслительном процессе. Протоиерей с еврейского переводил на русский.

Откроем карты.

Тот жеребец, что у подъезда гордился синим чепраком, принадлежал Ракееву... Пришла пора вас успокоить, ведь мы расстались с ним в расстройстве чувств. Утратив по дороге сиониста-госпреступника, душа которого сбежала в Ерусалим, капитан, вернувшись в Петербург, подал рапорт. Прямой и честный, без ссылок на погодные условия. И, назначенье получив, вакансию закрыл — стал Старшим Адъютантом Штаба Корпуса Жандармов и тем значительно повысил ранг поручений, на него возложенных... Тому уж минул час, другой, как Федор Спиридоныч доставил на дом протоиерея Павского бумаги еврея Бромберга, который Пинхус, и бумаги его дяди, который Плонский Соломон.

Но почему же Бромберга? Ведь Пинхус сам же обратился в 3-е отделение с прожектом об устройении в Санкт-Петербурге еврейского подворья? А это, видите ли, параллелизм в работе органов. И это вовсе не присловье о правой руке, не ведающей о левой, нет, условие секретности.

Однако во всяком «изме» есть минусы. И вот вам один из них, притом весьма существенный. Конечно, он был давно изжит, но в те времена, о коих речь, существовал по непростительной халатности. Тайная полиция империи не имела в своем штате переводчика с еврейского. Евреи ж, хитрые донельзя, писали почему-то по-еврейски. Пришлось искать днем с фонарем. И в Александро-Невской лавре, и в Комитете для рассмотрения указан был отец Герасим Павский.

Ну, выдался денек! Ну, обложили со всех сторон! Отец Герасим, однако, удержался на седле: препоручение-то государственное, и страх не смеет подавать советы.

Скажу вам больше. В первые мгновенья при взгляде на еврейский текст протоиерей испытывал давно испытанное. От этих букв; от этих слов, от звуков этих провевал в духоте сухой и горький ветер тыщелетий, и он, ученый богослов, как бы смутился малости своей — песчинка на бесконечных берегах Времен.

Но запах вечности сменил сиюминутный. Письмо его сиятельства шибало кельнскою водой. Граф Бенкендорф, сама любезность, просил не откладывать бумаги Бромберга и Плонского в долгий ящик. Впрочем, сказано было — до греческих календ.

И вот отец Герасим, ученый богослов, а вместе верный подданный, сутулясь за столом, плюя на пальцы и свечной нагар снимая, переводил с древнееврейского на живой великорусский.

Пинхус Бромберг оскомину набил — и часу не прошло. Коммерция — любостяжание, гешефты. И похвальба: имею-де связи у вельмож; делаю чудеса; вернусь, многие на меня посмотрят с завистью; бог высоко вознесет меня и проч. Все это не удержало внимание протоиерея. Он, к сожалению, не ведал, что это ж пишет сионист. С намеком пишет на скорый к е. ц. Нет, не призадумался. И резюмировал:

«В прилагаемых бумагах не нашел ничего, что было бы противу Государя и Правительства. Переписка заключается сообщением по части разного рода сделок и делам, производящимся в Сенате и других присутственных местах. Однако видно, что торговые обороты евреев не совсем нравственно чисты. Заклячая общим впечатлением, должен заметить, что много

еще столетий пройдет, пока они сделаются нравственными гражданами и верными подданными».

Вздыхнув, он выпил... Помилуйте, отец Герасим аскетом не был — он выпил лимонаду. И, замокрев губами, взялся за бумаги Плонского, родного дяди по материнской линии упомянутого Бромберга П. И. И тотчас, губы облизнув, он уши навострил.

Соломон, рожденный в Плонске, писал и родственникам, и свойственникам, и знакомцам о Палестине. Хождения православных ко святым местам, изложенные простодушно, смиренно и светло, отец Герасим читывал еще студентом Духовной академии. Но здесь, сейчас, в ночи, перетекавшей в полночь, протоиерей читал еврея.

Тот писал: мол, я, правоверный пилигрим... Отец Герасим в переводе поставил — «миссионер»... Подумал, снял свечной нагар и, тем углубив мыслительный процесс, «миссионера» переменял на «эmissара»... Соломон, рожденный в Плонске, привел из Библии: «Кто сеет со слезами, пожинает с радостью»... Протоиерей же пожинал плоды особы важной. Нет, отец Герасим не вычеркнул ни слова — на то ведь не было еще повеления царя земного, обещанного особой важной. Не вычеркнул. Но красными чернилами с нажимом подчеркнул, давая голубому ведомству понять, каков любимый цвет таких вот мнений.

Путешественник, лишенный сентиментов, и это отец Герасим понимал, хотя и Стерна не читал, пускал, пускал, как под сурдинку: жители Ерусалима, находясь под турком, понимают, что возрождение Сиона близко. А ведь протоиерей недаром слышал в Комитете все, что слышал. И каждою кровинкою он был в согласье с особой важной: россияне мне дороже. А посему в посулах Плонского, душа которого, напоминаю, укрылась в Иерусалиме, отец Герасим явственно расслышал: о Боже правый, жидам-то на подмогу сам Джон Буль. (Скажу вам шепотом: протоиерей не твердо был уверен в этом. Но он, как Гоголь, сочинитель ему любезный, понимал: англичанин, он везде юрит, и до всего ему есть дело.)

Уже светало, когда наш эксперт поставил точку. Мурлыка-Васька тотчас же мышку цапнул. Она пицала, и кот из жалости оставил от норушки хвостик, вполне беззвучный. Да и улегся спать.

Протоиерей, исполнив долг, последовал его примеру. Разоблачившись, потянулся всеми хрящиками. Охо-хо-хо, уж день субботний наступил, и нынче в баньку. Угу, угу, имел-таки влиянье иудей, ан не такое уж краеугольное, чтоб он, отец Герасим, банился по пятницам.

ПРОШУ ВАС, отдайте должное умению нащупать ход вещей, а не выкидывать ужимки и прыжки сюжетов.

Протоиерей посвистывал во сне. А пароход из Гамбурга посвистывал, швартуясь к набережной. Ну, что ж в том странного? А ровным счетом ничего. Но кто, скажите, кто сумел бы обнаружить связь гамбургского пирскафа с ездой в карете обер-аудитора Попова и девицы Облеуховой, которая, увы, брюхата?

Остановилась же карета у дома г-на Шомера, коллежского советника. Он кто такой, Василь Богданыч? Директор родовспомогательного заведения. Добрейший немец там заглавным. Однако как начальник едва ли отличит он пол новорожденных. Но ежели девицу (с формальной точки зрения) привозит ответственный сотрудник Госбезопасности, Василь Богданыч без формальностей отвозит и ее, и обер-аудитора Попова в дом Воспитательный, который там же, на набережной Мойки, и помещает инкогнито в секретном отделении приюта. (Тот, кто усомнится в наличии такой родилки, получит почтой документ, но, разумеется, с оплатой на наш валютный счет.)

Опять же нет странного и в том, что ваша мысль так резко устремилась к прелюбодейству обер-аудитора Попова. Прибавьте перца, мысль станет изощренней: учитель выгораживал ученика — всему виной Белинский, недаром он — Неистовый.

Теперь обратите взор на бедную девицу Александру Облеухову. Она ведь в положении бедной Лизы, хоть и не помню, была ль москвичка Лиза в интересном положении.

Однако суть в ином. В минувшую неделю девице Александре не подался пруд, чтоб утопиться и тем перевести вопросы бытия в небытие, как

героине повести Карамзина. Не видно было ни рыски, ни лягушек, ни плакучих ив, жалеющих таких девиц. Оскалясь, волны Балтики хлестали в скулы гамбургского парохода, идущего в Кронштадт и в Петербург. Резона не было топиться, а был резон припасть к стопам.

ЗЛОПОЛУЧНАЯ, ОСКОРБЛЕННАЯ, ПОРУГАННАЯ жертва развратного злодеяния припадает к стопам Вашего Императорского Величества. В моем лице и заодно со мною умоляют Вас, Всемилостивейший Государь, родитель мой, которого Бог уже призвал к себе, чтоб не был он, родитель мой, свидетелем дочернего позора, а также братья, которые позора моего не знают и служат Вам в армейских гарнизонах.

Всемилостивейший Государь! Бог дал мне силы одной, без средства к пропитанию, пасть к ногам Вашим с надеждой, что Вы прольете отраду в мое истерзанное сердце строжайшим наказанием преступника.

Если же не могу я лично предстать пред Вашим Величеством, благоволите назначить доверенное лицо, коему я передам то, что желала бы скрыть не только от людей, но и от самой себя.

СИЛЬНА У НАС ПОВАДКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ. Хватили обухом Попова — он обрюхатил Облеухову. И в раже переоценки ценностей — Белинского. А ведь ни тот и ни другой на честь девиц не покусились.

Напротив, семьянин Попов распоряженьем графа Бенкендорфа назначен был доверенным лицом к несчастной Александре. Михал Максимыч, хоть и сионист, но вместе и карамзинист; обремененный службой, он и беременной девице услужил — готов и стол, и дом, и родовспомогательные средства.

Взглянув же пристальнее, видишь, сколь хорошо, когда есть символ нации. Бесчестье дочери полковника государю было больно. Тому свидетельством не ода, а ордер, не пиит, а казначей: ей отвалили две тысячи рублей, тогда отнюдь не деревянных.

Казалось бы, и баста. Э, нет, ведь на дворе был век жестокий. Девица родила малютку. Ее зачислили пансионеркой Воспитательного дома. Да и приставили почетного опекуна. Им был граф Виельгорский.

Глаза на мокром месте. Бывает, следовательно разряжится — у нас не всякий Рюмин, известный следователь Гебе. Да-с, разряжился. Ужели совместился с девицей Облеуховой? Трансплантация случалась у Флобера. Но он, как сам признался, был и мадамой Бовари. А ты, брат, оставаясь, к сожаленью, однополым, сентиментально восхитись и государем, и 3-м отделением, где голубые все.

Ну, и довольно. Продолжим следственное делопроизводство. И перво-наперво закроем дело Облеуховой А. Н. Она несколько не причастна к сионизму — и в мыслях не держала супружество с евреем-нехристом. А выкредсты, как мы установили, ей не встретились. Да и охота ли венчаться с конем леченым?

ПРОГРЕСС, КАК ОБОРОТЕНЬ. Одна и та же сила во столько-то иль столько лошадиных сил, машина, сделанная в Гамбурге, привозит нам на однострунном пироскафе и облую девицу Облеухову, и обольстителя ее, злодея Ащеулова.

Нам это имя случалось называть, ссылаясь на показания декабриста-прапорщика, давно уж сосланного на берега угрюмого Витима. Он с Ащеуловым служил на Юге, в той армии, где и полковник Пестель. Майор прослыл Лукой Мудищевым. Не всяя России, как тот, прославленный поэмой, а регионального масштаба. Но, ей-же-ей, кликуха грубовата, пошловата, незамысловата. Он был поэтом пламенных соитий.

С летами пламя укоротилось, сникло, равнодушная природа фитиль-то подвернула. Но силы творческой не убыло, взыскательности прибыло, он создавал из романических затей роман полифоничный... В начале службы, совсем зеленым, Ащеулов видывал и атамана Платова. Боец с седою головой из дальнего похода трофеем вывез компаньонку-англичанку. Товарищ боевой участливо спросил: «Зачем она тебе?». И Ащеулов, почтительно не

приближаясь, но воспылав от напряженья ушною раковиною, поймал предобродушнейший ответ: «Э, не подумай, что для хфзики»... Вот и Ащеулов, генерал, не столь он ради хфзики трудился, сколь разрабатывал художественное многообразие. И тоже, как некогда и атаман, из импортного материала: в отставку вышел и, человек богатый, вояжировал в Европе.

Вы спросите: а что же он связался с Облеуховой? Пардон, промашка вышла во хмелю. Была ли цельной? Пардон, не помнил. Да вы-то ведь должны же помнить — в письме на имя Николая эта Александра признавалась — есть такое, что ей хотелось скрыть и от самой себя.

Ну, то-то и оно, друзья мои. Возвысим голос: у, стерва! Ишь, к стопам припала и стала пули лить. Мол, папенька. отчеству служил; мол, братики державе служат. Ах, нету средств на пропитанье. Ох, накажите развратителя. И все такое прочее по части аморалки воина.

А тот не подозревал, сколь подлы милые девицы, не удержавшись на сучке, как птицы. Где ж догадаться, коль опыт не такой?.. Его приятелям в провинциях российских, бывало, ручкой сделают: эй, отвяжись-на, ухажер и зубоскал — и, вздернув носик-чижик, прищелкнут словно бы калеными орешками: «Знай, ащеулка, свою улку!» Нет, Ащеулов, словно бы наперекор семантике, ащеулкой — насмешником и волокитой — не был. Однако не был и жрецом любви платонической, сказать по-русски, сухой любви. Случалось, и пересыхало, но в горле — от уваженья томного к грехопаденью незамужних и замужних. Руками белыми большими нисколько не дрожа, он вздрагивал баритональным голосом, внушая гипнотически — я разделю ваш грех сполна и так же, как и вы, покаюсь на духу. Он знал претонкую науку расставанья и уплывал, как облако в штанах... Ну, как, ну, где же было догадаться Пал Палычу, какую плюху ему отвесит Облеухова?..

С корабля он не попал на бал. И потому, что не был Чацким, и потому, что не был в бальной форме — в мундире, башмаках. Номера он взял в Демутовом заезжем доме. Коридорные глазели на гирлянду иномарок: на англичаночку, что в розовом капоте, на немочку в капоте голубом, и на полячку в капоте синем, и на итальянку... как бы вам сказать... дым наваринский с искрой, с искрой... В доносе — какая же гостиница без стукачей, без слухачей — в доносе указали, что генерал привез «пригожих женщин разных наций».

СПЕШИШЬ, ТОРОПИШЬСЯ, стараясь нить не упустить, да надо иногда дать задний ход. Вот здесь — к письму девицы Облеуховой, впервые введенному в научный оборот. Историк должен знать — к стопам повергнутое, оно и вправду вознеслось к очам отца отечества.

«Прочти и ты», — сказал он шефу Госбезопасности. Тот, прочитав, вздохнул: «Нельзя не содрогнуться». Царь на него взглянул внимательно, угадывая природу дрожи. Потом сказал скучливо: «Несчастлиная к отмщению взывает». Тут бенкендорфов палец указательный задумчивой подушечкою тронул подбородок, что было знаком вопросительным. Царь косо поднял эполетное плечо. Сказал: «Дознайся, Александр Христофорович, слевшил ли Ащеулов иль впрямь прелюбодейной жизни».

Аудиенция закончилась, и шеф жандармов удалился. Заметим вскользь, он был отменным кавалеристом, но удалился, отнюдь не шаркая.

«Однако, — думал Бенкендорф, садясь в карету и отправляясь к Красному мосту, — однако»... Он в этот противительный союз, а может, междуметие, вместил и снисхожденье к боевому генералу, пусть и пехотному, — тот покорял Кавказ, чего ж опешивать перед девицей; и раздраженье на девицу Облеухову, отяжелевшую от поведенья легкого. Однако в этом же «однако», как в овале, а может, в нимбе, был строгий лик отца отечества, блюстителя сугубой нравственности в семье народов.

Взойдя в роскошный кабинет, распорядился шеф не шифром: о генерале Ащеулове П. П. взять сведения у бывших сослуживцев, у предводителей дворянства тех губерний, где расположены его именья, а также у соседей-помещиков. Засим призвал он обер-аудитора Попова.

МИХАЛ МАКСИМЫЧ оскорбился порученьем. Служить-то рад, шпионить тошно. И не в гостиных, а в гостинице. Бордель! И некому послать

картель. А душу, как Пинхус Бромберг говорит, душу-то не выплюнешь, и вот отрыгивает желчью.

Велел он кучеру держать к Демуту.

Давно гостиница Демута слыла в столице наилучшей. Живали там посланники, негоцианты, набитые деньгами, а значит, спесью, или бросал там якорь какой-нибудь накрахмаленный милорд, любитель путешествий, что сродни разведывательным действиям. Кошельки пожиже нанимали комнаты с единственным окном, оно бельмисто глядело в сумрак двора-колодца. Фасад взирал на Мойку; другой — в Конюшенную, но Большую. Платили здесь за стол с обедом рупь. За номера помесячно от двадцати пяти до сорока. Кому охота, пусть определит соотношенье с курсом нынешним.

Трактир Демута близ Полицейского моста. А Полицейский мост ведь недалек от Красного, где тайная полиция. Не лучше ль было бы Михал Максимичу от огорчения пойти пешком, глядишь, и выплюнул бы душу, а вместе с ней и желчь. Так вправе рассуждать лишь тот, кто шпионов не читал. А следственно так рассуждать никто не вправе. Шпион Попов, заметьте, прибыл не в казенном экипаже, а в наемном. И с багажом. В заезжий дом приехал пензенский помещик, он либерал и литератор.

Он сам себе избрал «легенду». В гостинице-то при знакомстве неизбежны — откуда вы, как там у вас?.. Он Пензу помнил, помнил и окрестности: словесник имел и ботанические интересы и гимназистов на вакатах водил в сады, в поля и на луга... Что до «литератора», то здесь уж, сами понимаете, ему ль не карты в руки? И тут в его шпионстве возникал мотив довольно странной, хоть и навеянный заезжим домом. Тут Пушкин номер брал. Чаадаев тут, бывало, принимал гостей; он в креслах сиживал, а рядом произрастал из кадки лавр, но не ботаника, а символ: Чаадаев в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...

В таком расположенье души шпион расположился в душевных комнатах, их было две, задушенных тяжелыми портьерами. Да, Палкин царствовал, но управляли у Демута коридорные, они не колотили палками, и все и вся здесь проникала пыль времен великая Екатерины.

Теперь ищи-ка, брат, знакомства с генералом. Ракееву-то хорошо, ракеевым отлично, им приглашения без нужды. А ты изволь в доверье... Ах, черт дери, что за комиссия, Создатель... И он подумал о миллиарде... Михал Максимич не был игроком; миллиард был ракурсом литературы. Она, изящная, дарит немало встреч в миллиардных, из дыма извлекающая черт-те что. И Ащеулов — военный глазомер! — там уместен. Да вот каков он видом?

Увидел на другой же день. Слуга покорный, отнюдь не гранд испанский Дон Гуан. Не великан, однако крупен. Белокур, курчав, а нос баклушей. Потом, уже в миллиардной, Попов и руки заприметил. О, большие, близны холеной, весьма, весьма красноречивы, и наш шпион, слегка смутившись, предположил, что эти руки и есть то средство, которое определяет цель. Слегка смутился, а потому промазал. Вообще он проигрался в пух, как этого и ждал.

Генерал, как благородный победитель, пил с побежденным вино кометы. Но, может, и другое, счет не сохранился. А впрочем, бог с ним, со счетом. Тут важно по примеру романистов нам винной маркой обозначить психологию пушкинской эпохи.

Пал Палыч не имел бесстыдства трубить победу, он победил слабейшего, не то, что Петр под Полтавой. Однако, как и Петр, Ащеулов пил его здоровье. Когда же пензенский помещик скромно намекнул, что он причастен к словесному искусству, генерал, как благородный человек, имел бесстыдство приятно улыбнуться: «Так это вы? Читал, читал...» Михал Максимич, несколько зардевшись, поклонился.

Коли тебя читают, значит, ты печатаешь. Опять, как в случае с евреем Санчесом, певцом российских бань, произвели мы библиографические разыскания. И установили... Ай да Попов, ай да сукин сын. Ну, ни единой строчки цензурованной. (Печатал много позже, на седьмом десятке, да и то обозначал-то псевдонимом.) Хорош! Но кто, скажите, стал бы возражать? Ведь Ащеулов как бы выдавал авансом признание и признательность. Бес-

стыдно было бы его разочаровывать, снижая скорость вхождения в сферу взаимной доверительности и обоюдного благожелания.

Как видите, приятством начались их randevу. Пал Палыч, случалось, вызывал, как разводящий в караул, «пригожих женщин разных наций». Шпион конфузился, он пальцем ни одной не тронул. Согласитесь, в истории шпионства нет precedентов. А эти дуры дули губы. Они, вишь, обижались, что русский господин, собой невидный и словно молью траченный, как бы дает понять его превосходительству, с какой он дрянью имеет дело, и тем выводит их в тираж. Здесь верно только то, что свой отчет об Ащеулове писал Попов в одном лишь экземпляре.

В отчете и под лупой не найдешь расценок и оценок «хфизики». Ни золотисто-рыжеватой Эммы Ватс, ни быстроглазой Магдалины Лебалье, ни Дианы Капечче с гордым римским носом, ни Ванды Базилевской, полячки не слишком гордой, ни ангелоподобной Марты Миол... (Фамилия девицы неразборчива.)

Щепетильности Попова обрекают наш конспект на равнодушие издатель и издательство читателей. Не дожидаясь снисхожденья тот, кому недостает сноровки самостоятельно взрастить клубничку. Тоскливо поглядев окрест, язвисься завистью. Отсталых бьют, как говорил тов. Сталин. При нем нам доставало реактивной силы, задрав штаны, бежать за комсомолом, в комсомол. Его уж нет. И нету сил, стянув трусы, труситься за сексуальной революцией. Одна надежда отраду подает: контрреволюция придет да и восславит скромность Михал Максимыча Попова, а заодно и автора непопулярных очерков.

В отчете-рапорте на имя графа Бенкендорфа сообщал Попов, что все мамзели привезены для воспитания генеральской дочери Натальи, которая осталась без должного домашнего присмотра в имении Таврической губернии. Засим Попов, слегка пожав плечами, деликатно указал — «но, по мнению моему, они приехали в Россию для жизни не слишком нравственной»: И как бы в оправданье ген. Ащеулова П. П., прибавил, что тот с женой «в расстройстве», она и сын давным-давно остались в Грузии.

Да, когда-то он в Грузии служил и Грузию любил, как Грибоедов — Нину Чавчавадзе. А он, Пал Палыч, тогда штабс-капитан, обожал другую Нину. Уж от его-то Нины, уверял Пал Палыч, ни в какую Персию ты не уедешь даже под угрозой расстреливания.

Он покорение Кавказа вспоминал без похвалы, но и без лени. Клянись, он заскучал бы, если б знал, что было это не покорение, а при-со-единение, а кровь лилась лишь потому, что был Шамиль — агент турецкий, по совместительству — британский. Э, нет, воспоминанья Ащеулова были в созвучье с Пушкиным: «О, Котляревский, бич Кавказа, губил, ничтожил племена»; «Дрожи, Кавказ, идет Ермолов...» Созвучья — черты эпохи, а не романные приметы из преискуранта...

Он памятью был крепок, Ащеулов: горячие блины, испеченные денщиком Антошкой на шанцевой лопатке; кованые звездочки взошли на небосклоне повеленьем государя в двадцать седьмому году, Пал Палыч прихлопнул большой ладонью по плечу — штабс-ротмистр и штабс-капитан: четыре; генерал-майор: две...; после славной перестрелки усы и лоб, как в саже; красные снурки у горцев — амулет; кричат из-за скалы: «Шайтан!», и этот вой и гик их конников; солдату два фунта мяса и чарку водки раздай-ка, унтер, и не греши; казаки, сметливые удалцы, оружием и одеждою ну, точно горцы, коим, изволите ли знать, в отваге не откажешь; ты в белом кителе с двустволкой наперевес и с толстой папиросою в зубах таскаешься в кустах — туземца выследишь да и подстрелишь, как куропатку, а другой где-то здесь же, в скалах и кустах, тебя выслеживает, чтоб подстрелить, словно гиену... Эх, Михал Максимыч, Михал Максимыч, куда как славно...

Попов, наш либерал, не морщился. Коль речь об упрочении державных рубежей, дело правое — губить, ничтожить племена. Так полагал и Пестель, Друг человечества и Друг свободы.

Ну, наконец-то Пестель. Мы ближе к цели.

Нет, не дружил суровый Друг с Пал Палычем. Напротив, сослал бы на галеры Луку Мудищева, да не было сей меры в «Русской пражде». Минстим сослуживцам в Новороссии казалось, что Ащеулов селадон, и только. А он...

Там, в Тульчине, имела штаб Вторая армия. Огромный гулкий дом с полдюжиной дорических колонн. В том доме, в штабе, была большая зала — депо армейской картографии. Во всю стену пласталась карта, выполненная в цвете, называлась — стратегическою картою империи Турецкой... Майором, потом полковником и генералом Ащеулов в ту залу приходил один. Он был взволнован почти лирическим волненьем. А вместе военным глазомером мерил сопредельную державу и нос-баклушу вдумчиво оглаживал... Любовные романы не поглощали эпические планы, «Турецкий марш» звучал в ушах.

Но что нам делать в Тульчине, хоть не деревня, а местечко? О, времена, застой, рутинка. Бьют барабаны? Готовься к смотру, нам амуниция всею дороже и строгий стройный вид. Невыносимо для человека со страстными. И он в отставку подал. Пусть сердце, которому не хочется покоя, бьет барабаном на смотре совсем без амуниции.

Он, вроде, был доволен самим собой и женщинами разных наций. Но Михал Максимыч как бы исподволь будил в нем честолюбца. Педагогически умело Михал Максимыч возвращал Пал Палыча в депо картографическое, к карте стратегической, в империю сопредельную. И словно бы между делом выспрашивал, как говорится, про жизнь обыкновенно-повседневную. И чином, и существом наш обер-аудитор был статским. Однако склонность к сионизму склоняла к тактике разведок в краях, где множество евреев.

Представьте, на их проклятый счет Лука Мудищев, как и Друг свободы, списывали многое. Мирная жизнь армейского офицера известна: утром учение, манеж, в полдень у полкового командира или в жидовском трактире... Жиды в Новороссийском крае держат всю торговлю. Чиновников всех ведомств залучают в тенета злоупотреблений. И возвращают взятками. У них рабины княжат, они трепещут рабинов. Все «просвещение» — Талмуд. И ждут, ждут, ждут пришествия Мессии.

С таким реестром был согласен сионист Попов. Ащеулов, в сущности, подтверждал суждения Пестеля — глава вторая «Русской правды», параграф — «Народ Еврейский».

Да, подтверждал, однако еще не знал, что сионист Попов уже толкует с Пинхусом, который Бромберг, купец второгильдейский, о близости Исхода, о том, что надо всем евреям собираться, ну, скажем, в районе Тульчина, а может быть, Одессы, чтоб пересечь волну морскую и... и... и...

Нет, полководец еще о том не знал, не ведал — он думал вслух о Лийке Лошак. Единственной гостиницею в Тульчине была корчма и постоялый двор Исайки Лошака. А дочь его была, как пальма... Красноречивыми руками Пал Палыч сделал пассы и рассмеялся... Какой прекрасный, свежий, чистый альт, она певала в водевиле. Он пощелкал пальцами... Ага! «Удача от неудачи, или Приключения в жидовской корчме»... И снова рассмеялся так, как неудачник не смеется. Да тут же и прибавил беспечно, что эта Лийка Лошак вдруг исчезла со двора, а года два спустя Тульчин был поражен, как громом: Лийка Лошак — адмиральша... Произведя эффект: Пал Палыч, поднимая белы руки, объяснил... Да, сударь, в Николаеве моя прелестница замуж вышла за Самуилыча — адмирала Грейга, Алексея Самуиловича. Он ныне командир и флота, и портов на Черном море, что, полагаю, вам известно.

Попов, сидевший на диване, едва успел поймать свою же ногу; она, заложенная на другую, вспрыгнула от восторга, словно б вместе с аудитором увидев море, корабли и пушки — совсем не детские игрушки. Ах, Боже мой, шотландец, адмирал на русской службе, супруг еврейки, всей мощью флота поддержит предприятие, как Пестель говорил, воистину исполинское.

Шаги раздались в коридоре. То были, несомненно, шаги истории самой. Но Ащеулов, еще не зная об исполинском предприятии, нес дичь. А, впрочем, дичь-то не вранье, и документы подтверждают, что Лийкин братец Давидка Лошак в лошадях знал толк, был ремонтером, то есть покупал он лошадей и поставлял в полки, все полковые командиры с ним совет держали, включая Пестеля... Пал Палыч словно бы осекся, но улыбнулся и признал, что сей Давидка, хоть был он ремонтером, но не ремонтерствовал, не наживался на поставках.

Михал Максимыч плохо слушал. Был вечер поздний, но ему как бы

блистал денницы луч. Опять шаги раздались в коридоре, шаги истории самой.

О, НЕБО, С КАКИМ ТРУДОМ наш обер-аудитор принудил нашего стратега обратиться к книге Ездры. Боевому генералу прелюбодейной жизни ломать глаза над текстом ветхозаветного еврея? Положим, книга Ездры — часть Библии. Положим, так, да он-то, Ащеулов, в известном смысле вольтерианец, а в полном смысле отнюдь не поп в полку.

И все же уступил. Видать, он сильную симпатию питал к Попову-сионисту. И только потому прочел он Ездру, не читанного давным-давно, а может, и, это очень, очень вероятно, не читанного отродясь.

Читал, как царь персидский Кир освободил евреев из плена вавилонского; плен длился семь десятилетий с лишком. Читал, как царь придал им войско для обороны на коммуникациях Исхода; о том, как Зоровавель, иудей, рожденный в Вавилоне, вел караваны, караваны от брегов Евфрата, вперед на Запад и привел на землю праотцов, в Иерусалим; евреи были благодарны персу.

Прочел да и задумался Пал Палыч. Он думал долго. Так долго, что гурии, иль женщины иномарок, обиделись всем дружным коллективом, однако нет, не взбунтовались, а шептались, не ждет ли их отставка, по крайней мере сокращенье штатов.

Наш генерал подпал под сильное влияние ветхозаветного еврея. Вам страшно? Понимаю! Выходит, и антисемиту нет спасу от семитов? Есть, господа; коль вы способны мыслить стратегически.

К тому великие способности имели и царь персидский Кир, и Бонапарт, и Пестель. Вы вникните, прошу вас. Евреи обретают Палестину; освободители евреев — наивыгодный плацдарм. Так думал Кир, он замышлял поход в Египет. Так думал Бонапарт, продолжив свой египетский поход. Так думал Пестель. А может, между нами говоря, и Бенкендорф; не только потому, что был он генералом Двенадцатого года, а потому еще, что государь пожаловал землю в Бессарабии, а там он и кишат кишмя, как в Кишиневе... Да как же, черт дерит-то, не понять, что значит ухватить подбрюшье империи Турецкой, имея на плацдарме преблагодарное народонаселение?! Не сомневайтесь, Пал Палыч Ащеулов, честолюбец, игравший не одну военную игру пред стратегическою картой, все это понял ясно, сильно, животворно.

УМЕСТНА ЗДЕСЬ батальная виньетка.

События наддали ход — воздействие астральное. Как без него, коль близок иудейский звездный час?

Но следователь — скептик; он знай свое: подайте документы.

В одном архиве давеча мусолил дело «Об обольщении генералом Ащеуловым девицы Облеуховой и вывезенных из-за границы иностранок». А нынче... О, этот Лефортовский дворец у Язуы. Он, право, больше служит к украшению Москве, чем та угрюмая тюрьма за Язуой.

Когда-то в Лефортовском дворце, на ассамблеях, кипели кубки и трещали каблуки. Теперь у Язуы узилище военного архива. Иль ассамблея ветеранов, где правит бал сам Марс. Но он в отставке и потому без шлема. Полководцы играют в карты, друг другу подпускают шпильки, а иногда, припомнив старые обиды, царю клистир поставят. И тут уж прытче всех Пал Палыч Ащеулов.

Попов не ошибался, увидев в нем стратега. Свидетельством тому архивное собрание бумаг П. П. Ащеулова, из коих выписки-экстракты мы прилагаем к следственному делу.

I

Возобновил знакомство с Вронченкой. Офицер Генерального штаба В. служил когда-то в Новороссии. Порох нюхал при осаде Силистрии. Говорит, что пушечное ядро, вылетев из жерла, перестает быть бесчувственным предметом; оно чертит в воздухе линию твоей Судьбы, а ты стоишь лицом к лицу с Вечностью... Конечно, русскому офицеру не пристало кланяться яд-

рам. Но столбенеть, дожидаясь, когда тебя разнесет в куски, что-то фатальное, что-то пиетическое. В. переведил Байрона, Шекспира.

В. встретил меня холодно. Так не встречают старого сослуживца. Первым моим движением было показать тыл. Этого я не сделал. Его мрачная несообщительность простибельна. Он глубоко и сильно любил невесту; ее постигло безумие отвратительного свойства; она перевоплотилась в какое-то дикое животное... Вообще женщины и безумие вещи нередко совместные. В таких случаях держись от них на расстоянии ружейного выстрела, не уступая ни пяди страсти, сколь бы пылкой она ни была.

В. черноволосый, смуглый; черты резкие, строгие. Он несколько не желает нравиться; в его манерах нет нарочитой учтивости.

Отмечаю г л а в н о е. В. недавно вернулся из Малой Азии, где провел три года и притом незаметных. Государь удостоил его высочайшей аудиенции, назначил пожизненный пенсион и произвел в полковники. Наблюдательные операции в Малой Азии, на территории, подвластной Дивану, требовали, кроме математических способностей, проницательности, мужества, благоразумия. Ему велено было составить секретные маршруты прохода наших войск через Малую Азию... Отсюда заключить должно, что вышней власти известен план кампании, которую П-ов справедливо называет исполненным предприятием.

В. подал мне мысль посетить Отделение восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел.

На Фонтанке, у Семеновского моста, квартирует директор Отделения г-н Аделунг, а также учителя и слушатели, коих шестеро. Они, будущие драгоманы (переводчики. — Ю. Д.), изучают арабский, персидский, турецкий, монгольский. Это дельно. Необходимо, однако, переводчик с древнееврейского. Рекомендовано г-ном Аделунгом обратиться за советом к протоиерею Павскому. Впрочем, еврей Б-г утверждает, что в многотысячном Иسخоде легко найти жидов, владеющих языком праотцов. Но я не доверяю еврею Б-гу, хотя П-ов и прочит ему статскую должность Зоровавеля.

Что до языка, известного повсеместно в Малой Азии, то существует «Карманная книга для русских воинов в турецких походах». Ее составил г-н Сенковский, издатель журнала «Библиотека для всех».

П-ов ехать к нему не пожелал, отговариваясь тем, что, хотя г-н С-ий имеет ум меткий и острый, но ужасный грубиян, натура вздорная. Исполненное предприятие, как говорит сам же П-ов, требует гениальной предприимчивости. Его отговорки неприемлемы. Кончилось тем, что он раздобылся турецкими разговорниками через посредника. Книжка заключает в себе все, что необходимо на марше к Иерусалиму. Например:

Еврей — Чэфыд.
Женщина — Карм.
Любовь с женщиной — Ышк.

Получил сведения относительно жидов, коих не наблюдал на театре военных действий.

Наполеон называл их наследниками героев, достойных Рима и Спарты. Ежели это и так, в чем я решительно сомневаюсь, то нельзя упускать из виду, что за тысячелетия рассеяния и приبلудной жизни еврейское племя выродилось в жидовское. Разумеется, движение к Иерусалиму воспламенит отвагу, придаст храбрости. Однако, возможно ли быстрое обращение жидов в евреев?

Опасения не оставляли меня до вчерашнего разговора с графом Б-фом*. Его сиятельство утверждал, что евреи в кампанию Двенадцатого года горячо желали успеха нашему оружию и ревностно тому споспешествовали в разведывательных операциях, хотя и подвергались жесткому мщению как неприятельской армии, так и польского населения, которое держало сторону Наполеона. Он, граф Б-ф, сослался также на мнение незабвенного Милорадовича, который, оказывается, говорил, что евреи много сде-

* Имеется в виду А. Х. Бенкендорф.

Сообщение П. П. Ащеулова подливает масла в наше предположение о причастности шефа жандармов к заговору сионистов.

дали для нашей победы и что без евреев он не был бы украшен орденами... Благородный герой наш, несомненно, преувеличивал, однако льстить жидам резона у него не было.

Днями у Демута остановился консул К. И. Б. Он приехал из Малой Азии, из Смирны. Добрый и восторженный П-ов сообщил мне, что К. И. Б. однокашник Гоголя. Положим, занятый сочинитель, да мне какое дело. Вечера с К. И. Б. здесь, у Демута, неизмеримо важнее вечеров на каком-то хуторе*.

Я не ошибся. К. И. Б. на многое открыл глаза по части статистики и административной. Диван разваливается, янычары бунтуются, Египет, Аравия, Сирия объята волнениями. Все играет нам в руку.

Евреи, рассеянные в городах Европейской Турции и прозябающие в Палестине, поднимают головы, оживленные своей вековой мечтой. Объяснение этому представлено К. И. Б. Между султаном и богатыми банкирами израилевского племени, подданными Франции и Англии, завязались переговоры об уступке, то есть выкупе Палестины.

Отдать ее покровительству других держав решительно невозможно. Евреи нашего отечества именно в России ожидают явление Мессии.

Таким образом, мы имеем те особенные обстоятельства, которые требуют исполинское предприятие.

II

Приказал заменить кивера на форменные фуражки; к оным приделать козырьки и сшить белые холщовые чехлы для предохранения от зноя. Приказал после захода солнца надевать бараньи набрюшники для предохранения от поносов.

Генералы сказали: «Эту крепость взять трудно».

Наполеон спросил: «Но возможно ли?»

«Не возможно», — отвечали генералы.

«Ну, так вперед!» — приказал Наполеон.

Пули свистали со всех сторон. Первый натиск регулярного отряда в кармазинных фесках (суконных ярко-красных. — Ю. Д.) приняли карабинеры. Остановили. Но все же пришлось отступить. Отступали в порядке, ведя фланкерскую перестрелку.

4-й эскадрон казаков понесся навстречу неприятелю. То были ополченцы в чалмах. Наш удар был силен. Турки побежали. Однако подоспели другие. Толпа была огромная. Наших почти не было видно. Эскадронам казаков было приказано: «Марш! Марш!» Сеча была страшная. Место сражения усеялось трупами.

Во время атаки Егерского полка прапорщик Д.** скакал на правом фланге. Сгоряча оказался в окружении. Турок выстрелил ему в лицо. К счастью, Д. получил только контузию над левым глазом. Как объяснить? Турок, второпя заряжая пистолет, обронил пулю, удар произошел лишь пыжом. Прапорщик Д. вырвался из окружения.

Ротмистр А., получив удар пикой в бок, свалился с лошади и тотчас увидел всадника, занесшего над ним саблю. В голове взроилась тысяча мыслей, но чувства отнимали у них живость, душа оставалась неподвижной. Он думал: «Теперь решится загадка...» Все длилось несколько мгновений. Ротмистра выручили казаки.

* Консул в Смирне К. И. Базили действительно учился вместе с Н. В. Гоголем и впоследствии сопровождал писателя, мало ценимого П. П. Ащеуловым, в путешествии по Св. Земле.

К. И. Базили принадлежит монография «Сирия и Палестина». Н. В. Гоголь писал, что он не знает другой книги, «которая бы так давала знать читателю существо края».

** Здесь и далее имена боевых сподвижников автора установить не удалось.

Батальон майора Л. занял опушку леса. На полтысячи шагов простиралась поляна. За нею находилось большое селение. Все кровли блестели металлическим блеском ружейных стволов. Позади селения, на взгорке расположилась неприятельская батарея и, постреливая, сшибала ядрами верхушки деревьев, производя эффектное впечатление.

Батальонный Л. обходил цепи. Он был по обыкновению спокоен, словно раскуривая трубку. Как всегда, Л. просил солдат быть экономными, то есть не орать «ура» без повода. Однако, зная, что все равно орать будут, то и просил экономить до минуты самой решительной.

Селение взяли. Пороховой дым рассеялся. Светило солнце. Все были необыкновенно оживлены, как всегда бывает после удачного боя.

Двое солдат водили под руки товарища, раненного в живот. Беднягу рвало кровью. Прапорщички, братья-близнецы, очень похожие друг на друга, были изуродованы совершенно одинаково пулевыми ранениями в рот. Трупы лежали навзничь, накрытые шинелями.

Батальон встал биваком, загорелись костры, картина приятная.

Иной вид представляет лагерь, оставленный впопыхах неприятелем. Хаос палаток середь куч нечистот. Отвратительная достопримечательность такого лагеря — бочонки с засоленными ушами и головами. Отрезание ушей и отсечение голов запрещено в регулярных войсках. Это не исполняется. Надругательства ожесточают наших солдат, и они не щадят пленных, вопреки строгим указаниям начальников.

При всей строгости досмотра за пленными некоторым удавалось бежать. Они рассказывают, что их толпами встречало местное население. Дети, гримасничая и приплясывая, пилили ребром ладошки шее, показывая, чего они желают пленнику. Женщины бранились и, забегая вперед, плевали в лицо. Мужчины, напротив, были сдержанны и молчаливы, иногда укладкой, знаками выказывая сочувствие.

О победах в бышк, то есть в романических приключениях, не слышать даже от молодых обер-офицеров. Разделяя общую участь, лишь однажды, да и то мельком, увидел, какова карма, то есть турчанка.

Она взшла в ювелирную лавку. Купец в засаленном халате не выражал на своей азиатской роже ничего, кроме бесстрастия. Вероятно, поэтому она и беседовала с ним, приподняв белоснежное одеяние.

Ее томная бледность свидетельствовала об огненном темпераменте. К сожалению, что-то похожее на мантию скрывало роскошную грудь. Едва я шеvelнулся, она исчезла, как гений чистой мусульманской красоты.

Уповая на Палестину. По словам консула К. И. Б., там есть греческие монастыри. Все они мужские, но не без женского животворящего присутствия; чрезмерная строгость нравов не наблюдается. По его же словам, осанка палестинских евреек гордая, лица правильны и благородны, походка легкая и вместе твердая; они особенно картинны, идучи с мехами на голове к родникам и колодцам.

Русский штык проломил турецкие оплоты.

Мой Синайский Корпус тремя колоннами, имея арьергардом бесконечные еврейские караваны, приближается к Иерусалиму.

Городки Иудеи кажутся издали грудью камней, словно бы посыпанных пеплом. Глаз не радуют ни пажити, ни луга. Щебетанья птах не слышно. На каменистых кряжах кривые деревца. Верблюды важны и молчаливы. Ревут ослы Исхода. Все чаще счастливые рыдания евреев.

Нет, мы не пилигримы, а калики. Как говорил П-ов, калики — солдатская обувка, сапоги.

Заутра Синайский Корпус вступает в Град Иерусалим.

С ЯЗВИТЕЛЬНОЙ УСМЕШКОЙ вы можете сказать: и тут проснулся Ащеулов, генерал в отставке.

Проснешься, когда в дверь стучат бесцеремонно и слышен какой-то наглый говор. И это не шаги истории, нет, ее жестокая ирония с пренебрежительнейшим лицом Раксева.

Благоугодно было отцу отечества сослать врага отечественного благо-

честия, несчастнейшего из полководцев аж в Вологду, которая, насколько нам известно, не имеет сходства с Иерусалимом.

Девиц же иномарок благоугодно было его величеству послать подальше, пусть растлевают растленный Запад.

Бумаги Ащеулова изъять да и предать архивному забвенью.
Все это объявил Пал Палычу Ракеев.

В ТОТ ДЕНЬ, назначенный судьбой-злодейкой, проект учрежденья постоянного двора, еврейского, коль не забыли, а в корень глянуть, гнездовья сионистов, прихлопнул Комитет министров. Комитет, что было редко, не согласился с Бенкендорфом, пошел на поводу у статс-секретаря: от эдакой гостиницы выйдут беспорядки в Петербурге; за всеми и полиции недоглядеть, особливо ж за человеками, умеющими делать обрезание, а также изощренно развращающими взятками чиновников Сената и всех присутствий.

Желая раз и навсегда спасти чиновников от соблазнов, включая обрезание, благоугодно было государю отправить Бромберга П. И. в Свеаборгскую крепость, в одну из арестантских рот. Туда, где Кюхельбекер о Зоравеле писал.

А ЧТО Ж ПОПОВ, Михал Максимыч?

Умыл он руки. Контрактов с сионизмом он не подписывал. И посему он позже с чистой совестью дал расписку в приеме арестанта. Им был Тарас Шевченко. А это значит, что обер-аудитор не утратил любви к божественным глаголам.

ЗАКОНЧИВ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО, кого мы предадим суду?

Надеюсь, вы согласитесь, Суда Истории достоин Бромберг, который Пинхус. Тут и начала, и концы. А он хотел бы их обрезать. Правда, не с помощью зубных врачей, но суть-то остается.

Михаил Кукин

К ФУРДУЕВУ

Игорю Федорову, армейскому товарищу

Будешь у меня ты водочку, Игорь,
Попивать, а лучше — «Рояль» разбавлю.
Сам я покупал в магазине нашем —
Вот он, красавец.

Говоришь, ослепнем? Не бэ, земля!
Я уже проверил — вчера с Костяном
Скушали пол-литра — никто Гомером
Не стал, как видишь.

Что воротишь нос? Говоришь, не можешь?
Пахнет, говоришь? Говоришь, сурово?
Значит, «Амаретт» и «Чин-Чинов» всяких
Вези с собою.

Я же не гонюсь за роскошной жизнью.
Деньги в суете достаются, Игорь!
Все равно с собой не возьмем в могилу
Бутылки эти.

Идиллия

Это песня твоя мне весь вечер слышна,
Соловей, Филомела!
Очумела моя голова от вина,
От вина очумела.

Это борются в сердце усталость и грусть
После литра «Агдама».
Телевизор включу, по каналам пройдуся,
Да повсюду реклама.

Это девка смеется и сиськой трясет —
Значит, «Баунти» купит.
И сияет экран, телевизор поет,
А печаль не отступит.

Михаил Юрьевич Кукин родился в 1962 г. в Москве. После школы учился 3 года в МИФИ, служил в армии, потом окончил Московский государственный педагогический институт, где и работает ныне преподавателем. Живёт в Москве. Предлагаемые стихи — первая публикация.

Не отступит печаль, «Менатеп», «Логоваз»,
Итальянские моды.
Это «Проктэр энд Гэмбл», и «Сникерс», и «Марс»
За прогнозом погоды.

А погода в окне — все дожди да дожди,
Пролетевшее лето.
Я рюмашку налью — ничего впереди,
Тишина без ответа.

Ничего впереди, пустота-мутота,
Ни конца, ни начала.
И поет соловей, дуралей-простота,
Как ни в чем не бывало.

Соловей, соловей, не имей сто рублей,
Только пой до рассвета.
Папирос не кури и вина ты не пей —
Ну зачем тебе это?

Ты на звезды смотри, соловей, по ночам,
На огни городские.
Соловей, соловей, это ж гадость — «Агдам»,
Просто цены такие.

Просто время такое, невидимый друг.
Ничего, перебеешься!
Спотыкается век, замыкается круг —
Не помрешь, так сопьешься.

Это время такое, мой брат соловей,
Это грусть и усталость.
Я рюмашку налью, а ты пой веселей,
Коли песня досталась.

И когда я усну с очумевшей башкой,
С покосившейся крышей,
Не смолкай, я прошу, и над спящим ты пой —
Я и спящий услышу.

И тогда мне приснится волшебный тот сад,
Где прохладные тени,
Где ручьи серебрятся и листья дрожат
И не движется время.

Там цветущие ветви росой полны,
Там не знают заботы.
И поет тишина, и среди тишины
Там зовет меня кто-то.

Там дымит костерок, там Тимур и Костян
С шашлычком и с бутылкой,
Помидоры и хлеб, и налитый стакан,
И венки на затылке.

Там Филлида и Делия с Хлоей младой
В хороводе танцуют.
И гитара звенит, и Гораций седой
С Мандельштамом толкует.

И дыханье свободно, и сколько ни пей —
Не кончаются силы!
Пой же, пой, говори, соловей, соловей,
Пой, соловушка милый.

К Фурдуеву

Наши, Дрюпа, льются, бегут года!
В волосах, посмотри, серебро мелькает.
Разбросало всех наших, кого куда.
Шум стихает.

Не бренчит гитара... Про лыжи петь,
Что из печки торчат? Про лесные дали?
Это ж надо, Дрюпа! А было ведь.
Подпевали.

Помнишь, Дрюпа, свадьбу у Миши С.?
Там была еще эта... Альбина? Дина?
Ты напился тогда, извалялся весь
В тополином,

В тополином, Дрюпа, пуху, а я
Шел спасать тебя и упал куда-то.
Вот и подвиг весь. Вот и наша вся
Alma mater.

Наши, Дрюпа, и вправду года бегут.
Вышел Веничка вместе с «Тяжелой лирой».
Что ж, спасибо! Теперь-то на кой нам шут
Хвост к ОВИРу?

Мы же русские, Танька, как пел Леон
На картошке, где был сумасшедший Князев.
Помнишь, Дрюпа? На кухне зачем-то он
Ночью лазил.

Елик шифер локтями ломал, а Лев,
Подстеливши пилоточку, лбом его бумкал,
А Парносов бутылки, берет надев,
Бил сб кумпол.

Страшный Фишер бродил по лесам тогда,
Но, завидевши нас, выходить боялся.
Помнишь Манью, Дрюпа? Бегут года!
Нам остался

Не такой уж большой отрезок пути.
Уж, по крайней мере, никак не вечность.
Как там, Дрюпа, твой простатит? (Прости!)
Сердце? Печень?

Вот Миронов, Катька сказала, жует
Каждый день ананасы. Окреп, наверно.
Стал, как немец, румян. Да, боюсь, запьет.
Он же нервный.

Где Гаврилов, чудесный Гаврилов, где
На плечах богатырских эюкзак с портвейном?
Где Маруся твоя, над каким биде,
Мэри Клейман?

Ты приехал бы, что ли? Давно пора!
Из Лыткарино — раз! — и ко мне в Коньково?
Мы бы с Риткой уж шриняли... До утра?
Чем фигово?

Что стоит на столе, я об том молчу.
Ведь не раз уже, Дрюпа, в хореях и ямбах
Я закуску воспел. Посему пропущу.
Кушай! Я бы

Тост хотел предложить, только вот какой?
Впрочем, если хохмить, то идей будет тыща.
Если ж, Дрюпа, серьезно... Увы, ни одной
Не отыщем.

Шум дурацкий стихает, стихает шум.
Словно дождь за окном, что все звуки глушит.
Время льется, Дрюпа, и ищет ум,
Где посуше.

Если что и шумит, так шумит камыш.
Увядает трава, упадают листья.
Как там Оленька Б.? Как старушка Мышь?
Пишут письма?

Шум стихает... Не жалко! Горит восток.
Ничего. Ведь не первый же раз до победной
Засиделись. Гаврилов сказал бы: дай Бог,
Не последний!

Не последний, дай Боже, такой рассвет,
Крики черных ворон, физкультурник на брусках,
Уплывающий в форточку дым сигарет,
Но... вернусь я

Все ж к Горацию, Дрюпа: года бегут!
Но когда приглядишься, так все уцелело.
Как умели, росли. Но мы выросли тут.
В этом дело.

В этом дело, Дрюпа, и это в крови.
Шум стихает, но крепнет какое-то зренье —
То, что видит назад. Мы навечно внутри
Поколенья.

Это фраза. В натуре картина сложнее:
Всяки дилеры, брокеры и финансисты.
Продавцы, продавцы, продавцы всех мастей.
Журналисты.

Люди бабки варят... — А сам-то чего?
Кто тебе-то мешает? — Да сам и мешаю.
Объяснимся: ведь я не виню никого.
Я внимаю

Музам, Дрюпа! Внимаю богам моим.
Я живу, как хочу, хоть не так уж и волен.
Я бездельник, конечно. Бездельем своим
Я доволен.

Так о прошлом, Дрюпа... Иного нет.
Лишь руины, заметил один зануда.
Да, руины, конечно... Но льется свет
К нам оттуда.

Владимир Войнович

ДЕЛО № 34840

Совершенно не секретно

Начато 11 мая 1975 г.

Окончено 31 мая 1993 г.

Закрывается не закрыто

Введение в тему

Н иже излагается история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году, и рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно восемнадцать лет.

Сама история была в свое время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвертые, когда заходила речь или, сами ее заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении джеклондонского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает.

Трудность усугублялась еще и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чем вынужден был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений.

Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила; событий, за нею последовавших, с добавлением подробностей и документов, полученных в результате расследования, приведенного в конце концов к раскрытию тайны, которую хранило в свое время КГБ и изо всех сил пыталось сохранить нынешнее Министерство безопасности России.

Манциг цванциг

4 мая 1975 года было тем самым Светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей была сочинена чашушка:

Слава партии родной
За любовь и ласку —
Отбрали выходной,
Обобрали пасху.

Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно. 1-го и 2-го мая официальный праздник, 3-го нерабочая суббота, а выходной с четвертого мая перенесли на десятое, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю тридцатилетия Великой победы, а следующее воскресенье, 11 мая объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку.

Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич

Суслов (кто его помнит сегодня?), тут, не думаю, чтоб обошлось без какого-нибудь высокого ордена.

Утром в половине девятого в моей комнате вкрадчиво зажурчал телефон.

Полдевятого утра — время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаем. А вчера я лег особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырева на вечеринке по поводу приезда Костиного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал: свой день рождения (два месяца тому назад как раз было пятидесятилетие), день рождения жены Лены Суриц, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг, который, несмотря на солидный (за пятьдесят) возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым и никак иначе. О нем я был уже наслышан от Кости: «Вот придет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый Чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин».

И вот вчера звонок: «Если у тебя есть время, приходи. Гришка приехал». Я сказал «хорошо» и повесил трубку. Он позвонил опять: «Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста».

У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на Западе принесли не только неприятности, но и открыли на короткое (очень короткое) время доступ к магазину «Березка», где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки, тогда еще очень дешевые: бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля (полтора доллара).

Моя жена Ира со мной пойти не могла, у нее на руках наша полуторагодовалая дочка Оля.

Прихватив с собой 0,75 тогда еще диковинного «Джонни Волкера», я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице, в ста шагах от меня.

Это были еще времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное количество всяких напитков и закусок. Да меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедны Костя и Лена, а и у них, если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд.

Сейчас за столом, кроме хозяев, сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения — Григорий Агеев, крупный (вдоль и поперек) сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо — фокстерьер Прошка, подаренный Костей Лене. Был он, как и хозяйка, довольно нервный, но, в отличие от хозяев, агрессивный, лежа внизу, он иногда по-своему реагировал на поведение сидевших за столом, начинал вдруг зловеще урчать, а то и просто, ни с того, ни с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру — ботинки насквозь не прокусывал.

Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не раскочаили.

Он порадовал меня сообщением, что в Донецке, благодаря отчасти его пропаганде, многие люди слушали по Би-Би-Си три передачи по «Чонкину», а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих.

Питье разливал Костя. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал.

Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе.

— Ну, давай, давай, — поощрял Костя. — На вот еще выпей для разгону. Ну, рассказывай.

— Да ну, — вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев, — чего там рассказывать? И рассказывать нечего.

— Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь.

— Ну, как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призвали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже, наоборот, как хамелеон, маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал «Стихи о советском паспорте». За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную Армию. Несмотря на то, что мне было только семнадцать лет и, не зная того, что мой отец изъят органами НКВД. Но мне родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, передвинул войска на заранее подготовленные позиции, и так передвинул, что вся наша дивизия со всеми командирами и комиссарами попала в мешок. А наш политрук говорит: умрем, говорит, ребята, но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия со своих петлиц сполрол, чтобы остаться живым даже и после сдачи.

Ну, мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю. Может быть, на почве личной обиды. Потому что я был к тому времени уже сирота. Мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я, ясное дело, скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос, кто мои родители, я отвечал прямо: мать, говорю, так и так, умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс.

Вкусив, и как следует, «Джонни Волкера», Агеев раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нем вроде и не бывало.

— Немцы меня сперва из других прочих не выделяли и отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецк. Ну, я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня все время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю, какая нехорошая была власть, все в лежку лежат, смеются. Ну, немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных — отец изъят органами НКВД. Ну, значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то еще эсэсовец и переводчик. Ну, опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну, я говорю, как есть: мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Как относишься к советскому режиму? — спрашивает эсэсовец.

— Яволь, — говорю, — к советскому режиму отношусь с большим отвращением.

— Ну что ж, — говорит, — мы тебя пошлем в Кенигсберг, там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов.

Ну, и направили нас в Кенигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами. С пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски.

Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего, хватало. У нас с напарником было такое большое ведро, я подхожу к повару и говорю: «Манциг цванциг». То есть на двадцать человек. А он же мне не повесить не может, не может оскорбить меня подозрением, что я, такой приличный молодой человек, ему вру. И накладывает почти полное ведро. Ну, мы с напарником тут же за угол зайдем, по десять порций наверхнем, так еще ничего, жить можно.

Все это Агеев рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут, а больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. «Манциг цванциг!» — повторяет он восхищенно и дергается в конвульсиях, словно слышит это впервые.

— Самое главное, — говорит он, утирая выступившие слезы, — что все это правда.

Агеев рассказывает дальше.

В Кенигсберге будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой, дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и публичный дом.

Ввиду присутствия дам рассказывать о публичном доме Агеев не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили как будущему антисоветскому политруку:

— Вхожу в комнату, там за столом несколько офицеров и один генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Расспросил меня, кто я такой и откуда. Говорю, из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Очень хорошо, — говорит генерал. — То есть не то хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правильных представлений о сущности коммунистической власти. Ну, а какой вообще круг ваших знаний? Литературой интересуетесь?

— Яволь, — говорю, — ваше превосходительство, очень даже интересуюсь.

Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают, вот какого образованного человека нашли! Даже литературой интересуется.

— Хорошо, — говорит генерал. — Значит, книжки читаете. И кто же, если не секрет, ваш любимый писатель?

— Маяковский, — говорю, — господин генерал.

Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаза, как лягушка, выпрыгнул.

— Кто? — говорит. — Маяковский? А какое именно произведение Маяковского вы любите больше всего?

— Поэму «Владимир Ильич Ленин».

Костя Богатырев правой рукой схватился за живот, а левой машет и, давясь от смеха, уверяет, словно сам он там был:

— И самое главное, это все правда. Он ведь ничего не выдумывает.

Все хохочут, кроме Прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении.

— Интересно, — изображает генерала Агеев, — интересно. А писателя Достоевского вы читали?

— Так точно, господин генерал, читал.

— И что больше всего вам понравилось у Достоевского?

— Роман «Что делать»! — прокричал Агеев, чем сразил в сорок втором году немецкого генерала, а в семьдесят пятом всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева. И прежде всего самого Костю.

Ясно, что карьера Агеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять как москалей и коммунистов. Гришка рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги и, разутого, повели на расстрел, и, уж казалось бы, что может быть несмешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают со смеху, а Богатырев схватился за живот и корчится, словно у него приступ язвы. И опять, смахивая слезы, подтверждает:

— Все правда, все правда! — будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал.

Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где москалей запрещали детям говорить на ридной мове. Кто-то из бандеровцев пожалел сироту, ему вернули жизнь и сапоги, взяли к себе на службу, на которой он пробыл два месяца с лишним.

— В конце концов, — сказал Гришка, — я к ним настолько вошел в доверие... — тут он приосанился и сделал значительное лицо... — что мне даже поручили ответственнейшее задание, в ходе выполнения которого... — на лице огорчение... — я и сбежал.

Тут Прошка не выдержал и вцепился Агееву в ногу, что (поскольку

нога осталась цела) вызвало дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита.

Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит Советской Армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, сказал он, отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На кавказском побережье для Сталина держали несколько дач, из них самая главная была на озере Рица. Новая дивизия и должна была эти дачи стеречь.

— Ну, естественно, — говорит Агеев очень серьезно, — туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями. Чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных, и чтоб сам никогда не был ни в оккупации, ни в плену, вообще, чтобы прозрачен был, как стекло... вот почему я туда и попал, — заключает он свои рассуждения, отчего слушатели опять дергаются, сползая со стульев, а Прошка рычит.

Дальше был рассказ о том (и Костя, ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут все чистая правда), как в дивизии по охране Сталина составила подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в здешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации.

Входили в нее рядовые, сержанты, офицеры и штатские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные планы — от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули, как же это они прозевали такой разветвленный разговор?

Обычно, когда им выпадало стряпать мнимое дело, они, для придания ему зловещего характера и масштаба, старались его всячески раздуть. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили как за покушение, и первый приговор был — к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятью годами. Но случаем Агеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина и на суде несколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало, наоборот, дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по «четвертаку», но дивизию при этом расформировали, лишили знамени, старших офицеров — кого под суд, кого в отставку.

К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Лена быстро собралась и ушла к всенощной, Корниловы — домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение (стихами) «Анти-Дюринга», а Костя, восхищенный талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрел и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с ее помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.

Есть желание встретиться

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив.

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскрес!» Чем заставлял меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливой мыслью: как? неужели опять Пасха? И что же отвечать? «Воистину воскрес»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций, вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо

«Служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выводим был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение — в устной и письменной форме — от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передыг, в числе которых — исключение из советских писателей и фактическое объявление вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неопиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, по-пионерски: «Воистину воскрес!» Причем именно «воскресе», а не «воскрес».

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», — никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного:

— Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Вторжения **органов** в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по **их** замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени все у **них** вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписание и даже одаренный возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я слушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всеильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Ивалько, затем написал открытое письмо председателю ВААП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Би-Би-Си сделало три больших передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли **они** такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И всё. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того о том, что исключена из СП Лидия Чуковская, для меня не нашлось ни слова.

— Вы не знаете, как поживает Войнович? — спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял спрашивавшему: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это, более или менее, устраивало, а их, менее или более, наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда, отдельными экземплярами, стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой. С изображением священной фигуры товарища Сталина в напяленном на него женском платке. Они были бы не они, если б стерпели и это.

И вот:

— ...государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть

желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени...

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никак не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я, а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело, хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые Самиздатом рекомендации: по звонку ни в коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд — ни ногой. Только и исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз они хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добываясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок и тот же Захаров:

— Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом постуните, как захотите.

— То есть, как никому не говорить? Даже родственникам?

После некоторой заминки:

— Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Тайна — первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоит несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я несколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтически мечом революции (я бы его назвал топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться ради закона или морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом, сажать меня, может быть, не выгодно, но придавить где-нибудь в темном углу, почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано вообще им, то есть той неопределенной структуре, которую мы, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более, что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно пришло. А проявлявшим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не ос-

тавлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.

Меня провожала моя жена Ирина. Перед входом в приемную КГБ (Кузнецкий мост, 24) мы простились, договорившись, что, если часа через два я не вернусь домой, она начнет звонить иностранным корреспондентам. Я взял у нее три рубля на лажек. Она предложила больше, но я сказал, что там и три рубля — сумма немалая, в чем я, как мне потом объяснили бывшие зэки, ошибался, трешка и там не деньги.

В приемной меня встретил рыжеватый, конопатый, упитанный человек лет тридцати с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что я не один, он всеми своими конопушками, и плечами, и ушами выразил ужасное смущение. Ему неудобно, показал он, что он беспокоит не только меня, но и жену. Изобразив Ире быструю смену недоуменных ужимок с пришепетыванием («Право, вам не следует беспокоиться... но... в общем... как хотите...»), он повел меня в их главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая пропускать меня по истрепанным водительским правам (паспорт я забыл дома), но затем смилоствивился.

В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти или больше. Вытянутое загорелое лицо, очки на горбатом носу, черные курчавые волосы коротко стрижены.

Вышел из-за стола, протянул руку (улыбка до ушей): Петров Николай Николаевич, очень рад познакомиться, давно мечтал.

На столе журнал «Грани» с моим рассказом «Путем взаимной переписки», «Литературная газета» с интервью Бориса Панкина, номер «Русской мысли», еще какие-то вырезки из газет, машинописные тексты, плакат с портретами пациентов спецпсихушек (и я среди них).

Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо.

— Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете?

— Сказал.

— Жене?

— Не только. Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно.

Улыбается.

— Не доверяете органам?

— Не очень.

— А почему?

— Такая у вас репутация.

— Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся?

— Не знаю. Может быть, изнутри меняетесь, но снаружи не заметно.

Слова мои явно его огорчили, он стал мне доказывать, что они меняются, что они совсем не такие, как прежде, хотя многие никак не хотят этого видеть.

— Ну ладно, — сказал он, примирившись с фактом, что люди существа неблагодарные, сколько хорошего им ни делай, все равно не поймут. Может быть, когда-нибудь в исторической перспективе разберутся, а сейчас — что поделаешь. — Как праздник провели, Владимир Николаевич?

Я прикинул, какой именно праздник? Если Пасха, то она еще вся впереди, а если 1 мая, то я, во-первых, о нем забыл, а, во-вторых, к празднику советским и несветским (не считая Нового года) давно уже не относился никак, и вопрос о качестве их проведения в приложении ко мне был лишен всякого смысла. Что же касается наших дружеских попок, то они если и бывали связаны с датами, то это были дни рождений, свадеб или смертей, но никак не официальные годовщины.

— Зачем вам знать, как я провел праздник? Вы лучше скажите мне, кто вы?

— Я вам сказал: Петров, сотрудник комитета.

— Я бы хотел знать должность и звание.

— Да зачем вам это нужно? Потом, посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим.

В самом деле, какая мне разница, кто он? Он может сказать все, что угодно. Вот и фамилия, конечно, наврал. (Я тогда решил почему-то, что

Петров это псевдоним, а Захаров — фамилия, и в первом своем репортаже называл одного Лжепетровым, а другого просто Захаровым, потом выяснилось, что оба были «лже», но пока пусть останутся теми, кем назвались.)

Достаю сигареты, спрашиваю, можно ли курить.

— Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь как дома. Забудьте, где вы находитесь. Хотите, окно откроем настёжь, чтобы было прохладно, хотите, совсем закроем, чтобы было жарко.

В последней фразе была полуприкрыта угроза, но я ее пропустил мимо ушей, меня пугали и посильнее.

Закурив, кладу сигареты на столик, рядом с собой. Сигареты у меня болгарские, называются «Интер», цена — 35 копеек. Захаров тоже тянется к пачке: «Можно, я у вас возьму сигаретку?»

— Можно, конечно.

С лица Петрова не сходит благожелательная улыбка.

— Вот, Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки. Это рабочие руки. Это не руки писателя.

Думает, мне лестно, что у меня рабочие руки.

— Но я этими руками пишу, — говорю я на всякий случай.

— Да, вы ими пишете, но все-таки до сих пор видно, что это рабочие руки.

Я, понятно, настороже. Если это намек на то, что этими руками сподручнее держать не перо, а лопату, я не согласен.

А он гнет свою линию дальше: у меня такая трудовая биография, такая советская (прямо почти слово в слово по Галичу: «Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл...»).

— И как же это получилось, что вы, с такой биографией вдруг оказались вне советской литературы?

Имей я желание говорить с ним всерьез и откровенно, я бы сказал, что моя биография как раз и была главной причиной, почему я терпеть не мог и советскую власть, и советскую литературу. Я от рождения был человеком интеллектуального склада, а рабочим стал потому, что отца у меня сначала посадили, а потом он с фронта вернулся инвалидом и остался при этом неблагоденственным, и занимал в маленьких газетах маленькие должности, и прокормить меня не мог. И как раз, будучи рабочим и солдатом, я увидел, что реальная жизнь очень сильно отличается от ее изображения в советской литературе.

Но объяснять всего этого Петрову я не хотел и готов был вместе с ним удивляться, как же я с такой биографией так далеко зашел.

— Неужели они вас так втянули? — спросил Петров.

— Кто это «они»?

— Ну, например, те, кто издает нас на Западе, рекламирует.

Тут мне и пришла пора делать ответный ход. Я в те годы выбрал для себя такую тактику, отвечать тем, кому приходилось допрашивать меня от имени государства, что вы, мол, сами во всем виноваты. Если бы вы печатали меня здесь, я бы не стремился печататься там (к тому же тогда бы это и не имело значения). Если бы вы не сажали людей, то западной пропаганде не о чем было б шуметь, и все было бы хорошо.

В таком подходе было, конечно, некоторое лукавство, но в нем же была и правда.

— Видите ли, — сказал я Петрову, — меня в эту ситуацию не втянули, а зтолкнули.

— Да? — оживился он. — И кто же?

— В первую очередь руководство Союза писателей.

— Как?

— А вот перед вами мои интервью, там все написано.

— Да, здесь написано. — Он грустно покачал головой, давая понять, что написано здесь нехорошее. — Но вы же советский человек?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— А так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму какой.

Для меня понятия «советский» или «антисоветский» давно уже были лишены всякого смысла, но вдаваться в дискуссию по этому поводу тоже

не хотелось. Тем более, что чем дальше от понятия «советский», тем ближе к уголовному кодексу.

— Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек.

— Вы так считаете? А я уже думал, что нет.

— Почему же вы так думали?

— Мне так говорили.

— Кто?

— Да в том же Союзе писателей неоднократно.

Петров досадливо морщится. Да, дураков у нас еще много. Стоит ли обращать внимание на то, кто чего скажет. Кто бы что ни говорил, а он, Петров, в моей советскости несколько даже не сомневается.

— Вот посмотрите, это же вы писали. — Подсовывает мне одно из двух подписанных мною писем в защиту Синявского и Даниэля: «...Мы, всем сердцем преданные идеям социализма...»

Я очень хорошо помню, что когда мне давали это письмо на подпись, меня как раз эта строчка, насчет преданности всем сердцем, весьма покорила, но я очень хотел, чтобы Синявского и Даниэля освободили, и ради этого готов был подписать все, что могло привести к этому. О чем и сказал сейчас Петрову. Но при этом добавил, что с момента подписания письма прошло девять лет, я это время развивался и теперь к слову «социализм» добавил бы определение «с человеческим лицом». Так я тогда сказал, а теперь мне даже неловко повторять сказанное, но, впрочем, я и потом говорил и сейчас в подобной ситуации мог бы сказать: покажите мне социализм с человеческим лицом, а не свиным рылом, и я его охотно приму. Тем более, что по моим представлениям (и сегодняшним) социализм с человеческим лицом — это смешанное общество, социализм, в котором достаточно капитализма. А капитализм с человеческим лицом — это тот, в котором достаточно социализма, то есть, приблизительно, то же самое.

Держась выбранной тактики, я стал убеждать моих собеседников (а через них и их начальство, среди которого, я думал, есть такие, кто со мной согласится), что не те, кто подписывал письма, а те, кто к ним не прислушался, виноваты в ухудшении отношений с Западом и подрыве престижа СССР. Вас, мол, люди предупреждали, а вы не послушали, посадили Синявского и Даниэля, и что? Какая из этого польза? Может быть, вы теперь поймете, что нельзя писателю сажать за книги?

— Хи-хи, — неуверенно встречает Захаров. — Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя?

— Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись.

Но Петрова руководство Союза писателей не интересует, его интересует мои эпистолярные упражнения, в их числе открытое письмо Борису Панкину, председателю ВААП.

Со штатом охранников и овчарок

История письма Панкину — дело давнее и требует пояснения. 27 мая 1973 года Советский Союз присоединился к международной (Женевской) конвенции по авторским правам и учредил новую организацию: Всесоюзное агентство по авторским правам — ВААП. Люди, стоявшие у колыбели этого заведения, преследовали сразу несколько целей: 1) авторов поставить под полный произвол государства и наиболее неприятных душиить, а менее неприятных грабить; 2) создать новую кормушку (в ранге министерства) с соответствующими креслами, окладами (частично в валюте), машинами, дачами и т. д. и 3) использовать эту шарagu в качестве крышки для советских шпионов, которые во всех западных столицах тут же пооткрывают свои офисы. Да и вообще это агентство так же, как и агентство печати «Новости» (АПН), с самого начала и до конца было филиалом КГБ, и во главе его стояли, и отделениями его заведовали внутри страны и вовне гебисты.

О рождении ВААП было объявлено в два этапа. Сначала в печати появился список неких учредителей во главе с председателем Госкомиздата Борисом Стукалиным, потом «Литературка» напечатала интервью Панкина.

На интервью я решил откликнуться, потому что оно, во-первых, было направлено прежде всего против таких, как я, и потому, во-вторых, что как раз тогда, в октябре 1973 года, я искал повода для выхода из Союза писателей, что неизбежно вело меня к разрыву с государством и конфликту с КГБ. Это письмо было уже многократно опубликовано, но я его вставляю и сюда, чтобы не утруждать читателя отдельным поиском справочного материала (а кто читал это раньше, пусть извинит):

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВААП

т. Б. Д. Панкину в ответ на его интервью, опубликованное «Литературной газетой» 26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью, я волновался, не понимая в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше. А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отменил это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков и т. д. С другой стороны, непонятно, почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав. Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали необычайные по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в Самиздат, в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сфере человеческого духа — дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Нем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охра-

ной собственных прав будет «хлопотно и неэкономично». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку ваше агентство обещает гражданам государств — участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли вашему агентству риск самому быть подвергнутому уголовному преследованию. Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать. И еще одно предложение.

Поскольку ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего лишь одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (я, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

(подпись)

2 октября 1973 года
Москва

Это письмо было написано, когда моя жена лежала в родильном доме, готовая с минуты на минуту призвести на свет нового человека, и мысли ее были заняты только этим надвигавшимся неизбежно событием. Через три дня после написания письма родилась наша дочь.

Оставлю для более важной книги свой рассказ, как ездил я в те дни к роддому. У нас' мужья при родах не присутствуют, их даже внутрь роддомов во избежание инфекций не пропускают, с женами они летом перекриваются, стоя под окнами, а зимой общаются посредством пересылаемых записок. Детей им показывают первый раз, поднося к окну. Но в нашем роддоме было новшество: детей показывали по телевизору с ужасным ка-

чеством изображения. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошее черное-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени, и потом еще не было несколько дней, пока мы перебирали варианты, поэтому мы называли его просто Девочка. «Ну, как тебе девочка? — спросила Ира в записке. — И как вообще дела?»

Я отвечал, что девочка красавица, вся в меня, а дела лучше не бывают, но ничего не сказал о том, что письмо мое уже передает с повторениями «Немецкая волна», а из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стрехниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме.

Мое письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем, на короткое время вошедший в моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном.

Я этот жанр оживил, внося в него насмешку.

Письмо без конца передавалось «голосами» и растекалось по незримым и необозримым просторам Самиздата.

Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. «Володька, — сказал мне один из моих друзей, — они тебя за это убьют».

Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке.

В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум (Эмма) Коржавин (Мандель). Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка! — закричал он. — Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио». Ире его совет показался смешным: надо совсем не представлять себе настроения роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там, в палате на несколько человек, слушание радио, да еще «враждебного», на коротких волнах, с воем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленишь, только бегая из угла в угол, прикладывая приемник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатра.

Письмо свою главную роль сыграло: из Союза писателей я вылетел быстро и с треском, а публикация «Чонкина» и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка.

С тех пор прошло полтора года, и вот я в КГБ. И мое письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления, и острие карандашика медленно продвигается над строкой.

— Вот здесь, — говорит Петров, — вы предлагаете передать в ведение ВААП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и оварочарок. — Как это можно понять?

Объясняю: понять это можно так, что это сатира, а где сатира, там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, так как сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. (Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в конце цепи и Панкин тоже.) В своем интервью Панкин прямо намекает, что у нас есть государственная монополия на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а не что другое.

Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил, но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией, и их, как я слышал, это соображение неожиданно смутило, они со всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав, монополия государственная, а мы, организация общественная. Они, конечно, в любую минуту (своя рука — владыка) могли стать государственным агентством, но тогда их не признали бы другие участники конвенции.

Засушил сухари

Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу. Петров вспомнил, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, «Чонкина». Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.

— Третью часть пишете?

— Третью уже написал.

На самом деле написал, да не совсем. Но им говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе.

— И там, в третьей части, — смеется Петров, — тоже про органы?

— Нет, там про другое.

— Ну, мне вообще-то все равно. Я по профессии конструктор...

Все кагебешники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагебешниками. Партия их временно кинула на трудный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.

— ...Я по профессии конструктор. Но книги читать люблю. И как читатель скажу: жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе.

— Как будто она могла выйти здесь.

— А что, лет восемнадцать — двадцать тому назад могла бы.

Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни 57-й, ни 55-й годы не показались мне подходящими для печатанья «Чонкина» (для написания тем более).

— Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?

Я пожимаю плечами.

— Печатайте, не откажусь.

— Ну мы, правда, издательствами не заведем...

— Вы всем заведуете.

Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но в чем-то, конечно, могут помочь.

Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и пододвигаю сигареты к нему.

— Но, — говорит Петров, — вот ваше письмо Секретариату Союза писателей...

...Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь. Тем более, что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура (довольно громоздкая) теперь уже окончательного моего исключения из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым Стрехниным, потом заседание бюро объединения прозаиков с активом (председатель Георгий Радов) и, наконец, назначенное на 20 февраля закрытое заседание Секретариата МО СП, на которое и было вынесено мое «персональное дело»¹.

20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это мое письмо:

В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественно-

¹ Само это заседание и затем следующее — секретариата Союза писателей РСФСР — состоялись в такой тайне, что никто из участников и доньяне о нем ни разу не проговорился, а некоторые, не зная, что у меня есть протокол с их именами, уверяют меня в безупречности своего поведения во все времена.

сти, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении.

Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга — вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они вообще ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес или поэмы, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлебобобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы — союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку...¹ За двенадцать лет своего пребывания в Союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят деньги — триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогли, а он...»

Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской Армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ее ряду.

(подпись)

¹ Это все намеки на некоторые конкретные делишки тогдашних секретарей.

— ...Но, — говорит Петров, — вот вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акула империализма... ну, этого, конечно, никто не говорит... Но вот второе, насчет иностранных разведок... тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы.

— Даже если я скажу все, что хочу?

— Да, вы скажете свое, а мы свое.

— Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдете.

— Как знать.

— Угрожаете?

— Кто угрожает? Что вы, Владимир Николаевич! Ну, что вы!

— Я не возражаю. Можете угрожать. Только учтите, я ко всему готовился.

— К чему приготовились? — спросил Петров с любопытством.

— Ко всему, — сказал я, не желая подсказывать варианты. Я уже тогда понимал, что, ломая человека, они всегда стараются подойти к нему не с той стороны, с которой он ожидает (что они в моем случае подтвердили).

— Ну, а конкретно?

— Конкретно — ко всему.

— Сухари, что ли, засушили? — засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету.

— Засушил.

Оба смеются. Их смешат мои дикие, устарелые представления о КГБ, как о какой-то зловещей и черной силе. Конечно, и здесь работают разные люди, может быть, даже не всегда хорошие люди, но в целом КГБ — это очень гуманная организация и действует исключительно в рамках закона.

В этом я, естественно, усомнился. Привел им несколько примеров выхода за рамки. Сказал кое-что о тюрьмах, лагерях и психушках. Петров выслушал меня благожелательно, а Захаров с явным удивлением. Его представление о КГБ очень с моим расходится. Вообще он держится скромно, смущается и от смущения часто хихикает. Хотя реплики подает, но неизменно сопровождает их застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит: «Я конечно, человек, хи-хи, еще молодой, может быть, по молодости чего-то не понимаю, но я люблю нашу партию и наше правительство и не понимаю, как можно, хи-хи, изображать их в таком нехорошем, в таком неприглядном виде».

Поговорили о Солженицыне. В письме секретариату Союза писателей я его слишком перехвалил, назвав величайшим...

— Неужели вы его, правда, считаете величайшим?

Теперь можно признаться, что насчет «величайшего» у меня и у самого были кое-какие сомнения. Этим эпитетом желал я их (в данном случае союз писательских боссов) поставить на место, кто, мол, вы, пигмей, по сравнению с «величайшим»? А потом уже, отправив письмо, перечел его и смутился. Что значит величайший? То есть самый-самый, из всех великих великий? Толстой — великий, Шекспир — великий, а этот «чайший»? Написал бы тогда «великий», вот и было бы в самый раз и даже немножко невыроет, во всяком случае сейчас объясняться б не стал. Но с тех самых пор, залепив такое, пребываю в смущении и к другим носителям высоких достоинств эпитеты примериваю с большой осторожностью.

Но тогда мог ли я поделить столь деликатными сомнениями с этими крокодилами? Никак не мог, но для себя проблему оставил неразрешенной. Ведь я вырвался из Союза писателей, пошел на разрыв с государством, обрекая себя и свою семью на всякие больше чем неприятности, и ради чего? Ради того, чтобы говорить правду. А, оказавшись, и в этом случае правду говорить нельзя. Есть перечень событий, действий, явлений, имен, которые «прогрессивному человеку» полагается упоминать только в таком контексте, а не в ином, потому что в ином это будет на руку им, и тогда вся наша «прогрессивная» общественность зашелестит, зашепчет из уха в ухо, что вы высказываете ваше отрицательное или недостаточно положительное мнение о том, о сем не потому, что это действительно ваше мнение, а потому что этим мнением вы хотите угодить им. И они сами поймут именно так. Поэтому высказывать независимые суждения позволяли себе только очень редкие люди, к которым я себя не всегда мог причислить, что меня самого в себе раздражало.

Года за полтора до описываемого момента был я введен в один диссидентский дом, где хозяйка, приветливо улыбаясь и поощряя к восхищению собою, расспрашивала меня о моих, как это говорится, творческих планах и, в порядке установления точек совпадения взглядов (идейных взглядов, конечно), вдруг спросила: «А правда, Максимов очень хороший писатель?»

Я, самонадеянно решив, что ко мне обращаются, как к эксперту (специалистом в данной области был все же я, а не хозяйка), попытался приблизить оценку к более реалистичной: «Неплохой», — сказал я, слегка смутившись. И вдруг полыхнуло из глаз диссидентки словно из огнемета, и услышал я суждение, которое было предложено мне в качестве директивного и единственно возможного к употреблению (как «Воистину воскрес» и «Будь готов»): «Володя Максимов — прекрасссный писатель!» Атмосфера дружелюбия тут же истаяла, и я, поерзав еще на стуле и осознав, что оплошное мое высказывание будет здесь надолго запомнено, поднялся и удостоился холодного кивка в ответ на свое «до свидания».

Покидая тот дом, я думал, что жизнь мне предстоит даже сложнее, чем я рассчитывал, и впоследствии оказался больше чем прав. В каждой среде, к которой меня прибывала судьба, была своя идеология, свои ценности, шаблоны, правила поведения и фразеология, с которыми следовало считаться, везде от меня требовали соблюдения принятых в среде ритуалов, поклонения кумирам среды, везде настаивали на том, чтобы мое мнение совпадало с тем мнением, которое в этой среде на данный момент считалось единственно правильным и прогрессивным. А поскольку мнение мое слишком часто не совпадало с общим, то меня всю жизнь поправляли, одергивали и часто предписывали, что я на самом деле должен думать о том или ином предмете (а о некоторых предметах и вовсе запрещалось думать что бы то ни было), и, при уклонении от предписаний, имевшие власть наказывали, а не имевшие проклинали устно, письменно и печатно.

Особенно сильно мне попало от прогрессивной общественности за Сим Сымбча Карнавалова в «Москве 2042», в котором все немедленно узнали Солженицына и спрашивали, как я посмел. Я говорил: это не Солженицын, а обобщенный образ. Мои критики возражали: не обобщенный образ, а именно Солженицын. А что, похож? — спрашивал я. — Нет, совсем не похож! — А как же вы тогда узнали? — от этого вопроса критики сперва слегка торопели, но и тут изворачивались и спрашивали, понимаю ли я, на чью мельницу лью воду. Но тогда, в 75 году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу.

— Неужели вы его, правда, считаете величайшим? — спросил меня тот, кого мы в нашем рассказе условно называем Петровым.

— Конечно, величайшим, а каким же еще?

Не с тобой же, гадом, мне делиться своими сомнениями.

— Да какой же он величайший? — заволновался Петров. — Какой же он величайший, когда он — вы знаете это? — препятствовал выходу вашей книги.

Иван Чонкин и Никита Струве

Опять вставим маленький комментарий к прежде написанному.

Решая в 73 году, в каком издательстве печатать «Чонкина», рассматривал я выбор из двух известных мне возможностей: «Посев» и «ИМКА-Пресс». Но у «Посева» было два видимых недостатка. Первый — в том, что он — издательство определенно антисоветской, очень узко ориентированной политической партии. Литература им нужна была только как подспорье в их пропаганде, а меня это коробило. Второй недостаток: они настаивали на передаче им мировых прав (беря себе 30%), от чего я после долгих колебаний уклонился.

У ИМКА-Пресс репутация была вроде бы поприличней. Хотя потом я понял, что и они определенной ориентации, с которой я не совпадаю, а таких, неориентированных, с кем совпал бы, среди русских издателей тогда не было. Не считая издательства «Ардис», которое в те поры меня не оценило, о чем покойный Карл Проффер потом жалел. Итак подался я в ИМКА-Пресс. Переслал рукопись и жду. Сижу, как на иголках. Ужасно

хочется, чтобы книга вышла до моего вполне вероятного ареста. Чтобы хоть подержать ее в руках, чтобы хоть посмотреть... Впрочем, если она выйдет, если привлечёт к себе внимание, то, может быть, этого самого ареста удастся избежать.

Месяц проходит, два, три... роман не выходит. В чем дело? Ведь все говорят, что на Западе книгу можно издать очень быстро. Пытаюсь выясниться что-то, а как выяснить?

Надеюсь, что уже подрастает поколение, которое никогда не будет знать трудностей и опасностей попыток связаться с границей. Тем более связаться с издательством, которое, хотя и не «Посев», а все же антисоветское, и не просто связаться, а по поводу издания книги, имеющей тот же эпитет — «антисоветская».

И вот я сначала терплю, а потом через каких-то людей, иногда верных, а чаще каких попало, шлю на Запад, в Париж, неизвестным мне главному редактору Никите Алексеевичу Струве, директору издательства Ивану Васильевичу Морозову кричащий вопрос: когда? Морозов отвечает нервно и смущенно¹. Струве нетороплив и не суетен. Скоро книга выйдет. Скоро, скоро. К Новому году. К Рождеству. К Пасхе. К Троице. Раньше советские редакторы обычно обещали мне то же самое, но оперируя другими датами и, конечно, с предлогом «после». К годовщинам нам надо что-то «идейное» (о Ленине, партии, комсомоле), а потом протолкнуть и вас. После Первого мая, после Октябрьских праздников, после дня Конституции, после 23 февраля, после столетия Ленина. После, после.

Несколько раз приезжали ко мне гонцы из «Посева», и я передавал разрешение на публикацию «Чонкина» им. (Одна из «посевских» посланиц, очень красивая девушка, француженка, не понимавшая — или делала вид? — ни слова по-русски, потрясла меня тем, что мою записку сначала заклеила в целлофановый пакетик, а потом закатала в тюбик с зубной пастой, столь профессиональный шпионский прием я видел первый и последний раз в жизни). Но как только намерение мое стало известно в Париже, адресат приходил в возбуждение, тут же отыскивал возможности связи со мной, умолял: дайте нам еще месяц. Я опять отказывал «Посеву», опять ждал и ждал.

Так прошел весь 73-й год. В 74-м после высылки Солженицына, мою рукопись и вовсе задвинули. Я никогда не подумал бы на Солженицына, что он мне мешал как-нибудь специально, но и в развитости в нем чувства солидарности тоже его не заподозрю. Он охотно принимал заступничество всех, но защищал некоторых, выборочно и с расчетом. (И, в некотором специфическом смысле правильно делал. Великому человеку для того, чтобы прослыть таковым, нужно всегда и точно рассчитывать, когда, в каком контексте, на каком фоне, в каком списке и рядом с кем должно появляться его имя.)

С появлением Солженицына на Западе у ИМКА-Пресс появилось много новой работы. Я уже в полном отчаянии, наплевав на всякую конспирацию, стал звонить им открыто по телефону и спрашивать прямым текстом: когда? И заметил, что тамошние издатели ведут себя не многим лучше наших домашних. И обещаний не выполняют, и лгут, а когда с колоссальным трудом (и, напомним, с немалым риском) дозвонишься до Парижа, то каждый раз оказывается, что Никита Алексеевич или только что вышел или еще не пришел. Все, как здесь, с той только разницей, что «здесь» если издадут, то по крайней мере гонорары не закливают. А там... Там закливают (да еще как!), проявляя при этом много ханжества, лицемерия и демагогии, но высказать в то время хоть малейшее сомнение в святости намерений этих людей... Да ни в коем случае! Как можно! Это же будет опять на руку им, на руку КГБ.

Я никаких сомнений и не высказывал, но год минул, и второй пошел на убыль, а где «Чонкин»? когда выйдет? Похоже, что никогда.

На звонки мои отвечают уклончиво, но доходит окольное известие: вынуждены были отодвинуть книгу, потому что срочно надо издавать «Бодальса теленок с дубом», а следом за ним — последнее достижение общественной мысли, статьи нескольких, как сказано в «Континенте», смельча-

¹ Некоторое время спустя И. В. Морозов повесился после какого-то, как я слышал, скандала в издательстве.

ков — сборник «Из-под глыб». Сижу, жду, надеюсь, что может быть после «смельчаков» найдется в издательских планах дырка и для меня. Но нет, хлынуло в дырку «Стремя «Тихого Дона», позже еще что-то. А мне все обещают то к Рождеству, то к Пасхе. После очередного религиозного праздника дозвонился до Струве: «Я, конечно, понимаю, я, наверное, не совсем ваш, вы можете меня вообще не печатать, но неужели вы не понимаете, в каком я положении? Неужели вы не понимаете, что «Чонкин» есть единственная моя, хоть и эфемерная, но все же защита? Если не хотите печатать роман, отдайте, верните его мне немедленно». «Ну что вы, как мы можем не хотеть печатать такой роман? Это же не роман, это чудо, и мы его обязательно издадим. Причем приурочим издание к Франкфуртской книжной ярмарке. Когда книга попадает на книжную ярмарку, тогда ей самое большое внимание».

В сентябре 74-го опять с трудом дозвонился до Струве: «Так выйдет «Чонкин» к ярмарке?» «Что? К ярмарке? Нет, не выйдет. «Чонкин» из тех книг, которые ни в каких ярмарках не нуждаются. Он сам ярмарка».

В январе 75-го я очередной раз позвонил в Париж и поздравил Струве с выходом «Чонкина» по-шведски. Это известие его, кажется, несколько смутило. Перевод вышел раньше оригинала. Тут уж Никита Алексеевич расстарался и русское издание «Чонкина» вышло очень скоро, всего лишь на несколько дней отстав от немецкого.

«Давайте издаваться здесь»

Однако нам пора назад, на Лубянку. 4 мая 1975 года, Пасха, середина дня, «беседа» продолжается.

Солженицын не величайший гражданин, он монархист, шовинист, ко мне лично плохо относится, к тому же аморальный, на своей крестной дочке женился. Разве же это можно?

— А вас, — спросил я, — почему это беспокоит? Вы что, верующий?

— Нет! — быстро открестился Петров. — Я нет.

— И я тоже нет, пусть он хоть на крестной внучке женится, мне все равно.

Обсудили лагерную тему и Сталина, который преступления, конечно же, совершал, но не надо забывать, что это был человек, тридцать лет стоявший во главе нашего государства.

— Николай Первый, — сказал я, — тоже тридцать лет стоял во главе нашего государства.

— Не может быть! — воскликнул Петров и удивился, когда я ему доказал, что было именно так. Или сделал вид, что удивился. Не думаю, что продолжительность царствования Николая того или другого его хоть сколько-нибудь занимала.

Поскольку мои собеседники продолжали меня уверять, что они не такие, я сказал, что готов им поверить, но они свое отличие от «таких» должны как-нибудь подтвердить. Например, выпустить на свободу всех политических заключенных, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей вроде Освенцима. И там же заложить могилу Неизвестного Заключенного. Чтобы родственники и потомки пропавших без вести эзков могли придти, поплакать, положить цветочек. Чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто».

— Вот тогда, — объяснил я, — про вас можно будет сказать, что вы совсем не такие.

Но они считают, что доказательства и так налицо.

— Согласитесь, — говорит Петров, — что в 37 году здесь бы с вами не так разговаривали.

— Да уж в 37-м и вы неизвестно где были бы.

— Да, — соглашается, — и работники органов многие тогда погибли.

Не успел я взгрустнуть по работникам органов, тема переменялась и коснулась издательства «Посев», к которому я, как уже ясно, имел очень косвенное отношение (дважды печатался в «посевоком» журнале «Грани», первый раз не по своей воле, а второй — по своей).

У чекистов, похоже, была установка: делать вид, что на Западе вообще

никаких издательств нет, кроме «Посева». А «Посев» ужасен тем, что за ним стоит политическая партия, которая стремится к свержению нашего строя. Печатаясь там, вы тем самым участвуете в попытке свержения.

Я не против такой трактовки, но говорю своим собеседникам, что этой ужасной партии помогают прежде всего они.

— Кто? Мы? — удивился Петров, а Захаров опять попросил:

— Можно закурить?

— Да берите, — сказал я раздраженно (он мне надоел), — берите и не спрашивайте. Конечно, вы, — ответил Петрову, — больше других помогаете этой партии.

— Интересно, — засмеялся Петров. — Каким же это образом?

— Самым прямым. Запрещая талантливые книги, вы делаете все, чтобы они достались «Посеву». Хотите разорить «Посев»? Печатайте лучшее здесь.

— Но нельзя же все печатать, что пишется.

— Все нельзя, а лучшее можно. Лучшее печатайте здесь, а худшее отдавайте «Посеву».

— Значит, вы считаете, — уточнил Петров, похоже, для доклада кому-то, — что мы сами помогаем «Посеву»?

— Еще как помогаете! Изо всех сил.

Как читатель увидит ниже, мой вопрос был санкционирован очень большим начальством. Я не знал этого, но не сомневался, что разговор наш в записи (магнитофонной или бумажной) пойдет куда-то «наверх». Я не исключал того, что там, «наверху», есть люди, которым, пусть даже в их собственной борьбе за власть, моя аргументация покажется резонной. Но прислушивающихся к резонам людей «наверху» пока не было, они сидели еще в своих крайкомах-обкомах и выжидали, когда сойдет под кремлевскую стену предыдущее поколение.

Перескочили на иностранных корреспондентов: зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью?

Спрашиваю простодушно:

— А разве нельзя?

— Нет, можно, конечно, — разрешает Петров, — но они же вас, наверное, искажают. Вот посмотрите, — показывает «Русскую мысль» с переводом моего интервью немецкой газете. — Вы здесь Ильина¹ называете генеральным секретарем Союза писателей. Вы же не могли так сказать?

— Не мог. Я, конечно, назвал его секретарем по оргвопросам.

— Вот видите! А они что пишут?

— Погрешности обратного перевода.

Крутит головой.

— Это не обратный, это тенденциозный перевод.

— Да, — подхихикивает Захаров, — генеральный секретарь, это, знаете ли, хи-хи...

Теперь уже, наверное, не только иностранцам, но и подрастающим соотечественникам следует объяснить, что генеральным секретарем назывался верховный вождь КПСС и всей страны, и название самой этой должности следовало произносить с благоговейным трепетом и ни в коем случае не приписывать никому другому. И опять же «Русская мысль» называет Ильина генеральным секретарем, а я не протестую и таким образом соучаствую в этом ужаснейшем преступлении.

— Но посмотрите, под каким заголовком они дают ваше интервью. «Глумление над талантливым писателем». Разве вы здесь не видите тенденции?

— Нет, я вижу здесь чистую правду.

Тут Захаров не сдержался.

— Но они же вас возвеличивают!

— А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали?

Захаров смущается, потупляет глазки. Он человек скромный, очень советский и чтобы они его возвеличивали, этого — хи-хи — лучше не надо.

¹ Виктор Николаевич Ильин (1904—1990), в двадцатых — тридцатых годах служил в органах госбезопасности, достиг чина, соответствующего званию генерал-лейтенанта, был арестован, просидел лет, кажется, десять, в описываемое время был секретарем Московского отделения Союза писателей РСФСР по организационным вопросам.

— А вот еще здесь, видите, они вас внесли в список жертв, как они пишут, советской психиатрии. Но вы же не сидите в психбольнице? Нет?

— Нет, — подтверждаю, — конечно, нет.

Петров продолжает исследовать лежащий перед ним текст.

— А вот здесь вы говорите, Владимир Николаевич, что вы человек аполитичный. Разве может писатель быть аполитичным?

— Может, — говорю я. — Чехов был аполитичный. И другие. И вот этот мой рассказ — «Путем взаимной переписки» — пример аполитичности¹.

— Ну да, — недоверчиво захихикал Захаров. — Этот рассказ не аполитичный. В нем самый отрицательный герой... член — хи-хи — КПСС...

— А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову елеем мазать?

Было выкурено много сигарет, произнесено много слов, после чего я понял, что никак угодить им не могу, все мои попытки отвратить от себя наказание провалились. Сейчас Петров нажмет кнопку, и вооруженные люди отвезут меня на казенной машине в Лефортово. Ну, что ж, я же сказал, что был готов ко всему, в том числе и к этому. И даже к худшему. Я думал, они меня так ненавидят, что, посадив, постараются подвергнуть каким-нибудь ужасным унижениям, но я этого не допущу и буду защищать свою честь любой ценой, даже ценой жизни.

Мне было жаль моих близких — жены, сестры, родителей и особенно детей, и особенно Оли. Дети от первого брака были все же постарше. Марине шестнадцать, Паше тринадцать, а она совсем крошка, вырастет, не помня отца, а какая это для ребенка травма, я знал по собственному опыту.

Что касается моих писаний, то хоть и тратил я свое время и силы бездумно на бесконечные общения, кухонный треп, пьянство, шахматы и прочие глупости, а все-таки кое-что написать успел.

В 59-м году меня сюда притащили, когда я вообще еще делал первые шаги в литературе. Вот когда я боялся пропасть бесследно. А сейчас, ну ладно, хоть что-то останется.

Если просто тюрьма, если одиночка или общая камера, это ничего. Самое ужасное, если камера, где уголовники специально натасканы, чтобы издеваться, мучить и унижать. Некоторые считают, что «пресс-хаты» это изобретение новейшего времени, но это не так. Году, примерно в сорок девятом попал я в милицию и там обещали мне камеру с уголовниками, где новичкам для начала устраивают «парашютный десант», то есть берут за руки, за ноги, поднимают повыше и бросают спиной на цементный пол. А потом еще серия упражнений в этом же духе. Но я себе давно сказал, если так, буду сопротивляться при самой малой возможности, с помощью любого предмета, тяжелого или острого, буду драться, кусаться, царапаться до тех пор, пока хоть чем-нибудь смогу шевелить...

— Так как, Владимир Николаевич, — донесся до меня откуда-то голос Петрова, — вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе?

— Что? — переспросил я. — Я вас не понял.

— По-моему, я понятно говорю. Я спрашиваю: вы что же, совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на Западе?

Оказывается, меня не только не сажают, а еще даже торгуются.

— А разве можно и здесь?

— А почему же нельзя? Давайте издаваться здесь. Давайте сделаем так, чтобы не за границей, а у нас ваши книги шли нарасхват.

— Да я, собственно, не против. Давайте. С чего начнем?

— Вот об этом как раз и надо подумать.

Конечно, я не настолько лопух, чтобы сразу поверить.

— Вы, небось, хотите начать с того, чтобы я дал отпор Солженицыну, буржуазной пропаганде или себе самому.

— Да что вы! Разве я вам что-нибудь подобное сказал? Я хочу только одного: чтобы вы печатались здесь. Вы согласны?

— Если остановка только за моим согласием, я вам его даю.

— Но как практически?

¹ Я заметил, что многие люди воспринимают то или иное суждение автора о себе самом как неизменное на все времена. Между тем мое отношение к политике в течение моей жизни менялось много раз — от полного равнодушия к пристальному интересу (но без желания лично вовлечься) и наоборот.

Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времен Гутенберга.

— Но мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать?

— Переиздайте.

— Или издать что-то новое.

— Могу предложить и новое. Только что-то не понимаю. Вы же такие непримиримые, неужели будете печатать человека с моими взглядами?

— Вот видите, я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте еще раз встретимся. Ну, не здесь (здесь, может быть, на вас эти стены давят), а где-нибудь в другом месте, в более непринужденной обстановке.

— В гостинице?

— Хотя бы в гостинице. А что?

Нет, ничего. Мне как-то рассказывал Виктор Некрасов о своей встрече с гебистами в гостинице, мне показалось это интересным, и я захотел посмотреть, как такие номера выглядят. Заряд любопытства, которое кошку стубило, во мне еще был немалый.

— Но все-таки, — говорю я, — ваши предложения выглядят как-то странно. А, может быть, вы надеетесь завербовать меня в осведомители?

— Что вы! — всплеснул руками Петров. — Это я даже побоялся бы вам предложить.

— Побоялись бы? И правильно. Мне однажды предлагали...

Должен заметить сегодня, что слово «предлагали» к тому, что было на самом деле, в общем-то не подходит. Во время моего первого вызова и допроса в КГБ еще в 59 году были некоторые туманные намеки («вы нам поможете, мы вам поможем») и был вопрос, что говорят наши профессора на лекциях в институте (я сказал, что на такой вопрос не всегда могу ответить даже на экзамене), но никакого внятного предложения все-таки не было.

Петров смеется.

— Вы все-таки нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы хотим от вас только одного: чтобы вы печатались.

— И ничего больше?

— Ничего.

— Так возьмите и для начала напечатайте «Чонкина», если он вам так понравился.

— А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово — ПУКС.

Одно слово я согласился выбросить немедленно, хотя, если б дошло до дела, неизвестно, как бы себя повел. ПУКС все-таки слово в романе не лишнее.

Разговор подошел к концу. Последовало еще несколько вопросов мимоходом. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. (Все-таки я был все время начеку и ни разу ни одной лишней фамилии просто так не назвал.) Как поживает Владимир Корнилов? Ничего поживает.

— А деньги он из-за границы получает?

— Это вы у него спросите.

— А вы не знаете?

— Я не знаю.

(Интерсно, на что он рассчитывал, задавая эти вопросы? На передачу их Корнилову, на неожиданный проговор или по обязанности?)

— Ну так что, не хотите с нами встречаться?

— Да все не могу никак понять, для чего.

— Что ж тут непонятного? Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими предложениями. Да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите — позвоните, не захотите — не звоните. Вы же ничего не теряете.

Ну, конечно, я ничего не терял. Я помнил пословицу об увязшем коготке и пропавшей всей птичке, но верил, что не дам увязнуть и коготку. Никакой невидимой границы не перейду, ни в какие расставленные ими силки не влезу.

Поэтому я взял лист бумаги и записал: Петров Ник. Ник., 228-80-34.

Пока мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров бегал подписывать пропуск и, вернувшись, пошел меня провожать.

Возле лифта в деревянной рамке висела бумага с машинописным текстом: «Дирекция, партком и завком завода «Борец» выражают глубокую благодарность работникам Комитета Государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике». Этот текст, такой обыкновенно советский, подействовал на меня расслабляюще, вызвав чувство, что я был в обыкновенном советском учреждении.

Но, наверное, все-таки стены Лубянки, и правда, на меня давили, потому что я был радостно удивлен обилием солнечного света и обыкновенностью протекавшей снаружи жизни.

Удивился и Ире, которую тут же увидел на тротуаре.

— Ты что? — спросил я. — Так все время здесь и стояла?

— Так и стояла, — сказала она.

— Но ты могла бы зайти хотя бы в книжную лавку, чтобы занять себя чем-нибудь.

— А я и так была занята, я психовала.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Напрасно психовала. Все идет хорошо.

(Я ей всю жизнь говорю, что все хорошо, но она всю жизнь почему-то не верит.)

Вернувшись домой, мы освободили Анну Михайловну (тещу) от обязанностей няньки, и тут же задрезжал телефон. Телефонистка сказала:

— Будете говорить с Парижем!

И в трубке зарокотал усталый государственный голос, словно передававший мне директиву в закодированном виде:

— Христос воскрес!

И я опять не нашел ничего лучшего, как ответить:

— Здравствуй, Володя.

— Ну как дела? — великодушно прощая мне мое ритуальное невежество, спросил звонивший.

Вопрос был не так прост, как казался.

Звонивший интересовался не просто моими делами, а обещанным отрывком для «Континента».

— Дела, — сказал я, — Володя, пока ничего, но то, о чем мы говорили, пока отложим.

За шапку он оставить рад...

Итак, к описываемому моменту мне было почти сорок три года, у меня было (повторяю) трое детей, шестнадцати, тринадцати и полутора лет. С матерью двух старших я разошелся, но ответственности за них с себя не снимал и заботой своей старался их тоже не обделять.

Занимаясь литературным трудом около двадцати лет, написал я много чего, но из того, что, как я самонадеянно думал, после меня может остаться, у меня были полторы книги «Чонкина» (вторую я как раз дописывал), повести и рассказы «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «Путем взаимной переписки». Еще, имея я власть сам руководить составлением своих писаний во времени, я бы включил в составленное кое-что из других книг — некоторые главы, куски и строчки. Вот и все.

Я всю жизнь работал много и в любые часы суток, а если это не отразилось на количестве книг, то только потому, что все написанное (включая даже частные письма), я всегда по многу раз переписывал. В переписываемом часто зарывался настолько, что не улучшал его, а ухудшал и потом выкидывал. Десятки тысяч страниц, мною исписанных, выкинуты на помойку. Тысячи разбросаны и утеряны.

Я всегда и неуклонно соблюдал завет Пастернака (даже когда не знал его): «Не надо заводить архива, над рукописями трястись». Вот уж чего не делал, того не делал, и даже слишком. (Недавно, в 1992 году, ЦГАЛИ¹

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства.

предложил мне сдать им мой архив на хранение, я окинул взглядом свои бумажки, подумал: «Разве это можно назвать архивом?» И вежливо отказался.)

Литературную мою судьбу можно назвать удачной, но вряд ли благополучной. О стихах говорить не будем, а проза, самая первая, была немедленно опубликована и замечена. Но я не умел «проталкивать» свои книги, дружить с критиками, ладить с начальством и скрывать свое отношение к советской власти, даже когда хотел. Зато умел попадать во все черные списки, которые за время моего пребывания в советской литературе были составлены. Иногда даже в списки, состоявшие из одного имени.

С самого моего литературного рождения я был среди тех, кого или почти не печатали, или полностью запрещали. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями, и вообще не стремился «высовываться», но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой.

Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органически.

В возрасте шестнадцати лет со мной произошел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию. И решали, кто, где, в каком порядке будет идти и (поименно) кто чего понесет: знамя, транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Наметили что-то всучить и мне, но парторг вмешался: нет, этому ничего давать нельзя, он то, что ему дадут, по дороге выкинет.

Помню, когда кто-то передал мне слова парторга, я был очень удивлен и обижен. Ну, почему он обо мне так думает, разве я дал хоть малейший повод? И, конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донес.

Но, в принципе, парторг разглядел во мне то, чего я сам в себе еще не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала, а позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над единственной своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность и советская могла бы быть одной из всех, если бы ее, как единственно благодатную, не навязывали изо дня в день до рвотного рефлекска. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил все тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался.

— Ну почему? — удивился Ильин. — Ведь это же дело с вашей точки зрения чистое. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому.

— В том-то и дело, — сказал я. — К этим-то я еще пошел бы. А к Пушкину, в такой компании, да мне перед ним самим просто стыдно.

Будучи человеком (в свое время) аполитичным и лишенным гражданских страстей, я был зачислен во враги советского режима, как иногда мне самому казалось, по недоразумению, но потом понял, что никакого недоразумения нет.

Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики: знамен, досок почета, вождей на трибуне мавзолея, свинарок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов меня тошнило и часто подмывало, говоря словами Германа Плисецкого, «уйти в разряд небритых лиц от лозунгов, передовиц и голубых перворазрядниц...»

К тому же я был весьма невоздержан на язык и относился к тем, кто ради красного слова не только, по пословице, не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережет.

Есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно. Человека, недовольного классово, можно перевести в другой класс, и он станет доволен, человека, не согласного идейно, можно подвигнуть на перемену идеи, человека, органически несоместимого, можно только убить.

Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала о своем муже (цитирую приблизительно): «Неправильно говорят, что Мандельштам не хотел врать. Он хотел. Но не умел». Мандельштам с советской властью был органически несоместим, хотя и пытался иногда совместиться.

Я тоже иногда пытался, но никогда не мог.

Солженицын где-то пишет, что повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди «голубых петличек», то есть гебистов. Ему, конечно, виднее (хотя он себя, должно быть, в данном случае недооценивает), но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло, и вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям (убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать), а потому что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать», ему же подошло бы название: «Кем я не мог бы стать». Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать; никогда не мог бы быть хорошим подчиненным, потому что мой организм противится принуждению. Я никогда не был противником жизненного благополучия (мечта о котором, неосуществленная, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду), но когда доходило до конкретной платы за это: поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком — от таких возможностей я всегда уходил, избегал, убежал.

«Er ist flüchtig»¹ — сказал обо мне один проницательный немец.

К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете «Ди Цайт», данном мною незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом поневоле, но не столько в том смысле, что меня туда затолкали, а и в том, что я с существующим режимом был просто несовместим², и диссидентство мое было неизбежным.

Впрочем, некоторые «диссидентские» поступки я совершил по причинам более низкого свойства, чем органика, а именно по убеждениям.

Когда посадили Синявского и Даниэля и начался возврат к фашизму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, должно оказывать таким планам властей сопротивление, должно восстать, а поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших.

Что я в некотором смысле и сделал.

Но восстания не случилось.

Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны хотя и острый протест, но среди очень ограниченного и рассеянного круга людей. Из двух-трех тысяч человек (на всю огромную страну), склонных к протесту, десятков посадил, сотню оставили на развод, а остальных так или иначе купили и успокоили: сидите, кушайте, думайте, что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кончились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришибить.

Конкретное мое положение было такое. Пока я был членом Союза писателей, я чувствовал себя ответственным за все, что происходит в самом этом союзе и за то, что им одобряется. Я встречал много людей, которые рассуждали примерно так. Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги (картины или оперы), а все остальное — политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству, я занят этим делом. А что, вокруг меня разве что-нибудь происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности, у меня дело, от которого отвлечься я никак не могу.

В таких рассуждениях есть своя правда. Художественное сочинительство и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются. Как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой, погружается в пучину общественной борьбы, это тут же сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим.

Когда пошла полоса арестов и шемякиных судов над инакомыслящими, я никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, поэтому (очень неохотно) примкнул к протестовавшим.

¹ Не могу перевести иначе, как «склонный к улетучиванию».

² Когда я находился на дне советского общества, моя несовместимость с ним в глаза не бросалась, но стоило мне чуть-чуть всплыть, она стала очевидной и вопиющей.

Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его преследовали, я почти физически ощущал, что, оставаясь в Союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгущались тучи, когда начиналась газетная травля (а шум от нее многократно усиливался «голосами»), я, возбужденный ею, за его жизнь иногда так боялся, как (читателю этих заметок придется поверить мне на слово) ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную.

Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот единственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь.

Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью. Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пар из котла выпустили, взрыва не получилось. Но всеобщему, как я заметил, удовольствию. К моему тоже.

У меня это событие совпало с исключением меня из Союза писателей. Я еще кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвел его в сан величайшего, но тут же понял, что хватил лишку, величайшему уже ничто не грозит, а вот о своей голове, какая бы она ни была, пора самой этой головою подумать.

Надо сказать, что еще и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали мое не только почтение, но и иронию, и поводов для нее хватало.

В тот вечер (13 февраля 1974 года), когда Солженицына арестовали, мы (Венедикт Сарнов, Владимир Корнилов и я) были у него на квартире, а несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проводить собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не сто́ит, но сто́ит телефонный звонок из Цюриха.

Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову, тот (конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым) прокричал в трубку что-то ободряющее, затем сказал:

— Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить.

На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а не общих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился и, должно быть, по той же, мне очень понятной, причине. Это нехотение он Некрасову как-то выразил, но Вика замаялся, смутился (он-то человек деликатный) и сунул мне трубку.

Я в трубку сказал «алло» и задал глупый вопрос: «Ну, как вы там?» На что мне было тут же провозглашено: «Володя, мое сердце с вами, мое сердце в России».

Великие люди так и должны отвечать, но я не люблю великих людей, сознающих свое величие, а к высказываниям, заведомо рассчитанным на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними, их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих насмешников, все-таки на скрижали заносятся и потом, в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, с благоговением вдалбливают скисающим от таких слов ученикам, как великий имярек никогда не порывал своей связи с Родиной и всегда повторял: «Мое сердце в России!»

Мы с Некрасовым пробыли в разоренной квартире недолго, после чего нам обоим в качестве почетных даров были вручены по две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню (в беспорядке) снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображения великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только Ленина или Сталина, но и — Пушкина, Толстого, Маяковского, Хемингуэя, Пастернака, Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась.

К моменту изгнания Солженицына культ его достиг уже высшей точки и не только в отечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находятся Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын и это, кажется, все. Остаточ-

ные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что все так и есть.

Незадолго до того я встретился на каком-то приеме с новым корреспондентом «Вашингтон пост» Питером Осносом и спросил его, о чем он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал, что, пожалуй, люди на Западе правы: здесь никого, кроме Солженицына, нет. Потому что он, единственный, совершенно пренебрегал всеми правилами писания (начиная с синтаксиса) и поведения, принятыми в советской литературной среде.

Но мое суждение имело все-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы то же самое понимали буквально.

Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из Союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключен отсюда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть чем-нибудь интересен сам по себе. С этой, не заслуженной мною репутацией «друга Солженицына» я боролся долго, настойчиво, лет примерно пятнадцать и кое-каких успехов за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом — за поддержку Солженицына.

С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего «диссидентства» почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе моей болью, но, не имея возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне было важно один раз в жизни сказать, что я отошусь к насилию с большим и неизменным отвращением, что должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу.

Сказать это один раз и навсегда. А повторяться не обязательно.

В конце концов диссидентом может быть каждый и «другом Солженицына» тоже, а «Чонкина» без меня никто не напишет.

В постсоветской печати я читал о себе, и не раз, мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересна правда, скажу, что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу (с советским паспортом) 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти семи лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтоб я убрался. Я свое противостояние в заслугу себе не ставлю, и больше того, если бы можно было задним числом исправить биографию, и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в 68-м. И несколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной неисправленной жизни я ни в 68, ни в 75 об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем туповокая.

В литературных делах я до поры до времени проявлял ограниченную склонность к уступкам, но от меня потребовали не уступок, а безоговорочной капитуляции с полным отказом от всех моих литературных амбиций. Этого я им уступить не мог. Никак и ни при каких обстоятельствах. Как тот гонец из пушкинской «Полтавы»: «За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою».

Я пошел на разговор с кагебешниками, потому что они оставались единственной инстанцией, через которую я мог бы обратиться к государству и оно ко мне. Они были парламентарями, посланными в осажденную крепость. Шансов на безоговорочную капитуляцию крепости у них не было, но на разумное решение в допустимых пределах — были. Я не просто хотел, я жаждал покоя и ради него готов был отдать им, фигурально говоря, «коня, червонцы и булат», оставив себе только «шапку». Я был согласен уйти из общественной жизни, поселиться где-то в провинции, писать, но не печататься ни здесь, ни там, не давать интервью и не мозолить глаза лет пять или даже десять (денег, которые у меня к тому времени были на Западе, на десять лет здешней жизни хватило бы). Мне казалось, что у них не было никакого выхода, кроме как согласиться на предложенный компромисс. Сдаться им полностью я уже и не мог даже с выдачей «буйной головы».

Первая книга «Чонкина» вышла, существует, и отменить ее существование не под силу даже КГБ. Как меланхолически и грубо выражалась, глядя на свою разбушевавшуюся малолетнюю дочь, одна моя знакомая: «Обратно не засунешь».

Мне мой план казался разумным, реалистичным и приемлемым даже для них (не кагебешников, а властителей, стоявших за ними). Поэтому я и решил встретиться с Петровым и Захаровым еще раз.

Гостиница «Метрополь»

11 мая я позвонил Петрову.

— Владимир Николаевич? — обрадовался он. — Значит, решили встретиться? Ну, давайте. Одну минутку, сейчас я определяюсь. Допустим, в четыре часа в «Метрополе». Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну, чтоб вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич?

Сначала мне не понравилось слово «определяюсь», а слово «настрой» я почему-то так не люблю, что оно вызвало у меня очень неприятное предчувствие.

— Увидимся, поговорим, — сказал я.

Без пяти четыре я на площади Революции. Один. Ира на этот раз со мной не пошла, поскольку дело как бы уже рутинное. Солнечно, жарко, торгуют цветами. Очередь за пломбиром по 19 копеек. Очередь к тележке с газировкой. Голуби путаются под ногами. Я, между прочим, забыл у этого типа добиться, кто он все-таки есть. Да вот еще проблема — узнаю ли я его. У меня очень плохая память на лица. Помню, правда, что он высокий, смуглый, кудрявый, в очках.

Должен узнать. Скажу им, что наметил, и погляжу, что будет дальше.

Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин, там, на Кузнецком мосту, рядом с приемной КГБ, купить нафталин. Она в прошлое воскресенье, ожидая меня, видела нафталин, но тогда было не до него.

В такую жару хорошо бы достать пива. У меня есть сертификаты (за шведское издание я их еще получил, но на этом лавочку прикрыли), на обратном пути можно зайти в «Березку» на Большой Грузинской, купить несколько банок.

Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо «Метрополя». Смотрю: возле гостиницы мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой. Резко повернулся, наткнулся на меня, смутился, сунул руку, тут же выдернул и со словами «Там Николай Николаевич» (не сбился в имени-отчестве) кинулся к проспекту Маркса.

Тут бы мне насторожиться, а я — ничего. Вдруг смотрю: мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту, идет и Николай Николаевич. Спину выгнул, и головой двигает влево-вправо. Оказывается, я узнал его даже сзади. Идет, и кому-то как-то сигналиит. И вот сзади он мне так не понравился, что не могу даже и передать. Спина мне его сейчас говорила больше, чем он сам там, на Лубянке. Он шел, чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел «на дело». Дошел до угла и через голову тычет большим пальцем в сторону Маркса, а из-за угла вылетает Захаров, показывает Петрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу, на ходу торопливо прилаживая к собственным лицам человеческие выражения.

(Меня потом разные люди спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Мне такое и в голову не пришло. А надо было если не сбежать, то помедлить и посмотреть, что за переполох.)

Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идем по роскошному коридору с хорошо натертым темным паркетом.

— Ваши герои, — оборачивается ко мне Петров, — в такую обстановку еще не попадали?

— Пока не попадали. — Словом «пока» я намекаю, что могут еще попасть.

(И он, как я потом понял, намекал на то же.)

Входим в номер 480. Большая комната. Посередине стол со стульями. Справа от дверей, ближе к окну два глубоких кресла спинками к стене. Перед ними журнальный столик. (Мастера спецдизайна обдумывали, как расставить.) На стене между креслами и дверью высоко — картина. В левом от дверей дальнем углу — ниша, наполовину задернутая красной гардиной, там виден угол кровати.

— Куда сядем? — Петров пошарил глазами. — Ну, вот, пожалуй, сюда.

Показал мне на одно кресло, сам сел в другое, слева от меня. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел по другую сторону столика, лицом ко мне, полный внимания.

— Ты, кажется, тоже куришь? — спросил его Петров.

— Да, курю, — сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку «Столичных», но я не помню (и это важно!), чтобы он распечатал ее и чтобы хоть раз за все время этого нашего разговора закурил. Хотя прошлый раз курил очень много.

Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой рукеazole часов болтается прямоугольная штучка, что-то вроде брелка, но никак ею не заинтересовался.

Разговор начался с пустяков. Петров сказал, что в Москве жарко, и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь.

— Будете там работать?

— Буду работать и разводить огород.

— Как этот ваш селекционер? — засмеялся Захаров.

— Примерно так.

— И что же вы там выращиваете? — спросил Петров.

— Да так, всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка.

— Да. Ну, редиска, — заметил он мимоходом, — у любителей не всегда вырастает...

Самодовольно переглянулся с Захаровым и покосился на меня, предвкусывая мое неизбежное изумление его осведомленностью о моих огородных неудачах. Но изумления не последовало (хотя, будь я похитрей, может, и стоило ему подыграть). О том, что у меня редиска не вырастает, я недавно говорил кому-то по телефону, а что телефон подслушивается, я не сомневался.

— Между прочим, — сказал вдруг Петров, поднимаясь, — посмотрите, это очень интересная картина. По-моему, это ваши герои, а?

Я тоже (прошу читателя сохранить в памяти этот момент) поднялся, подошел к Петрову и задрал голову (простофиля). На картине были изображены мальчики, тянувшие сетью рыбу.

— Это мои герои? — удивился я.

— Ну, деревенские мальчишки, — объяснил Петров. — Мне кажется, это что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли?

— Не знаю, я не рыбак, — сказал я.

Мы сели на свои места, я закурил и сказал, что долго думал о нашем предыдущем разговоре, не знаю, что все это означает, но если это не ловушка и не провокация (Захаров при этом, конечно, схватился за голову), а мой собеседники всерьез думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных повестей и рассказов на основе того, что было когда-то в «Новом мире», с включением повести «Путем взаимной переписки». Правда, повесть напечатана в «Гранях», но ее вполне можно опубликовать и здесь. В свое время ее чуть не напечатал «Новый мир», где она была даже набрана.

Объясню читателю этих строк, что будь мое предложение обсуждено всерьез, я на подробностях настаивать бы не стал. Напечатают сборник или не напечатают, мне было в общем-то почти все равно. Главное было, чтобы оставили в покое.

— Хорошо, — согласился Петров. — А где издать вашу книгу? В каком издательстве?

— В любом, — сказал я.

— Что значит — в любом? Давайте подумаем, где у вас лучше связи.

— Связи есть у вас.

Он не согласился и продолжал настаивать на том, чтобы я назвал свои

связи, что меня несколько насторожило. Потом спросил, а как быть с Союзом писателей? Я сказал, а что Союз писателей? Он меня меньше всего интересуется. Петров возразил, что без возвращения в Союз ничего нельзя сделать, и предложил, чтобы я позвонил С. С. Смирнову (в то время первому секретарю Московской писательской организации). Я сказал, что никому звонить не буду и к восстановлению в Союзе не стремлюсь. Тем не менее, Петров стал допытываться о моих связях среди руководителей Союза. Я от прямого ответа уклонился, хотя, правду сказать, никаких связей у меня там не было. Он опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей — он хочет им помочь. Я повторил, что никого не знаю.

Эти вопросы, думаю, задавались мне не в расчете на то, что я кого-то действительно выдам, а чтобы меня запутать и потом каким-нибудь случайно упомянутым именем шантажировать. А впрочем, не исключаю, что при их специфическом воображении им мерещилась какая-то тянущаяся за мной сеть, которую почему бы не вытянуть попутно основному заданию?

Разговор, чем дальше, тем больше принимал зловеющий характер. Тем не менее я старался объяснить им реальную ситуацию в литературе и в стране и даже выразил готовность составить объективную записку, но с условием, что она будет передана... «вашему шефу», сказал я, имея в виду Андропова. Стыдно признаться, но я тогда еще верил слухам, что Андропов из всех членов Политбюро наиболее умеренный и трезвый политик. Потом я это мнение резко переменял. Потом я думал (и сейчас думаю), что это был человек примитивного полицейского ума и несложного душевного склада, а может быть, даже и с некоторым психическим сдвигом, о чем говорят его стишки и статуя Дон Кихота в прихожей (к тому интерьеру Гиммлер или Торквемада подошли бы скорее). Никаким государственным мышлением он не обладал и не случайно свои реформы в области управления государством ограничил ловлей в банях намыленных нарушителей трудовой дисциплины.

— Очень хорошо! — приветствовал мои намерения Захаров. — Записку вашу мы непременно передадим.

— Да, — сказал Петров, — такой документ безусловно необходим. Но мне лично хотелось бы, чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются...

Этим предложением он поставил меня на место, я вспомнил, с кем имею дело и понял, в какую смешную и жалкую ситуацию сам себя загнал. Петрову было, может быть, неизвестно, но я-то знал, что у него и у меня были предшественники по разговорам такого же рода. Кто-то из сыщиков прошлого (кажется, это был знаменитый Судейкин) на предложения допрашиваемого нигилиста по коренному переустройству России говорил приблизительно так: «План ваш мы непременно рассмотрим, а пока будьте любезны составить список всех ваших сотоварищей, их фамилии, клички, приметы и адреса». У меня у самого в одной из неоконченных глав «Чонкина» уже написан был эпизод, где селекционер Кузьма Гладышев, оказавшись в оккупации, приходит к немецкому коменданту с предложением обеспечить всю германскую армию овощами путем повсеместного распространения ПУКСа (теперь этот гибрид переименован селекционером в ПУКНАС, то есть ПУТЬ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ). На что комендант обещает обязательно предложение обсудить с высшим начальством, но пока желательно, чтобы господин ученый помог выявить в местности своего проживания партизан, жидов и коммунистов.

— А-а, — сказал я Петрову, — я думал, что с вами всерьез можно говорить.

— Именно всерьез, — подтвердил Петров. — Если вы хотите... то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты ее...

— Ладно, — сказал я, — это, видно, разговор бесполезный.

— Нет, почему же. Нас сегодняшнее положение очень волнует.

— Не похоже, — не поверил я. Но все же стал что-то объяснять. В общем и на конкретных примерах. Стараясь ограничиться положением в литературе.

— Вот, представьте себе, один писатель принес в редакцию рукопись...

— Какой писатель? — перебивает Петров.

— Неважно. Вот он приносит рукопись...

— Как его фамилия?

— Войнович.

— А-а, — Петров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и с писателем.

Заходит разговор о Литературном фонде. Петров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал: нет.

— Вам сообщили, что вы исключены?

Он мне опять дает понять, что ему про меня все известно, а я опять понимаю, что ему известно только то, что подслушал. Кому-то недавно я говорил по телефону о моем необъявленном исключении из Литфонда. Интересно, он думает, что я дурак или сам дурак?

— Нет, не сообщили.

— А откуда ж вы знаете?

— Мне одна женщина сказала.

— Какая женщина?

— Которая там работает.

— А как ее фамилия?

— А зачем вам это знать?

— Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.

— Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.

— Нам самим неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что вами интересуется КГБ.

— У вас там есть свои люди, вот вы им и позвоните.

— Какие свои люди? — изумляется невинный Захаров.

— Ну есть. Один, — говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание.

— Вот у этого одного и спросите.

— Это тоже неудобно, он может разболтать.

— Ну, я думаю, вы как разведчики уж куда, куда, а в Литфонд проникнуть сумеете.

Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперед и сжав кулаки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мной за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах.

— А это что? Микрофон? — спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдернуть, а с Петровым (внимание!) случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задергался, стал быстро и часто кивать головой и бормотать:

— Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, мы с вами откровенно...

И так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же: «мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно», вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из «Страшной мести», стал приподниматься, тянуть ко мне руки и с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания, прохрипел: «Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?»

И тут же обмяк и сел, и стал, словно только проснувшись, приходить в себя.

— Не надо про семью, — сказал я, потрясенный только что увиденным. — Скажите мне лучше, кто вы такой?

— Ну, я начальник отдела, — сказал он уже совсем обыкновенным голосом.

— Ответственный сотрудник Комитета, — добавил Захаров почти-тительно.

Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах, в той же комнате, ничего не изменилось. Как будто ничего и не было. Но что-то все-таки было. Я испытывал ощущение, словно я или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении, а теперь вернулись и не можем вспомнить, о чем же шла речь до того.

О чем бы она ни шла, я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет.

— Ну так вот что, — сказал я, решительно и намереваясь уйти. — Ни

о какой откровенности нечего говорить. И не надо мне совать в нос микрофон.

— Да какая тебе... — Я посмотрел на него и хотел сказать, чтоб не тыкал, но он сам поправился... — вам разница, где микрофон, в рукаве или в стене. Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.

В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. (Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попадавшимся на моем пути функционерам правду в глаза, хотя толк от этого был такой, как если бы я то же самое говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить им правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, кагебешным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза, во всех случаях и как можно больше, чтобы они в этой джи потонули. При этом надо четко видеть и не переходить границу, где за ложью им начинается обман самого себя.)

Я остался (а интересно, что бы было, если б попробовал уйти) и разговор наш продолжился.

Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.

— Вот Дудинцев, например, — сказал Петров, — пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов, кладет в один карман. Напишет еще — кладет в другой. А вы не так пишете?

— Нет, — говорю, — я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что, придя ко мне, вы ничего не найдете. После конфискации романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.

На самом деле то, что я говорю — чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо, не научусь. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым. А потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас ключья моих рукописей заросли паутиной у ногнибудь под кроватью.

Петров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.

— Вот представьте себе, — говорит он. — Вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров.

— Представляю. Сейчас таких писателей очень много.

— Почему вы так говорите? — оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.

Но Петров не обиделся.

— Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете к себе...

— Да не буду я вас вызывать. Печатайтесь, где хотите...

Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается (для того, наверно, и развернулся), словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том, о сем, и, в частности, о КГБ.

Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, валят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убило. Вы, конечно, слышали эту историю? Как? Про Попкова? Не слышали? Ну как же, как же... Как убили художника Попкова не слышали? Вся западная пресса шумела (неужели вы пропустили?): чекисты убили левого художника (а он, между прочим, никакой не левый). И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси. Остановил машину, полез внутрь, а там инкассатор, и тоже «под мухой». Он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Петров откинул голову, и, косясь на меня с вождельной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кадыком) и вышла (стал как бы вытыгивать что-то невидимое из затылка) отсюда. А потом говорят — мы убили Попкова. Чуть что — и на нас. Мы убили. А это не мы (и стал мне при этом подмигивать: мы, мы, мы).

Речь зашла опять о ВААПе. Я сказал:

— Мне ваш ВААП не нужен. У меня есть свой адвокат, американец, который мои права достаточно хорошо (это я по незнанию сильно преувеличил) защищает.

— А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? — поинтересовался Петров.

— Прерывистая.

— Прерывистая? — Он так обрадовался, будто именно этого слова только и ждал. — И наша жизнь тоже, знаете, штука очень, очень (быстро закивал головой, замигал, перекашивая лицевые мускулы) прерывистая... да, прерывистая. Впрочем, — затуманил угрозу философским раздумьем, — что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг. Да! — встрепенулся. — А вы знаете, что нам приказано вас предупредить?

— Так чего же вы дурака валяете? Предупреждайте.

— Но мы же хотим по-хорошему.

— Если вам приказано по-плохому, выполняйте приказ.

В разговор вмешивается Захаров.

— А я вот, хи-хи, насчет «Чонкина». По-моему, это очень антисоветская книга. Как-то у вас там, хи-хи, все странно. Записка «Если погибну, прошу считать коммунистом» оказывается вдруг, хи-хи, под копытом у лошади.

— А, значит, вам все-таки не нравится, — говорю я. — Так бы и сказали. Я ведь и рассчитывал, что вам не понравится.

— Нет, вы знаете, как-то все-таки выпустить такую, хи-хи, книгу к тридцатилетию Победы...

(Интересно, он в самом деле думает, что я специально и именно к тридцатилетию, а не к двадцатидевяти или тридцатиодному году выпустил эту книгу?)

Угрозы сменяются примирительным тоном. Несмотря ни на что, Петров надеется, что во мне (ну, пусть на самом доньшке) осталось что-то советское.

— Вы же были рабочим. Не то что там какая-то гнилая (не нашел эпитета посвежее) интеллигенция. Может быть, вам еще повариться в рабочем коллективе?

— Хотите приставить меня к станку или к тачке?

— Да что вы! — восклицает Захаров. — Думаете, хи-хи, мы хотим воспитывать вас по китайскому методу?

— Да по китайскому методу надо, чтобы еще воспитуемый согласился.

— Одного не могу понять! — всплескивает руками Петров. — Ну было бы вам семьдесят лет, когда жизнь по существу закончена¹. Но кончать ее в сорок три... Нет, этого я не понимаю.

Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю потом. А пока что-то говорю, спорю, иногда сбиваюсь на попытки убедить моих собеседников в полной безвредности своих писаний, другой раз говорю что-нибудь противоположное.

Пока я говорил, Захаров, чем-то озабоченный, выскочил за дверь (интересно, зачем?), но вскоре вернулся, сел на прежнее место и заерзал нетерпеливо.

Я посмотрел на него, посмотрел на Петрова и вдруг совершенно четко осознал, что передо мной сидят два истукана, два неодушевленных предмета, исполняющих функцию, на которую их направляет руководящая ими рука. Они топор, которым рука может колоть дрова, или орехи, или забивать гвозди, или отрубить голову. Убеждать в чем бы то ни было бессмысленно, топор убеждениям не поддается. Но зачем же я сюда пришел? И зачем они? Если они вообще ничего не приемлют, то в чем состояла их задача?

Я посмотрел на часы и удивился. Было ровно семь. То есть я уже здесь три часа. А мне показалось — минут сорок, не больше. Я встал. Они тоже. Опять спросили меня, поеду ли на дачу и что буду выращивать. Я сказал: ПУКС. Они хихикали и предлагали позвонить через две недели.

¹ Эти слова я тогда понял как намек на Лидию Чуковскую, которая очень раздражала власти, но ее тогдашний возраст (68 лет) и слабое сердце позволяли им надеяться на скорое избавление от нее. Сейчас Лидии Корнеевне 85 лет, она в добром здравии и, надеюсь, долго еще не оправдает надежд своих врагов.

Я соглашался, жал им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился, но не к дверям, а к нише, наполовину задернутой красной портьерой.

— Нет, нет, не сюда! — испугался Петров и повернул меня к дверям, которые возникли передо мной как из тумана.

После «Метрополя»

В странном состоянии я вышел в коридор и опять направился в сторону; противоположную выходу. Дошел до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаюсь понять, как сквозь них проникнуть (и те, кто за мной наблюдал, наверное, были мною довольны). Наконец сообразил, что стремлюсь не туда, повернул обратно, прошел мимо дежурной, посмотрел на нее, любопытно было, как она реагирует на выхода из номера 480. Лица ее не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это не удивило.

Я спустился вниз и вышел на улицу.

Мне было плохо. У меня все болело: голова, сердце, ноги. Икры ног словно окаменели. В таком состоянии надо было сразу ехать домой. И я бы поехал, если бы хоть чуть-чуть понимал свое состояние. Я его не понимал, но помнил: Ира просила купить нафталин. Обычно ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас же мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе.

Я шел как глубокий и слабый старик, наклонившись вперед и еле переставляя ноги. Пересек проспект Маркса по подземному переходу. Вышел на Кузнецкий мост и повернул направо, к Лубянке. Там, чуть не доходя до главного здания КГБ, маленький хозяйственный магазин.

Я видел только то, что было прямо передо мной, но прямо оказывалось как раз то, что мне нужно. Магазин, нафталин — восемь копеек пачка. Долго множил восемь на четыре. Выйдя из магазина, вспомнил про «Березку» и пиво. Сейчас мне было не до пива, но я опять выполнял программу.

Такси не было, и я пешком — все так же, еле переставляя ноги, — поплелся на улицу Горького. В троллейбусе доехал до Белорусского вокзала. Пошел в «Березку». Она — закрыта. Где-то еще пива тоже не оказалось (да и откуда ему быть, если время было около восьми вечера?).

Как добрался домой, точно не помню, кажется, на метро. На вопросы Иры отвечал односложно (она, занятая ребенком, сначала ничего не заметила). Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Я стал смотреть, но не понял, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю, но не испытал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил телевизор, пошел к Владимиру Корнилову, с которым мы тогда дружили. Он и его жена Лариса, несмотря на то, что в комнате было полутемно, сразу обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос: «Что случилось?» — я ответил: «Ничего». Тут к ним зашла соседка, и я ушел, ничего не рассказав. Впрочем, на какой-нибудь внятный рассказ вряд ли я был способен.

Вернувшись домой, я лег спать и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу, и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы.

Будучи человеком от природы здоровым, я обычно никаких лекарств не принимал, а тут залез в домашнюю аптечку, принял две таблетки элениума — не помогло.

В первом часу ночи я вдруг вспомнил некоторые высказывания Петрова, и только сейчас до меня дошло их значение. Ира спала с дочкой в другой комнате. Я пошел, разбудил ее, попросил выйти на балкон и здесь сказал: «Ты знаешь, они обещали меня убить». Но своего состояния и сейчас оценить не мог.

Оля проснулась, заплакала, и Ира ушла к ней. Я лег и начал осознавать, что со мной происходит что-то необычное. Стал записывать свои поздравления.

«Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру».

(Знаменитый украинский националист Степан Бандера в 1959 году был найден мертвым на пороге своей мюнхенской квартиры. Вскрытие показало — инфаркт. За два года до того, и тоже от инфаркта, умер соратник Бандеры Лев Ребет. Кажется, у кого-то были сомнения, но медицинская экспертиза в обоих случаях не нашла ничего, кроме инфаркта. Несколько лет спустя в немецкую полицию явился некий Богдан Сташинский (подвигнутый на то своей невестой Инге Польш) и признался, что это он по заданию КГБ убил и Ребета, и Бандеру из специального пистолета, стреляющего синильной кислотой. Оба раза сработано было чисто: выстрел в лицо, инфаркт, а следы синильной кислоты улетучились в течение нескольких минут. Вскоре после этого Сташинский был вызван в Москву, и Александр Шелепин («Железный Шурик») лично вручил герою орден Красного Знамени «за выполнение особо важного задания». А потом Инге Польш, любовь, явка с повинной в суд в Карлсруэ. И если бы не это все, кто бы сегодня знал, что Ребет и Бандера умерли не своей смертью?)

По сюжету заключенное в скобки следовало бы поставить в конец рассказа, но мне важно показать и то, что я в своих рассуждениях стал сразу на правильный путь.

С часу ночи до пяти минут третьего я сделал девять записей, отмечая свое состояние, принятые лекарства и свои соображения, в некоторых случаях, может быть, не столь важные.

Был дерганный пульс, который я не мог сосчитать. Болела голова. Принял еще две таблетки элениума. Потом две таблетки беллоида, думая, что это тоже успокаивающее лекарство (мне потом объяснили, наоборот — возбуждающее).

Заснул после трех. Проснулся в пять. Пульс был 140 (теперь уже точно). И это после сна, пусть и недолгого.

До восьми я провалился в постели, потом встал. Чувствовал себя мерзко, но что-то соображал. Сел за машинку и написал открытое письмо Андропову. Написал более или менее связно, но только о вызове, угрозах и странном бормотании Петрова после разоблачения микрофона. Закончил, подражая некоторым образцам, в патетическо-горделивом тоне, что, мол, Чонкин уже пошел по свету и всем вашим инкассаторам, вместе взятым, его не победить (что, впрочем, правда). Написал, что этим письмом обращаюсь не только к Андропову, но и за защитой к мировой общественности и к писателям Генриху Бёлю, Артуру Миллеру, Курту Воннегуту, Александру Солженицыну и еще кому-то.

Днем, занятый сочинением и распространением письма, на своем состоянии не сосредотачивался.

Вечером, на квартире Сахаровых, по моей просьбе была созвана пресс-конференция (я боялся, что дома мне ее провести не дадут). Я прочел письмо Андропову, а потом подумал и рассказал о своих подозрениях насчет отравления. Но сам в своих доводах сомневался, говорил неуверенно, а корреспондентам, и подавно, странно все это было слышать. Тем более, что у меня не было никакого правдоподобного объяснения, как конкретно это могло случиться.

Я предположил, что предмет, принятый мною за микрофон, был чем-то другим, и попытался описать его. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры: 25 × 20 × 5 мм. Боковые стенки зеленого цвета, пластинка, обращенная ко мне, — кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода (так мне запомнилось, но потом я в этом усомнился) — зеленый большего сечения, белый — меньшего. Мои подозрения: коробочка не микрофон, а распылитель двух газов, подаваемых по двум шлангам.

Журналисты смотрят недоверчиво. Я бы на их месте смотрел так же. При этом все же думаю: в оборудованной для специальных операций комнате зачем прятать микрофон в рукаве? А если и прятать, то... то для чего же такой большой? Современный микрофон может быть величиной со спичечную головку, у меня у самого был такой. Неужели у них нет? (Потом знающие люди говорили, что могло и не быть. У них ограничения в бюджете, бухгалтерия и финансовые ревизии, поэтому техника используется и устаревшая.)

Из всех присутствовавших на пресс-конференции, кажется, мне поверил один только Сахаров. Когда я сказал, что пробыл в «Метрополе» три часа, а мне показалось, что я был там не больше минут сорока, Андрей Дмитриевич предположил, что было выпадение памяти.

13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывало уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерил пульс — 140. Выпил что-то сердечное, лег.

Видели меня в те дни Владимир Корнилов и его жена Лариса Беспалова, Бенедикт и Слава Сарновы. Сарнов сам мерял мне пульс — была та же цифра.

Вечером 13 мая пришли ко мне два медицинских светила: мой друг (ныне покойный) Борис Шубин, очень хороший врач, доктор наук, и его товарищ, профессор (которого и сейчас не назову, поскольку не знаю, согласен ли он на это). Оба они большие специалисты, но не того профиля. Борис хирург-онколог, а его друг — гематолог.

Оба выслушали мой рассказ внимательно, и оба не поверили. Предположения насчет газа отмени сразу.

— А они, что же, в противогазах сидели?

— Нет, но, может быть, они приняли какое-то противоядие.

— Это невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием были?

— Не было.

— Галлюцинации?

— Нет. Не считая того случая, когда Петров кивал головой, бормотал и тарачил глаза. Мне тогда показалось, что он сошел с ума, а может быть, это со мной что-то случилось?

— Тошнота, рвота были?

— Не было.

— Ты там не пил, не ел?

— Нет.

— Сигареты курил свои?

— Свои.

— Володя, — сказал Борис встревоженно, — поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть. Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление, от этого мог произойти какой-то сдвиг в сознании. Микрофон тебе показали нарочно. Они намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Вполне возможно, они только этого и ждут.

Все же он меня простукал, прослушал, посчитал пульс.

— Ну, есть, конечно, некоторая тахикардия. Это от волнения. Ты и сейчас волнуешься.

— Я волнуюсь оттого, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось.

— Но и таких случаев у тебя никогда не было.

Случаи у меня в жизни были разные, но это ничего не значит, потому что они происходили в другом возрасте и в иной ситуации.

Так мне Шубин и не поверил.

И я стал сомневаться. Может, и правда, показалось. Меня, как и других общественно известных людей, время от времени посещали (и сейчас посещают) больные люди. Этих больных, каждого, травят газами, душат запахами, пронизывают невидимыми лучами. Один даже показывал мне свинцовые пластины, которыми он заслоняет от облучения сердце и другие важные органы (деталь, использованная в «Шапке»).

(Между прочим, среди таких ходочков был и один очень известный ныне человек. Называть его не буду, потому что не хочу помогать его политическим противникам. Он мне тоже рассказывал о попытках КГБ его уничтожить путем подмены жены, подбрасывания дохлой курицы и опять же с помощью воды, еды, гипноза, газов и излучений. КГБ, конечно, отнеслось к нему так же плохо, как и ко мне, а может, и похуже, поскольку он был настоящий политический борец, а не липовый, вроде меня. Но все же теперь, видя на экране телевизора его в роли видного госдеятеля, я вспоминаю тогдашние его приходы ко мне и думаю, что, если бы это от

меня зависело, я бы внес во все конституции требование — кандидатов на высшие государственные посты и кандидатов в депутаты всех уровней допускать к участию в предвыборной борьбе только по предъявлении справки от психиатра.)

После ухода Шубина и его товарища я усомнился в своих ощущениях, накапал себе побольше сердечных капель и лег спать.

Утром проснулся успокоенный. Да, конечно, мне показалось. И неудобно, поднял панику, заставил Шубина и его друга тащиться черт-те куда.

Посчитал пульс. 140. И голова болит. И в ногах тяжесть.

Доктор Аркадий Новиков

Теперь надо рассказать о посещении еще одного врача. В моем описании 75-го года я изобразил поликлинику, старичка-профессора. Я вынужден был путать следы, чтобы не подвести доктора, который меня на самом деле осматривал. Теперь я его подвести не могу. Так вот это был не старичок, а совсем наоборот, молодой человек, лет тридцати с небольшим. Звали его Аркадий Новиков, и мне рекомендовали его как выдающегося, несмотря на возраст, диагноста.

С Владимиром Корниловым я поехал к Новикову и не в больницу, а домой, где он практиковал частным образом. Помню, он меня удивил своим возрастом и необычной для возраста дальновзоркостью — глаза за стеклами очков были очень большие.

Он предложил нам с Корниловым сесть, положил перед собой несколько листов бумаги и сказал:

— Прежде, чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.

— Видите ли, — возразил я, — тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него.

— Нет, нет. До вашего случая мы еще дойдем. Я вам буду задавать вопросы, они сначала могут вам показаться странными, но потом вы поймете, что я ничего не спрашиваю зря.

Мне казалось, что он слишком юн и потому слишком играет во взрослого, но деваться некуда, и я подчинился.

Вопросов было много. Болел ли в детстве малярией, тифом, коклюшем, скарлатиной, дизентерией. Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни? Квартирные условия? Отношения в семье? Делаю ли зарядку? Гуляю ли? С какого возраста курю и сколько сигарет в день?

Все я ему рассказал.

— Ну, хорошо, — сказал Новиков, — а теперь расскажите про ваш необычный, — тонкая ирония, — случай.

Слушая, он несколько раз взглядывал на Корнилова, очевидно, желая знать, как тот относится к моим выдумкам.

Потом сказал тоном старшего человека.

— Вот что, дорогой мой, прошу вас, никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю многих больных, которые рассказывают подобные истории.

— Я сам таких знаю, — сказал я.

— Вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю, и вы убедитесь, что у вас все в порядке.

Он уложил меня на диван и стал укреплять датчики переносного кардиографа.

Включил аппарат.

— Гм, что-то тут дребезжит.

Поправил датчик на левой руке. Несколько раз считал пульс, мерил давление, протестовал меня, прослушал и откинулся в изумлении.

— Да, есть!

— Что есть? — спросил я с понятным нетерпением.

— Есть признаки какого-то отравления. Для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление... Вы, небось, гипотоник?

— Гипотоник.

— А давление 130 на 90. Для вас это много. Я в этом не специалист. Тут нужен токсиколог. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминазина. Сколько дней прошло? Три? Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты?

— Один выходил.

— А другой был все время? — Покрутил головой. — Нет, газ отпадает. Вы там не пили, не ели? А сигареты свои курили?

Шубин тоже спрашивал про сигареты, и я сказал, что курил свои. А тут подумал и вспомнил! Был ведь такой момент, когда Петров отвлек меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне картину, в которой не было ничего интересного. Да, это самый обыкновенный, очень принятый у воров и мне знакомый со времен ремеслухи прием отвлечения. Простой, по-детски бесхитростный — смотри: вон птичка летит! Или: вон висит картина. Пока Петров меня отвлекал (а больше никакого смысла в показе картины не было), Захаров подменил пачку. При моей абсолютной беспечности ничего проще не было. Как же мне это сразу не пришло в голову?

Теперь становилось понятным, для чего еще во время первой встречи, на Лубянке, Захаров стрелял у меня сигареты. Примеривался и проверял мою бдительность. Может быть, там даже и отретегировал подмену. Репетиция прошла успешно. Более чем. Я не только не следил за сигаретами, но сам их к нему пододвинул, чтобы он каждый раз не просил.

На самом деле Захаров скорее всего вообще некурящий. В гостинице он специально показал мне пачку «Столичных», чтобы я отметил, что у него сигареты другого сорта. Пачка была нераспечатана. Не помню, чтобы он ее распечатывал и курил. Уже не нужно было и не курил. (Тем более что пачка казенная, сдать надо в целости, не то вычтут из зарплаты сорок копеек.)

Почему я всего этого сразу не вспомнил? Потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками.

До посещения доктора и после — всего, приблизительно, шесть дней — я чувствовал в себе последствия отравления. Шесть дней были круги под глазами, тяжесть и жжение в икрах ног, шесть дней я без всякой диеты худел.

Между прочим, я тогда записал, что похудел на пять килограммов. Такие данные задним числом не переписывают, но теперь, имея более надежные доказательства происшедшего, скажу, что назвал эту цифру из боязни преувеличить. У меня были очень плохие весы. Их показания колебались в зависимости от того, как на них станешь. Так вот они показывали потерю веса большую, даже, может быть, килограммов восемь, но я им не поверил (боялся, что другие не поверят тем более), сбавил цифру и, может быть, зря.

Андрей Амальрик любил денежки

Еще одному врачу я показывался — психиатру Алле.

— Да, — сказала она, выслушав меня. — История, ничего не скажешь, и впрямь сумасшедшая.

— Значит, ты мне не веришь?

— Нет, я тебе верю.

— Веришь всему, что я рассказал?

— Всему верю. Не знаю, зачем было бы тебе врать.

— И ты не думаешь, что я сумасшедший?

— Нет, не думаю.

— Почему?

— Потому, что ты самый нормальный человек из всех, кого я знаю.

— А где грань между нормальным и ненормальным?

— Ну, знаешь, чтобы это все объяснить, я должна была бы прочитать тебе курс лекций, но такая грань все-таки есть.

— Но они все равно могут объявить меня сумасшедшим.
 — Нет, не могут.
 — Почему?
 — Потому что ты не сумасшедший.
 — Но они же сажают нормальных людей в психушки?
 — Кто это тебе сказал?
 — Ты собираешься отрицать, что они сажают нормальных людей?
 — Отрицать не буду, но если ты посмотришь непредвзято на тех, кого сажают в психушки, ты увидишь, что каждый из них отличается, ну, скажем, неуравновешенностью характера, вспыльчивостью, стремлением к переустройству мира, повышенным самоуважением, все это, конечно, не клиника, но есть муха, из которой можно сделать слона, а у тебя этой мухи нет. В твоём поведении нет того признака, который можно дотянуть до диагноза.

Я передал этот разговор Андрею Амальрику.

— Конечно, — сказал он, — в психушку сажают не каждого. Со мной, например, этого не делают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест — это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им всегда говорю: я, гражданин следователь, за бесплатно не работаю, а всегда только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке хранятся под очень большие проценты.

Это уж слишком и очень смешно

Так случилось то, что я описал. Как сказано выше, я послал открытое письмо Андропову. Мне позвонили из «Немецкой волны», и я начал свое письмо на включенный в Кельне магнитофон. Тогда, в 1975 году, еще не все позволяли себе выступать по западным радиостанциям. Я боялся, что связь прервут, торопился, читал без выражения, проглатывая слова. Но телефон не отключили, и мне самому удивительно было слышать уже тем же вечером свой рвущийся голос, которым я читал текст, обращенный к Андропову. Помня о высказанных мне угрозах, я сказал: «Убийство тоже неплохая оценка писательского труда. Если меня посадят, я не буду возражать, чтобы демонстранты на Западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры, что кому больше по вкусу. Если же что-то случится с моими близкими или инкассатор под мухой застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку».

Конечно, элемент нелюбимой мною патетики здесь имеется, но бывают в жизни моменты, когда человеку очень трудно от нее удержаться. Я и дальше развил свою мысль в том же духе (о чем выше упоминал): «Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня отомстит солдат Чонкин. В своих драных обмотках он уже пошел по свету, и всем вашим инкассаторам его не победить...»

(По крайней мере двум моим сочинениям повезло так, что действие их с книжных страниц перешло прямо в реальную жизнь. В книге Чонкин был атакован сначала районным отделением НКВД и регулярной воинской частью, а в жизни — сначала было КГБ под командованием самого председателя, затем последовали нападения генералов и маршалов, включая командующего всеми вооруженными силами СССР маршала Язова. Такой же эффект с другим романом. В «Москве 2042» персонажи романа хотя вычеркнуты из книги Сим Сими́ча Карнавалова, а как только книга появилась в Москве конца восьмидесятых годов нашего века, так тут же раздались требования, не книжных героев, а реальных суровых критиков: вычеркнуть Сим Сими́ча Карнавалова.)

Сочиняя письмо Андропову, я еще не понял, что именно со мной случилось. Кое до чего стал додумываться потом, описал опять происшествие, теперь со всеми подробностями и более обоснованными подозрениями. Передал рукопись Максимову, и тот опубликовал ее в «Континенте» (№ 5), в том же 1975 году.

Откровенно говоря, я думал, что публикация эта обратит на себя внимание так называемой мировой общественности, но мировая общественность и ухом не повела. Включая всех писателей, к которым я раньше обратился, кроме, если не ошибаюсь, француза Пьера Эмманюэля, это он придумал всех нас, преследуемых в СССР литераторов, кто хоть немного что-то писать умел, принимать во французский ПЕН-клуб и тем предохранять от пропадания без вести. Старания Эмманюэля оказались не напрасны: ни один из тогдашних российских членов французского ПЕНа в тюрьму не попал.

Что же касается мировой общественности, то она не заметила даже случившегося годом позже убийства Богатырева.

В моем же случае это все-таки не убийство, а так, неизвестно что.

Сами же кагебешники несколько забеспокоились. И делали все, чтобы мое заявление дезавуировать.

У них были и помощники.

Я не знаю, действовал ли поэт Евгений Евтушенко по чьему-то заданию или сам от себя старался, но в те дни он каждого встречного-поперечного и с большой страстью убеждал, что никто меня не травил (интересно, откуда ж ему это было известно?), всю эту историю про отравление я для чего-то наврал. Зуд разоблачительства по отношению ко мне у него не угас с годами, он через пятнадцать лет после случившегося, публично (на заседании «Апреля») и ни к селу ни к городу вспомнил эту историю и опять повторял, что я вру, неосмотрительно хвастаясь своей осведомленностью: «Поверьте мне, уж это я точно знаю». Не буду говорить подробно о той роли, которую играл этот человек в годы застоя. Возможно, когда-нибудь еще будет написана его биография, а может, даже роман о нем (вроде «Мефисто» Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в слугу тоталитарного режима. «Талант на службе у невежды, привык ты молча слушать ложь. Ты раньше подавал надежды, теперь одежды подаешь». Эти, написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому.

Еще в свои молодые годы Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведет в КГБ. Уже в начале перестройки, приветствуя ее, но все еще распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, обещал в «Огоньке» «набить морду» каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве.

Во время моего «диссидентства» Евтушенко очень старался подорвать мою репутацию и ухудшить мое и без того тяжелое и опасное положение, говоря, например, интересовавшимся мной судьбой иностранцам, что я плохой писатель, плохой человек, живу хорошо и их беспокойства не стою. (О том, как вели себя в эти годы купленные на советские деревянные рубли видные и морально конвертируемые западные интеллектуалы, тоже стоило бы поговорить, да, ладно, в другой раз.)

Евтушенко был не одинок. Одна уважаемая мною писательница говорила разным людям, что я помешался и горожу какую-то чушь. Очень многим другим людям (и не только в СССР) этот случай представлялся неправдоподобным, а некоторым даже очень хотелось, чтобы он оказался бредом сумасшедшего или выдумкой спяну.

Интересно, почему все же люди не верили?

Отравление сигаретами неужели столь неправдоподобно, что нельзя его даже предположить? Или наши люди столь недоверчивы? Как же, очень даже доверчивы. Это ж они верили в маршалов-шпионов, инженеров-вредителей, врачей-отравителей, колорадских жуков и сейчас верят в инопланетян, филиппинских целителей, заряженную воду, экстраксы и мунне.

Многие поколения психологов разобьют себе лбы, попытаюсь понять загадку, почему люди легко верят в то, чего нет, и не верят в то, что видят перед глазами. Самые несвободные в мире люди верили, что свободнее их нет никого на свете. В стране, где в мирное время в лагерях гибло больше людей, чем в годы войны на фронте, одна из самых распространенных фраз была: «У нас ни за что не сажают». И вот еще интересно, что дурак дурость свою слепую имеет наглость воспринимать как вид доброты. «Что вы говорите? У нас? Миллионы? В лагерях? Каким надо быть злым человеком, чтобы такое говорить!»

Уж казалось, чего только не делала ГБ под всеми своими названиями. Уничтожала людей, как клопов, по любому поводу, в любых количествах, любым способом. «А что, — сказал мне недавно один бывший гебешник, — народ и сейчас к слову «чекист» относится с уважением».

Народ не народ, а дураков и сейчас хватает. Ну, а еще недавно их было хоть забор из них городи. Что? У нас? Посадили? Убили? Отравили? Не верим.

Дело вроде простое, а поверить трудно. Неужели возможно человека только за то, что он пишет какие-то выдумки, вот так всерьез и с самыми серьезными целями отравить? Может, и сама эта история тоже вымысел?

Моя американская редакторша Нэнси Майселас, которая привезла мне в Москву известие о своей работе над готовящимся изданием «Чонкина», сказала, что прочла «Происшествие в «Метрополе» перед самым отлетом из Нью-Йорка, и на мой вопрос «ну и как?» растянула рот до ушей:

— Вери фанни. — То есть очень смешно.

Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были знакомы и по личному опыту, приняли мой рассказ всерьез. Юрий Орлов и Андрей Амальрик в моей правдивости не усомнились.

И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и много раз говорила мне, что я ее убедил художественно. (Я-то как раз художественностью своих описаний был очень недоволен.)

А кагебешники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. Амальрик, вызванный к следователю в те дни на допрос, спросил, в чем ему лучше прийти — в скафандре или достаточно противогаса? Следователь сказал: «А, вы имеете в виду эту историю с Войновичем? Разве вы не видите, что он сумасшедший?»

Потом было сказано, что я написал злобную клевету на органы. «Клевета», очевидно, оказалась для КГБ весьма чувствительной, и поэтому заместитель председателя Госкомиздата СССР и близкий друг небезызвестного С. Иванько некто Чхиквишвили сказал (мне передали): «Войновичу последний раз дали возможность проявиться, как порядочному человеку, но он эту возможность отверг и теперь сдохнет в подвалах КГБ».

(Интересно, как в моем случае должен был проявить себя порядочный человек? Что же касается подвалов, то их, как теперь вроде бы выяснилось, в здании на Лубянке никогда не было, но Чхиквишвили, работавший, вероятно, на более высоких этажах, этого мог и не знать.)¹

Но поскольку время шло, моя публикация настоящего внимания не привлекла, кагебешники успокоились и подобрали. Проводивший «беседу» с Б. Сарновым чекист сказал: «Войнович написал на нас пародию, но в нее никто не верит».

Сами гебисты в мою «пародию» все-таки верили. Юрий Идашкин, взявшийся в 1980 году быть посредником между мною и КГБ по поводу моего отъезда за границу (о нем подробнее когда-нибудь тоже расскажу), сказал мне, что люди, которые меня отравили, были наказаны. Разумеется, не за то, что отравили, а за то (я так думаю), что «засветились». Я спросил его: а зачем они это сделали? «Ну мало ли, — отмахнулся он, — мало ли что выдумает какой-нибудь старший лейтенант».

Тот, который во мне не сидит

Но версию самовольства нижних чинов я отмел сразу. Мне было ясно, что человек, именовавший себя Петровым, не был старшим лейтенантом. Он назвался начальником отдела, а это должность, по крайней ме-

¹ Недавно я прочел отрывок из мемуаров А. Чаковского, где написано, что Чхи (так звали этого человека в его кругу) «был хороший добродетельный человек... Когда он стоял перед необходимостью (интересная перед некоторыми возникает необходимость. — В. В.) сделать журналисту или писателю добро или зло, Чхи выбирал добро».

ре, полковничья, если не генеральская. Представляя себе более или менее чиновничью психологию, я не мог поверить, чтобы такой человек в присутствии подчиненного назвал себя чином выше, чем он есть на самом деле. И то, что это был достаточно большой чин, говорит о важности того, зачем он пошел в «Метрополь».

Я с самого начала думал и утверждал устно и письменно, что эта «операция» была разработана на самых кагебешных верхах и одобрена по крайней мере лично Андроповым. Вовсе не из тщеславного желания быть лично известным главному полицаяу, а потому, что (для меня это было косвенным доказательством происшедшего) с некоторых пор партийные верхи, опасаясь за самих себя, все террористические акции гебистов держали под строгим контролем. Это, с одной стороны, давало им гарантию того, что террор не дотянется до них самих, но, с другой стороны, создавало то неудобство, что вынуждало их всех по правилам круговой поруки брать ответственность на себя.

Вот и здесь «операция» была такого рода, что ни о какой инициативе старших лейтенантов речи быть не могло. И если акция была террористического характера, она не могла быть предпринята вне непосредственного контроля лично Андропова. Так что, появившись в нашей истории тень этого монстра, ее можно было бы считать хотя и немой, но достойным доверия свидетелем с нашей стороны (забегу вперед: на каком-то этапе нашего повествования тень Юрия Владимировича не только появится, но даже заговорит).

Мои тогдашние рассуждения привели меня к тому, что если даже конечной целью отравления было не убийство, то что-нибудь все-таки более зловещее, чем, предположим, одурманивание в надежде запугать или вызвать болтливость. Было покушение, если не на жизнь, то на психику. На личность. А мне моя личность, правду сказать, всегда была дороже моего физического существования. И вовсе не по причине самовлюбленности. Будь у меня возможность участвовать в конструировании себя самого, я бы кое-какие (многие) параметры изменил в сторону улучшения. Но, поскольку этой возможности нет, моя задача — остаться самим собой. В каждом человеке помимо инстинкта самосохранения, сохранения себя как биологической единицы, есть инстинкт самосохранения личности. У одного больше развит один инстинкт, у другого — другой. У меня другой. Я это познал в процессе своего жизненного опыта. Начиная с мелочей. Я встречал много людей, у которых инстинкт № 2 очень ослаблен. Такие люди без всякой натуги исполняют любые желания государства, начальников или хозяев и при малейшей необходимости отказываются от самих себя, легко меняя имя, национальность, религию и партийную принадлежность. Не говоря уже о принципах и убеждениях. За границей мне встречались супружеские пары, которые, торопя свое превращение в американцев, даже в общении между собой переходили на ломаный английский язык, хотя это бывало преждевременно и смешно. Мне такая готовность к превращениям всегда была крайне чужда, а когда меня к ним понуждали, инстинкт мой противился и отказывался внимать доводам разума. Временами он настолько портил мне жизнь, что я пытался его игнорировать, но потом понял, что инстинкт умнее ума, и раз он так хочет, значит, знает, что делает.

Человеческая личность представляет собой сложнейший сплав элементов с самыми разнородными свойствами. Изменить формулу этого сплава трудно и даже невозможно, если человек по тем или иным причинам сам этому не способствует. Но если способствует, то результаты превосходят все ожидания. Сколько мы видели случаев, когда кто-то, в угоду обстоятельствам, из соображений выгоды или страха, сам себя ломая, изменяет свое поведение, и на наших глазах происходит распад личности, катастрофический и трагедийный. Разложить личность только внешними силами раньше было совсем невозможно, но теперь на помощь этим силам пришла наука, которая может все.

Сейчас в российской печати появились (например, статья Владимира Щепилова «Тот, который сидит во мне» в «Независимой газете» от 19 ноября 1991 года) сведения о преступных опытах по воздействию на психику отдельных индивидуумов с целью превращения их в «зомби», то есть в как бы прежних людей, но лишенных некоторых важных личност-

ных характеристик. Поведение зомбированных людей можно программировать (кстати, описывая 18 лет тому назад выполнение мною заранее намеченной программы — нафталин, пиво, — я о подобных опытах ничего не слышал). Владимир Щепилов пишет, что среди шпионов-«возвращенцев» были обнаружены люди, подвергшиеся программированию психики. Щепилов пишет (и другие авторы тоже), что программирование осуществляется с помощью комплекса мер и средств: в дело идут химия, радиация, гипноз. Причем для полного успеха нужно несколько сеансов (вот, может быть, почему Петров приглашал меня прийти к нему через две недели).

Отвлекаясь в сторону, скажу то, что зомбированием писателей советская власть занималась и до изобретения всех чудес радиохимии. Если «Тихий Дон» написан действительно Михаилом Шолоховым, то ничтожный старик, который умер под этим именем, был зомбирован, возможно (а, впрочем, химия — наука немолодая), такими сравнительно простыми средствами, как водка, страх, лесть, деньги и привилегии, — все в безумных количествах. И не только Шолохов. Горький по возвращении из-за границы неуклонно и катастрофически глупел и был, как говорят, отравлен, может быть, потому, что глупость его перешла запланированные пределы. Есть и другие писатели, с течением времени утратившие талант и поглупевшие столь противостоестественно, что невольно возникает мысль (сумасшедшая?), а не направлялось ли это поглушение опытными в подобных делах специалистами?

Возможно, попытка ускоренного зомбирования была предпринята по отношению и ко мне. Через сигареты ли, начиненные наркотиком? Вероятнее всего, да, но что же тогда случилось со мной, когда я потянулся к выпавшему из рукава микрофону?

Мне один западный врач тоже высказывал подозрение на ЛСД и говорил, что определенная доза этого наркотика может нанести повреждение психике даже при одноразовом приеме, но насколько он прав, не знаю, да и применение ЛСД это не факт, а всего лишь предположение. Может, на меня воздействовали еще каким-нибудь способом. Я вот, например, не знаю, что скрывалось в описанном мною номере 480 там в углу за занавесками. Люди? Специальное оборудование? Или и то, и то?

Выше сказано, что прямые симптомы отравления я ощущал примерно шесть дней. Говорить о других последствиях очень рискованно, но я не имею права упускать никаких подробностей, подозрений и соображений. Так вот другие последствия, как я предполагаю, но точно утверждать не могу, продолжались гораздо дольше, может быть даже несколько лет. Перед тем, как меня отравили, я активно и, как мне казалось, успешно работал над «Чонкиным», но после происшествия в «Метрополе» и в течение долгого времени моя работа шла значительно хуже, я терял нить сюжета, одни и те же сцены переписывал без конца, ни на одном варианте не мог остановиться и вообще топтался на месте гораздо дольше, чем раньше. О чем, очевидно, наблюдавшие за мной гебисты были осведомлены, поскольку мои рукописи, как я понял потом, хранились в очень доступном для них месте.

Творческий процесс дело таинственное, подъемы и спады в нем случаются и без участия секретной полиции, поэтому я не настаиваю на том, что упадок, наступивший в моей работе, был прямым результатом воздействия на меня какими-то средствами в гостинице «Метрополь», но, раз уж начал, выскажу все подозрения, какими бы странными они ни казались. Подчеркиваю: подозрения, а не утверждения.

В 1980 году, соглашаясь покинуть СССР, я поставил властям условие, что моя кооперативная квартира будет передана родителям моей жены, а до того и до моего отъезда в ней будет восстановлена телефонная связь. Переговоры мои велись через упомянутого выше Юрия Идашкина, а кто стоял за ним, я не знаю, может быть, тот же Андропов. Условия мои были приняты с легкостью, которая только сначала показалась мне удивительной. Условия были приняты, но на рассвете 21 августа мать моей жены Анна Михайловна умерла в больнице от сердечной недостаточности. Двумя часами позже весть была сообщена ее мужу, Данилу Михайловичу, и он на выходе из подъезда тоже умер (не с посторонней ли помощью?). Вечером того же д со мной случился приступ неизвестно че-

го. Сердце? Мозг? Нервы? Самые квалифицированные врачи так и не нашли ни источника, ни причины. Подобные симптомы (слабые, в виде некоторого неудобства при засыпании) я впервые ощутил в ночь на 5 августа, но 21 августа разыгрался сильнейший приступ: дыхание останавливалось, и давление прыгало ежеминутно от верхнего критического предела до нижнего, и так продолжалось несколько ночей подряд, а потом в течение лет время от времени (и всегда по ночам) повторялось, а диагноза нет и поныне. А за границей вначале были случаи, когда, выступая перед публикой, я вдруг совершенно забывал, о чем хотел сказать, и это было очень мне несвойственно, потому что я выступать умею. Впрочем, можно предположить что-нибудь и попроще. Анна Михайловна умерла от сердечной недостаточности, Данил Михайлович от внезапного шока, а мои приступы развились на фоне нервной перегрузки (она, конечно, была).

Так или нет, я не знаю. но следует признать, что в любом случае кагебешники кое-чего добились. Хотели помешать окончанию «Чонкина» и, так ли, сяк ли, а помешали. С тех пор прошло восемнадцать лет, а книга все еще не дописана. Что-то мне мешало ее закончить. Хотя, надеюсь, никто посторонний во мне все-таки не сидит, поскольку мне во мне для меня самого места мало.

Убийство туриста в Нью-Йорке

Умные люди мне говорили, что тогда, в 1975 году, я повел себя неправильно. Пошел по звонку, не потребовал от Петрова и Захарова предъявления документов, согласился на встречу в гостинице, сигареты выложил на стол, картину смотрел и не подумал оглянуться, растяпа.

Все так, поступил я во всех смыслах неправильно, потому и остался жив. Видя, что я веду себя очень неправильно, они решили что со мной можно провести неспешный эксперимент, в процессе которого я им помогу угробить себя самого чисто. Если б я их такой надежды сразу лишил, они бы придумали что-нибудь попроще да эффективней, вроде бутылки, которую истратили на Костю Богатырева.

Ну, а после такой накладки доделать свое дело они все-таки не решились. Потому что тут уж кто-нибудь (допустим, Андропов) должен был взять на себя ответственность полную. Он бы, пожалуй, и взял, но мог и опасаться, что в случае дворцовых интриг или, не дай Бог, нового возвращения к ленинским нормам социалистической законности кто-нибудь пожелает предъявить ему столь замечательный компромат. Так что в данном случае мокрое дело было отменено, хотя планы подобные, насколько мне известно, в КГБ и дальше проигрывались и были в конце концов оставлены не раньше, чем через пять с половиной лет, то есть только после моего отъезда в чужеземство.

Где я прожил много долгих лет в ожидании больших перемен на нашей туманной родине.

Осенью 1989 я переселился на год в Вашингтон и издалека следил за развитием событий в России в нетерпеливом предвкушении дня, когда наконец тамошняя перестройка дойдет до возвращения мне и другим гражданства и возможности вернуться.

Я думал не только о самом возвращении, но о разных его аспектах, в числе прочих о том, как бы мне все-таки проникнуть в загадку своего отравления. Для меня это было важно. Больше того, временами я думал, а стоит ли мне вообще возвращаться, пока эта история не открыта и не закрыта. Я надеялся, что приближается время, когда мне удастся докопаться до сути, и очень рассчитывал на встречу с человеком, который о моей истории в эти годы тоже, кажется, думал и мог иметь ценные сообщения.

Границы СССР тем временем постепенно дырявились, я сам побывал уже с краткосрочной визой в Москве, советские туристы валом валили на Запад, в аэропорту имени Кеннеди звучала русская речь, наступил период неразборчивого братания всех со всеми, без разделения на советских и антисоветских, о чем с изумлением, возмущением и восторгом писала эмигрантская газета «Новое русское слово».

Проглядывая эту газету, я однажды наткнулся на заметку под названием «Убийство туриста». Сперва я даже внимания не обратил: ну убили убили. В Нью-Йорке всегда кого-нибудь убивают. Я стал читать что-то другое, а уж потом, не зная, чем дальше себя занять, вернулся к этой заметке. Обыкновенная история. Приезжий из Советского Союза возвращался поздно из очередных гостей. (Как выяснилось, рассуждая при этом, что слухи о криминальности Нью-Йорка слишком преувеличены.) В подьезде двое бандитов с револьверами напали на его жену, стали вырывать сумку, а он сделал то, от чего полиция настойчиво предостерегает, — кинулся на помощь жене. И тут же получил две пули в грудь, от которых по дороге в госпиталь умер. В заметке указывалась и фамилия погибшего. Она меня не заинтересовала. Обыкновенная и очень распространенная русская фамилия. Я перевернул страницу и стал читать объявления: советские писатели выступают в гостинице Дорал Инн, дешевые кондоминумы на Ошеан Парквэй, доктор Оселкин лечит и удаляет зубы, «вы можете себе позволить самое лучшее» (определение беременности и аборты) и — Джек Яблоков, еврейский похоронный дом, самые низкие цены... Но в голове у меня вертелась фамилия убитого туриста, я опять обратился к заметке, прочел еще раз: Аркадий Новиков, врач из Москвы, сорока семи лет... и только сейчас сообразил: батюшки, да это же он! В памяти сразу возник художавый молодой человек в полосатой рубашке с расстегнутым воротом и в очках с увеличительными линзами. Хотя в эти годы я о нем вспоминал и не раз, но помнились только слова, а зрительного образа не возникало. А тут выплыл из памяти, как живой, и даже как будто заговорил: «Теперь расскажите про ваш необычный случай».

Тут некоторые пронизательные читатели выйдут на след: важный свидетель, КГБ, длинные руки... но след этот ложный. Аркадий Новиков был для меня свидетелем важным, но КГБ в данном случае вне подозрений. Просто совпадение обстоятельств, говорящее, впрочем, о том, как много насилия совершается в мире.

Молчание — золото

А я, между прочим, мысли о дополнительном расследовании давней истории не оставлял.

Недоверие к моему рассказу об отравлении высказывалось разными людьми и не только такими, кого я мог зачислить в разряд бесчестных. Оно меня в некоторых случаях ранило, а в других оскорбляло, но дело было не только в этом. А еще и в том, что с некоторых пор террористические акции КГБ проходили без всякого отклика. Существовало даже мнение, что упомянутое мною убийство Степана Бандеры было последним актом физического устранения политических противников советской власти. Возможно, это мнение справедливо для заграницы, где агенты КГБ стали слишком часто сдаваться и устраивать скандальные пресс-конференции (тот же Богдан Сташинский, а за несколько лет до него капитан КГБ Николай Хохлов, посланный в Германию, чтобы убить одного из руководителей НТС Георгия Околовича, но отказавшийся от своего намерения и сдавшийся американцам. После чего, кстати, сам ставший жертвой покушения. Выпил где-то чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барием и был вытасчен с того света американскими докторами). Так что заграничный террор был сопряжен с большим политическим риском. А внутри страны какой риск? Здесь агенту если уж поручат убить, он убьет, ему сдаваться здесь некому, а там он не бывает, поскольку невыездной.

А всякое расследование (да кто на него решится?) можно на любом этапе прекратить или завести в тупик. Вот и имели место происшествия, которые, конечно, могли произойти с кем угодно, но почему-то с теми, кем советская власть была недовольна, они случались чаще, чем полагалось бы по статистике. Какого-то человека после посещения Сахарова скинули с поезда, Виктора Попкова застрелил инкассатор, другой художник, Евгений Рухин, спорел в своей мастерской, Константину Богатыреву проломил череп бутылкой, а Александру Меню уже в перестроечные времена — топо-

ром. Но опять-таки вспомним о достижениях химии. Бандера — синильная кислота, Хохлов — радиоактивный барий, зонтик, убивший болгарина Георгия Маркова, был заряжен пулей, отравленной веществом, называемым рицин. А еще была серия непонятных ожогов, от которых пострадали Александр Солженицын, французский профессор Жорж Нива, в Москве еврейский отказник Лев Рубинштейн, в Ленинграде — Илья Левин. Ожоги загадочные, а кто это сделал? И вот представьте себе, в свое время Солженицын, едва не умерший от ожога, предположил бы, что это дело рук КГБ, как бы отозвались наши доверчивые сограждане? Чокнулся писатель, крыша поехала, везде ему мерещится зловещая рука КГБ.

Об истории своего отравления я после тогдашних своих заявлений четырнадцать лет не поминал, но с тех пор, как открылись для меня вновь границы отечества и отменилась цензура, снова попытался привлечь к нему внимание. Рассказал сначала по радио «Свобода», потом в журнале «Искусство кино», потом в интервью «Известиям» и ждал, что КГБ как-нибудь отзовется. Не могут же они этого не заметить. Пусть ответят как угодно, хотя бы разразятся опровержением. Еще я надеялся, что кто-нибудь причастный в порядке личного раскаяния, по пьянке или иной причине позвонит, пришлет письмо, пусть даже анонимное. Ну хоть какой-то отклик должен же был быть. Но его не было.

Не оставляя своих попыток, я в журнале «Столица» (№ 2, 1992) писал:

«Тогда, в 1975 году, допрашивавшие меня наследники Дзержинского говорили, что они не такие, какими были чекисты сталинского образца. Нынешние наследники Андропова уверяют нас, что и они, в свою очередь, не такие, как те, которые травили диссидентов. Ну вот, если не такие, пусть раскроют хотя бы дело, о котором я рассказал. Пусть опубликуют необходимые материалы и ответят на такие примерно вопросы: Какая именно операция проводилась 11 мая 1975 года в номере 480 гостиницы «Метрополь»? Какие при этом применялись средства? Кто были ее организаторы и исполнители? Какую цель они ставили перед собой и чего достигли?»

Я прошу лично руководителя службы госбезопасности России и парламентские комиссии по контролю над этими службами не оставить мой рассказ без внимания, расследовать тот давний случай покушения на мою личность и обнародовать результаты расследования. Речь, подчеркиваю, идет, возможно, об опытах, которые не только представляли опасность для нашего общества в прошлом, но могут быть еще опаснее в будущем».

И на этот раз никакого отклика. Ну просто ни единого, кроме как от того же Евтушенко, который, как мне сказали, звонил главному редактору «Столицы» А. Мальгину и угрожал ему (почему не мне?) судом за клевету. Мальгин, очевидно, обеспокоенный этим звонком, написал в своем комментарии, будто я прозрачно намекаю на сотрудничество Евтушенко с «органами». На самом деле я пишу только то, что было, при этом меня, правду сказать, не очень-то занимает, состоял Евтушенко в каких-нибудь кагебешных списках или, как я уже сказал, сам от себя старался. Как говорит одна моя знакомая: мне не нужно знать, в каком отделе и в каком чине работает этот человек, и не нужно видеть его служебное удостоверение, когда весь мой организм им брезгует.

А все-таки почему же не ответили на мой такой прямой призыв наши новые (обновленные) «компетентные органы»? Не читают журналов? Не заметили этой публикации? Или решили, что речь идет о чепухе, не достойной ответа? Если бы они не считали себя ответственными за прошлое и прочли мою публикацию, то естественной их реакцией было бы проверить, не лишнего ли автор наворотил, и затем отозваться заметкой: факты подтвердились или не подтвердились. Но молчание, оно, как известно, золото и само по себе тоже кое о чем говорит.

Резолюция президента

В попытке найти инстанцию, которая мне поможет добраться до моего досье, я обратился к моему старому другу адвокату Борису Андреевичу Золотухину, который в Верховном Совете России занимал очень важную

должность (какую именно, я все забываю). А через его споспешество вышел на Сергея Михайловича Шахрая, в то время помимо выполнения прочих обязанностей контролировавшего КГБ или по теперешнему МБ (Министерство безопасности), причем контроль, как выяснилось, был мнимый.

Договорившись предварительно с Шахраем, я явился к нему на прием, но впереди себя послал 21 февраля 1992 года письмо, в котором просил оказать на КГБ-МБ воздействие, чтобы они рассказали, какая именно операция, кем и по чьему указанию проводилась со мной в гостинице «Метрополь» 11 мая 1975 года, и выдали мне все мое досье.

Признаюсь, на назначенную встречу я шел с очень большим волнением. Я, конечно, думал, что прав и добиваюсь правды, но все же время от времени и у самого закрадывалось сомнение. Ну, а все-таки, не показалось ли мне это на самом-то деле? Ну да, я, как мне кажется, не очень мнительный человек, и как-то не похоже, чтобы прямо так сразу мог помешаться ни с того ни с сего, но как-никак это был необычный и единственный для меня жизненный опыт. Может, и в самом деле страх, который сидел во мне глубоко, в котором я самому себе не хотел признаться, дал такую острую и незаурядную реакцию.

Вот, предполагал я с опаской, приду к Шахраю. Выйдет он в приемную, пригласит к себе в кабинет, а там на столе — толстая папка с подшитыми аккуратно листами. Откроет эту папку на нужной странице, а сам отвернется, испытывая неловкость от конфуза, в который приходится ввергать столь достойного и седого человека, как я.

Я прочту какие-то бумаги, из которых сразу станет совершенно ясно, что на самом деле не было ничего, кроме большого испуга.

Сесть в такую лужу было бы ох как неприятно, но я сам себе твердо сказал, что приму правду такой, какая она есть. Если бы даже выяснилось, что и в самом деле мне мое отравление примерещилось, это все равно не оправдало бы несколько подонков, угрозами доводящих мирных людей, пусть трусливых, слабых и мнительных, до сумасшествия или (как это случилось с некоторыми прямо на допросах) до инфаркта.

Но в лужу меня пока что никто не посадил. У Шахрая на столе никакой папки не оказалось.

— Письмо ваше я прочел, — сказал он мне. — И очень хотел бы вам помочь. Но дело в том, что я сам еще не видел ни разу ни одного досье. Буду рад взглянуть хотя бы на ваше. Но, чтобы добыть его, моего влияния мало. Тут нужен сам президент. Напишите короткое письмо Борису Николаевичу, а я ему передам. И если последует его резолюция, то уж ему отказать будет трудно. Тогда вы будете первым человеком, увидевшим свое досье.

Признаться, слова Шахрая меня удивили. Что ж это за контроль над КГБ, если человек, уполномоченный на это дело президентом страны, не может своей властью добыть одного досье.

Тут же в приемной Шахрая я написал короткое письмо Ельцину. И стал ждать с волнением и любопытством. Какотреагирует Борис Николаевич и еслиотреагирует в желательном для меня духе, то что станется после этого?

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мне позвонили из какого-то околопрезидентского кабинета и сказали, что есть — есть! — резолюция президента. Мне ее тут же прочитали по телефону, и вот она в том виде, в каком мне запомнилась: «В. П. Баранникову: Надо В. Н. Войновичу материалы показать».

Радости моей не было границ. Президент подписал, президент предписал, президент указал. Не кто-нибудь, а сам президент. Теперь они у меня не отвертятся.

Семнадцать лет спустя на том же месте

Наша история обогащается появлением в ней еще трех персонажей, нынешних работников того же самого заведения, которое теперь называется не КГБ, а МБ — Министерство безопасности (что в лоб, что по лбу). Пона-

чалу я не хотел называть имена этих людей, но не вижу возможности и необходимости этого избежать. Тем более что они были мне представлены официально и никаких услуг, достойных сокрытия, мне не оказывали.

16 марта в моей новой московской квартире раздался звонок:

— Владимир Николаевич, здравствуйте, с вами говорит сотрудник Министерства безопасности России Краюшкин Анатолий Афанасьевич. Мне поручено ответить на ваше письмо президенту. Я готов это сделать. Как, вы к нам приедете или я к вам?

Я сразу все понял. Если он ко мне, значит, придет с пустыми руками. А мне он пустой не нужен.

— Конечно, я к вам, — сказал я.

И вот опять приемная КГБ-МБ на Кузнецком мосту. Кажется, только номер дома изменился. Был 24, а теперь 22.

Принимали меня, естественно, двое. Сам Краюшкин (кажется, он начальник архива этого самого МБ) и младший, его заместитель Сергей Сергеевич Нагин, которого по молодости лет сослуживцы зовут просто Сергей.

На столе перед Краюшкиным лежала тонкая желтая папочка без какой бы то ни были надписи. «И это все?» — подумал я с невольным разочарованием. Вспомнилась строчка из стихотворения Степана Щипачева о датах рождения и смерти: «...И краткое тире, что их соединит, в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит».

Тут же папочка была развернута, и за нею открылись две бумаги, которые воспроизведем полностью.

Вот первая:

секретно

(гриф секретности)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления «З»

КГБ СССР

(должность)

(звание)

(фамилия) (подпись)

«24»-X-1990 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении архивного дела оперативной разработки № 34840 «27» сентября 1990 г. Я, начальник отдела действующего резерва КГБ СССР <...> рассмотрев материалы архивного дела оперативной разработки № 34840 «ГРАНИН»

Нашел: ДОР «Гранин» заведено в 1977 году. В 1980 году «Гранин» с семьей выехал в ФРГ и Указом Президиума Верховного Совета СССР за свои действия за границей был лишен советского гражданства. В октябре 1982 года дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической и оперативной ценности не представляют.

Постановил: ДОР № 34840 «Гранин» в десяти томах (тт. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) уничтожить, как не представляющие исторической и оперативной ценности.

«СОГЛАСЕН» Начальник 8 отдела Управления «З» КГБ СССР

(подпись)

(фамилия)

Всего лишь один лист бумаги. И так мало текста. А как много он говорит! Три начальника над этой бумагой работали — один составлял, другой подписывал, третий утверждал. Как фамилия? — хотел бы я узнать про каждого, но фамилий нет ни одной. Аккуратно (не очень) вымараны. В самом низу охвостья еще каких-то недотертых подписей и только одна сохранилась закорючка, похожая на целую подпись.

Есть вопрос: почему Гранин? Существует же настоящий Даниил Гранин, почему они мне дали его имя, а не, допустим, Бондарева или Распутина или кого еще. Почти всем, кому я потом эту бумагу показывал, приходила в голову близлежащая шутка, что Гранина они, очевидно, называли Войновичем.

Одного даже взгляда на эту бумагу достаточно, чтобы заметить, насколько она лжива. Как ни странно, именно это меня и обрадовало. Если в бумаге ложь по мелочам, то, может быть, и главное утверждение об уничтожении дела тоже ложно.

Следующее постановление на таком же стандартном бланке написано от руки, странным, неестественным и, может быть, даже специально обработанным почерком. Здесь правый верхний угол вообще убран — никаких грифов, утверждений, званий и фамилий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении оперативной подборки № 26189 «20»-VIII — 1991 г. Я, нач. 1 отделения 8 отдела Управления «З» подполковник <...> рассмотрев материалы оперативной подборки № 26189

Нашел: ДОР ОП № 26189 заведена в мае 1989 года, систематизированные в ней материалы не представляют сегодня ни оперативной, ни исторической ценности (как-то, в основном, материалы радиоперехвата).

В ОСК: Войнович Владимир Николаевич по спецподборке № 26189

Постановил: ОП № 26189 в четырех томах (тома № 1, 2, 3, 4) уничтожить путем сожжения. Постановление и акт об уничтожении направить в 10 отдел КГБ СССР для снятия с учета

(подпись)

«СОГЛАСЕН»

(должность, отдел — управление, звание)

Фамилия составившего документ подполковника затерта, но внизу, где должна быть подпись составителя, стоит знакомая закорючка. И она же на обратной стороне листа, где написано той же рукой:

АКТ

Мы, комиссия в составе нач. 1 отделения 8 отдела Управления «З» КГБ СССР подполковника Сергеева В. А., зам. нач. того же отделения майора Засорина С. В. и ст/о того же подразделения майора Калёкова Б. В. составили настоящий акт в том, что 20 (двадцатого) августа с. г. нами уничтожена путем сожжения оперативная подборка № 26189 в четырех (тома № 1, 2, 3, 4) томах.

Дальше подписи. На первом месте все та же закорючка, теперь ясно, что это — вышеупомянутый подполковник Сергеев. Его же подпись и у нижней кромки первого постановления.

Дело, однако, не в Сергееве (мне его фамилия ничего не говорит), а в соображении, которое у меня возникло чуть позже.

А пока, едва глянув на первый же документ, я сразу понял, что это попытка того, что в народе называется вешанием лапши на уши.

— Анатолий Афанасьевич, — сказал я, — вы что, проверяете мои умственные способности?

— А что такое? — спросил Краюшкин.

— Я не могу верить этой бумаге, потому что это самая настоящая липа.

— Почему вы так думаете? — Краюшкин напряженно улыбался, но изобразил готовность развеять мои недоумения.

Я ему объяснил, что здесь даты и те лживые. Дело на меня было заведено наверняка не в 1977 году, а значительно раньше.

Начиная с 1966 года я подписывал письма в защиту разных людей. В 1968 году получил за это строгий выговор в Союзе писателей. В 1969 году была опубликована первая часть «Чонкина», за которую в 1970 году был вынесен второй строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году я был исключен из Союза писателей. Неужели все эти события прошли мимо глаз и ушей КГБ?

Но если даже и так, то уж вот эта история с моим отравлением никак не могла оставить КГБ равнодушным. Пусть я сошел с ума, или мне показалось, или я все выдумал, но мною по этому поводу был устроен большой шум. Я собрал пресс-конференцию, говорил об этом во многих своих интервью, в том числе и записанном на магнитофон и тут же переданном на весь Советский Союз «Немецкой волной», подробный отчет об этом опубликовал в «Континенте». Фактически я обвинил КГБ в террористическом акте.

— Вы, — сказал я Краюшкину, — хотите, чтобы я вам поверил, что к таким обвинениям КГБ осталось совершенно глухо?

— Ну, возможно, на вас собирались какие-то отдельные материалы, но специального дела не было. Если вы нам не верите, у вас есть другая возможность высказать свои сомнения. Замминистра Василий Алексеевич Фролов готов вас принять и выслушать.

Краюшкин позвонил Фролову и договорился. Затем было высказано соображение, что перейти в другое здание лучше внутренним ходом, чтобы люди с улицы нас не видели. Не знаю, обычные ли это меры предосторожности или из прошлого опыта втягивания клиента. Сделать вид, что он вместе с ними и заодно делает что-то потайное, что от людей надо скрывать.

Тем не менее, мне было любопытно.

Прапорщик открыл своим ключом заднюю дверь, и из обыкновенного на вид учреждения в самом центре Москвы сразу попал я в тюремный двор с высоким забором, с батареей прожекторов наверху. Через двор прошли в новое большое здание КГБ, выстроенное рядом с самым главным. Пройдя по каким-то коридорам, оказались в просторной приемной, а потом и в самом кабинете замминистра с большими портретами Ленина и Дзержинского.

Невысокого роста седоватый человек лет пятидесяти, выйдя из-под портретов, протянул руку.

— Мне сказали, что вы чем-то недовольны.

— Я недоволен тем, что ваши люди с самого начала пытаются провести меня на мякине.

— А что такое?

— Я не верю, что мое дело уничтожено.

— Разве вам не дали постановление?

— Постановление дали. Но если оно лжет по мелочам, почему я должен верить, что оно не врет вообще?

— А почему вы думаете, что оно лжет?

Объясняя конкретно. Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться версии Краюшкина, и решает, что не стоит.

— Да, — говорит он решительно, — да, здесь, пожалуй, что-то не то. Какой здесь год? Семьдесят седьмой? Нет, конечно, что-нибудь должно было быть раньше.

— Ну да, — держится за собственную версию Краюшкин, — раньше какие-то материалы тоже могли на вас собираться. Но дело открыто не было. Просто, может быть, отдельные материалы время от времени собирались и складывались.

— А куда складывались?

— В какую-нибудь папочку.

— Но она, эта папочка, наверное, как-нибудь называлась?

— Почему вы думаете, что она обязательно должна как-нибудь называться?

— Разве у вас есть хотя бы одна папка, которая не имеет никакого названия?

Краюшкин дергается что-то сказать.

— Ну ладно, — останавливает его замминистра. — Ты же видишь, он все понимает.

— Правильно вы заметили, — говорю, — он все понимает. Во всяком случае кое-что понимает. Обмануть его, конечно, можно, но для этого надо как-нибудь постараться, а не так вот просто.

— Но, надеюсь, про меня вы не думаете, что я с вами хитрю?

— Как вам сказать? Откровенно говоря, я был бы очень удивлен, если бы на вашей должности обнаружил бесхитростного человека.

— Тем не менее лично я вас обманывать не собираюсь. Я вообще пришел из МВД.

— А разве вы не конструктор?

— Нет. А почему вы думаете, что конструктор?

— Так мне показалось. Но извините. Значит, вы пришли из МВД и что?

— Я пришел из МВД, и на мне грязи нет. И мне незачем скрывать те безобразия, которые здесь творились. И мы не скрываем. У нас нет никаких секретов.

В это утверждение я тоже позволил себе не поверить: секретная служба без секретов — это абсурд.

— Но я, — сказал я Фролову, — во все ваши секреты проникать не собираюсь. Меня в настоящий момент интересует только собственное досье. Если оно даже и правда уничтожено, то следы того, как КГБ работал со мной, должны оставаться в каких-то других документах.

Краюшкин иронически улыбается.

— Видно сразу, что вы не понимаете принцип хранения секретных документов. Секретные документы одного назначения, во избежание утечки, всегда складываются в одну папку, а не в десять.

— Да-да, — подтверждает чистый Фролов, — именно так. Всегда в одну папочку.

— Этого не может быть, — говорю я. — Никак не может быть. Каждое дело обязательно с другими делами так или иначе пересекается. Кроме того, есть какие-то побочные документы, распоряжения, например, направить на слежение за объектом «Гранин» таких-то людей (фамилии), выдать столько-то автомобилей (номера), выдать талоны на бензин (количество литров), выписать на отравление «Гранина» шестьдесят граммов крысиного яду. Или что-нибудь в этом духе. Что же я вас буду учить? Ну, например, вот комната в «Метрополе» номер 480. Ведь она где-то у вас в каких-то бумагах тоже фигурирует. Ее же снимали, оплачивали, оборудовали. Неужели все это было вложено в папочку «Гранин» и там стorerло?

Василий Алексеевич улыбается.

— Поверьте, здесь вас никто обманывать не собирается. Мы в прошлом не виновны и в сокрытии его не заинтересованы.

— Если не заинтересованы, поройтесь в ваших архивах или давайте я пороюсь. Уверяю вас, я очень быстро найду то, что нужно. А если не можете найти нужные документы, вызовите людей, о которых я написал, их-то, я надеюсь, вы еще не сожгли.

Тут и Фролов и Краюшкин оба замахали руками.

— Что вы говорите? Это же было так давно! Где мы этих людей найдем? Да они же наверняка представлялись не своими фамилиями (как будто я думал, что своими). А сколько им было лет? Ого! Да они, если даже и живы, давно уж на пенсии. Не только Петров, но и Захаров. У нас работа вредная, у нас рано на пенсию уходят. В пятьдесят пять лет. (Вот как им вредно было с нами работать. Им пенсию за нас дают рано, а нам за них нет.) Ну, где, где их искать?

Бесхитростный Фролов сделал честное лицо и изобразил ужимку, означающую, что он готов хоть сейчас лично отправиться в сложный поиск, но где же, где же ориентиры?

— Если вы сами не знаете, где искать этих людей, мне придется вам подсказать. Хотя мне даже неудобно. Я ведь никаких сыщицких школ не кончал. Это вы их кончали. Так вот найти этих мерзавцев можно многими способами, и первый, который мне, невежде, сразу приходит в голову: через отдел кадров. Там же личные дела ваших сотрудников хранятся или и их сожгли?

— Неужели все личные дела перебирать?

Даже для начинающего милиционера вопрос слишком наивен.

— Зачем же все? Я повторяю: главный из моих отравителей сказал, что он начальник отдела. Я думаю, что он в такой приблизительно должности и пребывал. Может, быть чуть-чуть повыше. Если вы попробуете выяснить, кто занимался диссидентами, кто занимался писателями и, в частности, мной в мае 1975 года, то в конце концов у вас останется одна, две, ну три, максимум, кандидатуры. Дайте мне фотографии, и я тех подонков обязательно опознаю. Я их очень хорошо помню.

В конце концов было обещано, что поиски будут продолжены, хотя и без особой надежды на положительный результат.

Мне ничего не осталось делать, как дать им возможность еще поискать. Хотя я, конечно, предполагал, что поиски зарытой собаки будут идти как можно дальше от места возможного захоронения.

Раз уж я сюда попал, я спросил, нельзя ли заодно поискать дело моего отца, который пять лет, с 36-го до 41-го, сидел. Тут они все трое охотно откликнулись; искать дело отца им гораздо приятнее, чем мое собственное.

— Но при этом вы, пожалуйста, не думайте, что одни поиски можно заменить другими и тем меня удовлетворить. Дело отца я бы очень хотел посмотреть, но мое собственное мне сейчас намного нужнее.

Да, да, поникли мои собеседники обреченными головами, они меня очень хорошо понимают.

Непоследовательный Сергеев

Нет, правда, всего лишь несколько строк, а смотришь на них — и, как на переводной картинке, проступает изображение. И чем дальше трешь, тем яснее.

От Лубянки до дома (у метро «Проспект мира») я шел пешком, по дороге разглядывал полученные бумаги, думал и понял, откуда взялся «Гранин». В 69-м году в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) была опубликована первая часть «Чонкина», отчего пошли первые крупные неприятности, откуда, конечно, и псевдоним. Значит, и дело должно было быть заведено примерно тогда же.

Вторая бумага тоже была интересной. Оказывается, новое дело (4 тома) было заведено во время моего первого приезда из-за границы. Я приехал в марте 89-го, пробыл здесь два месяца, и к концу моего пребывания они открыли новое дело, тем самым показав, как они понимали перестройку и какой демократии собирались служить. А я-то думал: надо же какая свобода! Что хочешь, то говори! Я тогда так расслабился, что в одном журнале спросил, а где тут у вас можно две страницы моей статьи скопировать? Они

сначала оторопели — эвон у иностранца какие привычки, копию ему надо сделать! — а потом засуетились: сейчас, сейчас, у Верченко подпишем, у Кобенко завизируем и — сколько вам копий? одну? две?

Я думал — свобода. По клубам выступал, по улицам ходил, язык за зубами не держал, и, оказывается совершенно напрасно, труженики невидимого фронта уже клепали на меня новое дело. Правда, в акте сожжения написано, что там, в основном, материалы радиоперехвата, но кто заподозрит чекистов, что они обязательно напишут правду? А что сказать о времени сожжения? 20 августа 1991 года, на второй день путча, сжигались бумаги только потому, что не представляют оперативной и исторической ценности? Есть ли на свете хоть один простак, который в эту глупость поверит? Я бы еще поверил, если бы 20 августа они жгли все подряд, но если выборочно, то, без сомненья, только то, что содержало самые жгучие их тайны. Речи по радио «Свобода» или мои выступления перед московской публикой 1989 года вряд ли были достойны первоочередного внимания.

А еще вот что. Псмните, кто подписал второе постановление? Подполковник Сергеев. А чья закорючка украшает постановление, вынесенное в сентябре 1990 года? Да все того же Сергеева. Значит, в 90-м году одно дело он уничтожил, а второе продолжал пополнять. Для чего?

Оставим этот вопрос открытым.

Придя домой, я позвонил Краушкину и сказал, что, по моим сведениям, псевдоним «Гранин» был мне придуман в 69-м году. Таким образом я хотел внушить ему мысль, что имею доступ к иным источникам.

Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?

— Вы попались! — сказал я Сереге, выделенному мне в качестве инстанции, через которую можно задавать вопросы и получать ответы.

— Что вы имеете в виду? — спросил он.

— Объясню. То, что вы мне будете говорить, я обязательно опишу. С максимальной точностью. То есть как вы скажете, так точно я и запишу. Вы при этом можете обманывать меня, сколько хотите. Но обмануть и меня, и всех читателей, вы же понимаете, вам не удастся. Значит, Сергей Сергеевич, что? У вас есть выбор из трех вариантов. Вариант № 1. Вы признаете, что я прав, и показываете мне соответствующие документы. Вариант № 2. Вы говорите, что я не прав, и мою неправоту подтверждаете документами. Разумеется, не фальшивыми, фальшивые в любом случае будут разоблачены. И вариант № 3, который вы уже задействовали. Вы будете врать, но тем самым докажете, что я прав. Вариант № 4 попробуйте сами избобрести.

Должен отметить, что Сергей Сергеевич человек умный, он понимает, что и я кое-что соображаю. И, помимо прямой полемики, вводит в оборот тонкий подтекст. Я, например, говорю, что мои отравители в связи с моим делом были наказаны. Он сразу улавливает, что здесь скрытано косвенное доказательство — раз наказаны, значит было за что. И, проведя, видимо, маленькое исследование, в следующий раз мимоходом бросает, что нет, они наказаны не были. Все мои соображения, как я понимаю, Серега честно переправляет по инстанции. А потом получает ответ и передает его в своей обработке.

Между прочим, дело моего отца, заведенное в 36-м году, отыскалось. Разыскать дело было трудно, но Серега, проведя большую работу, обнаружил его почему-то в Ташкенте. Хотя велось оно в свое время в Москве и в Душанбе. Где бы ни было, а все-таки не пропало. Оперативной ценности оно больше не представляет (объект операции следователям уже недоступен), насчет исторической не знаю, а почему-то все-таки не сожгли. Две папки документов были доставлены в Москву, и два дня в кабинете Нагина я с ними знакомился. Документы эти стоят отдельного описания, которое и будет исполнено за пределами этой работы.

Пока я читал документы и делал мелкие записи, Серега заваривал кофе (ничего туда, похоже, не подсыпая) и рассказывал мне о себе.

Родился он в 1956 году (как раз когда я приехал в Москву проживать-ся в писатели). Кончил (колlega) педагогический институт, лингвист (а не

конструктор), здесь занимался графологией, кроме того, был контрразведчиком, я не понял: сначала графологом, а потом контрразведчиком или наоборот. И где, кстати, он учился на контрразведчика? В пединституте или самообразованием постигал? Рассказывал о своей семье, от которой сильно оторван работой. Приходится очень много заниматься реабилитационными делами, поисками пропавших американских летчиков и много еще чем по принципу «никто не забыт, ничто не забыто». Домой приходит поздно, уходит рано, дети его совсем не видят, уже младший сын старшего папой зовет.

Говоря о семье, вдруг спохватывается и смеется: «Ах, да, я забыл, вам уже говорили: «Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?»».

— Да, — говорю, — правильно, именно так говорили. А еще говорили, мы, мол, совсем не такие, как раньше, мы вообще по профессии лингвисты-конструкторы и сюда попали случайно.

Так вот время проводим в шутках.

О недавнем прошлом своей организации Серега сокрушается. Был здесь всего лишь один очень плохой отдел, а из-за него у всего КГБ такая ужасная репутация. Ну те «орлы», из 5-го Управления, примитивные были люди, топорно работали и грубые слова говорили. А ведь словом можно убить человека.

— Ну да, — говорю, — можно словом. Но еще надежнее бутылкой. Как например, Константина Богатырева. Вы слышали про Богатырева?

— Нет, не слышал.

Иногда сам, между делом, интересуется подробностями моей биографии: «А у вас за границей с ЦРУ не было контактов? Правда не было?»

Иногда он мне советует про все просто забыть.

— Что было, то было, — говорит философски, — чего там зря прошлое ворошить?

— Понимаете, Сергей Сергеевич, — пытаюсь я объяснить. — Многие люди всегда меня считали честным и правдивым человеком. За что мне иногда приходилось претерпевать разные жизненные невзгоды. За это же ваши люди меня отравили да еще подрывали мою репутацию, изображая меня чокнутым и лгуном. А мне моя репутация так дорога, что я уступить ее вам никак не могу.

Кроме встреч в кабинете, мы время от времени переговариваемся по телефону. Серега всегда начеку:

— Владимир Николаевич, а что это у вас там в телефоне шуршит? Вы магнитофон, что ли, включили?

— А почему это вас беспокоит? Вы же со мной не тайно разговариваете.

Тайно не тайно, но бдительность не ослабляется. Поскольку мы на время связались одной веревочкой, я решил пригласить Серегу на свой телевизионный вечер в Останкино. Он пригласительный билет взял, но не пришел. Я спросил — почему. Серега честно объяснил: начальство не рекомендовало. Поскольку выступающий известен своим вздорным характером (даже о том, что его отравили, не может никак забыть), от него можно ожидать любой экстравагантной выходки. А вдруг, впериw свой взор со сцены и выставив вперед указательный палец, завопит: вот он, кагебешник проклятый, тащите его и вяжите. И это при всем народе, при свете юпитеров, под прицелом всех телекамер...

Что касается магнитофона, то я, правда, его не включаю. Мне играть в шпионы не интересно, да и не нужно. Маленький диктофон я приношу на Лубянку, чего не скрываю. Переписывать отцовское дело трудоемко, я кое-что наборматываю на пленку.

Через пару недель после нашей первой встречи в КГБ Серега принес мне домой вот что:

СПРАВКА

1 октября 1973 года 5 управлением КГБ СССР было заведено дело оперативной проверки № 3385 на Войновича Владимира Николаевича.

Материалы этого дела 3 марта 1977 года приобщены к вновь заведенному делу оперативной разработки № 11049 на Войновича В. Н.

Указанное дело оперативной разработки в 10 томах уничтожено 10 января 1991 года управлением «З» КГБ СССР.

Центральный архив Министерства
безопасности Российской Федерации (круглая печать)

«31» марта 1992 года

Подписи — никакой.

Чуть ли не всю жизнь у меня была репутация человека доверчивого, иногда даже слишком доверчивого, а тут восстал во мне Станиславский и говорит: не верю!

С 1966 года, повторяю, подписывал я всякие письма, в 68-м толкся среди диссидентов у здания, где судили Гинзбурга и Галанскова, в том же году стал одной из жертв идеологического постановления ЦК КПСС, когда были запрещены все мои вещи и по всей стране (в некоторых случаях с большим скандалом) закрывались спектакли по моим пьесам. В 70-м году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея Амальрика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира. В 69-м году в «Гранях» был напечатан «Чонкин», в 70-м я за это получил строгий выговор. Неужели все эти годы никакой материал на меня не собирался и ни в какую папочку не складывался? Это в нашем-то полицейском отечестве?

Но сомнений в данных, отраженных справкой, я ее составителям решил не выражать. Главным моим интересом было все-таки отравление в «Метрополе».

3 апреля я записывал свое телевыступление перед публикой в студии Останкино, а 4-го уехал в Германию.

Приехав через месяц, опять знакомился с делом отца и этой частью работы удовлетворен полностью. В это же примерно время на приеме у английского посла встретил Вадима Бакатина. Спросил его, думает ли он тоже, что дело мое сожжено, он сказал: «Да, да, я сам лично проверял, ваше дело действительно уничтожено».

Может быть. Хотя, насколько мне известно, Вадима Викторовича в бытность его председателем КГБ подчиненные обманывали так же, как меня. Может быть, чуть потоньше. Дело можно сжечь и прах его развеять по ветру, но все следы преступления убрать невозможно, их должно быть слишком много.

«Вам показалось»

Во время работы с делом отца Серега сказал мне, что меня скоро пригласят к начальству, кое-какая работа проделана, люди, о которых речь, разысканы, оба живы-здоровы, один последние годы служил в Караганде, там дослужился до генерала, вышел на пенсию, другой продолжает нести свою службу, он допрошен, все полностью выяснено.

— И что именно выяснилось? — спросил я.

— Владимир Николаевич, вам все скажут, но что касается того дела, то теперь ясно, — разводит руками и улыбается, — вам просто показалось.

— Правда? — Один человек (будет скоро назван) еще в 1976 году убеждал меня, что мне показалось, но он был детектив-любитель, а Серега, хотя и с педагогическим образованием, ничего не скажешь, профессионал.

— Конечно, показалось, — говорит Серега, улыбаясь смущенно. — Это понятно, Владимир Николаевич. В такой ситуации любому могло показаться. А впрочем, что я буду говорить. Скоро вы во всем сами убедитесь.

Я не стал спорить. Решил подождать. Повторяю, я был готов узнать и подтвердить любую правду. Сразу бы не поверил, но, поверив, отрицать бы не стал.

Чаепитие на Лубянке

Вот, наконец, Серега позвонил и сказал, что руководство ждет меня в понедельник 8-го июня.

В понедельник я придти не мог, был в Риге. Вернулся во вторник 9-го. Позвонил Краюшкину. Оказалось, он и есть руководство. Договорились встретиться. В два часа я подошел к пятому подъезду, где меня ждал Нагин. Прошли в кабинет Краюшкина, просторный, с длинным столом для совещаний, с теми же портретами Ленина и Дзержинского на стене.

Мрачный не улыбочивый майор, очевидно, секретарь Краюшкина, принес нам по чашке крепкого чаю. Я подумал, не предложить ли из озорства Краюшкину поменяться чашками, но решил этого не делать, понял, что шутка будет воспринята слишком всерьез.

— Ну вот, — торжественно прижмурил глазки Анатолий Афанасьевич, — мы для вас, Владимир Николаевич, поработали и вот что нашли.

На этот раз в папке лежала уже целая пачка бумаги, листов, может быть, тридцать. Какие-то выписки, которые Краюшкин хотел мне прочесть вслух, но потом дал все же в руки, хотя переписывать не позволил. Выписки были, как я понял, из ежемесячных отчетов, очевидно, этого самого пятого управления КГБ высшему руководству.

Времени на прочтение их у меня было немного, к тому же два собеседника сидели над душой и не уставали мне что-то рассказывать (Краюшкин о том, как во времена застоя спасал своего бывшего учителя от наказания за то, что тот одобрительно отзывался о загранице), так что изучить читаемое не было никакой возможности, да, впрочем, это было и не столь интересно.

В выписках много того, что в народе называется туфтой. То есть заведомое преувеличение объема и качества проделанной работы. В данном случае для того, чтобы удовлетворить начальство, надо представить ему, с каким важным и опасным врагом они имеют дело. Например, сообщается об усилиях по раскрытию псевдонимов, под которыми я печатался на Западе, хотя я ни на Западе, ни на Востоке никогда псевдонимами не пользовался, не считая очень короткого периода в 1959 году. Тогда, работая в многотиражке «Московский водопроводчик», я часто подписывал свои фельетоны фиктивными именами или именами своих друзей. (Наиболее часто употреблялся псевдоним «О. Чухонцев», после чего иногда приходили опровержения типа: «Товарищ Чухонцев не вник, товарищ Чухонцев не разобрался, товарищ Чухонцев пренебрег мнением партийного руководства». Я пересылал эти отзывы Олегу Чухонцеву и на редакционном бланке писал, что если товарищ Чухонцев не сделает определенных выводов, редакция будет вынуждена от его услуг отказаться.)

Отчеты общие. В некоторых случаях моя фамилия (вернее, кличка) должна стоять рядом с другими, но вместо других — многоточия. Выглядит это примерно так: «...марта «Гранин» встречался с... и имел с ним беседу о...». Впрочем, вот и реальная фамилия упомянута, а я ее вымышленной заменю, ну, допустим Коробкина.

Я сначала удивился, что еще за Коробкина?

Потом вспомнил.

Глаза. глаза, везде глаза

Если не ошибаюсь, в 74-м году пришло (с оказией, естественно) известие от Наума Коржавина, что в Москву с коротким визитом прибывает Беатрис Коробкина и ее следует принять хорошо. Сочетание имени и фамилии меня заинтриговало, я стал ожидать не то чтобы с нетерпением, но с любопытством, представляя себе некую тощую старуху из первой эмиграции, нет, конечно, не княгиню и не графиню (титулованных особ с такими фамилиями не бывает), но, может быть, вдову какого-нибудь денкинского или врангелевского полковника (почему-то именно полковника), говорящую на хорошем старомодном русском языке с американской интонацией.

Потом был междугородный звонок и несмелый мужской голос: «Чи вы нэ знаете, когда приедет тетя Триша?» На мой вопрос, а кто ее спрашивает, было отвечено: «Родичи с Армавира».

Теперь воображаемый образ Беатрис слегка сместился в сторону вдовы какого-нибудь казачьего есаула.

Впрочем, я ни о какой Беатрис не думал, когда в телефонной трубке возник однажды сильный и встревоженный женский голос, который сказал:

— Володья, я есть Триша. Хади на мена.

В тон ей я спросил:

— Куда на теба хадить?

— Хотел Юкрэйн.

— Кто хотел? — не понял я.

— Хотел Юкрэйн, — повторила она, и я, слегка поднапрягшись, понял, что «хотел» это отель, а Юкрэйн — «Украина», куда меня и просят прийти как можно скорее.

Я приехал на такси, поднялся на какой-то этаж, нашел нужную комнату, там было несколько американок и среди них одна, лет сорока, высокого роста и совершенно невероятных объемов, какие были нередки среди американцев в те времена, когда они в огромных количествах пожирали поп-корн (особенно в кинотеатрах) и еще повально не озаботились подсчетом калорий на этикетках.

Не знаю, то ли я ей был предварительно отрекомендован как свой человек, то ли состояние было такое, но Триша кинулась ко мне, словно к родному:

— Ой, Володья, я так не уметь, я так не хотеть. Тут везде глаза. Глаза, глаза, везде глаза.

Что еще за глаза? Оказывается глаза, которые смотрят на нее из всех углов.

О, Боже! — подумал я. — Не успела приземлиться, а уже мания преследования.

Было странно, что такое большое существо и так беспокоится о каких-то глазах.

Триша приехала на неделю с группой туристов, и я стал ее успокаивать, что как члена группы ее никто не посмеет тронуть. Это был бы слишком большой международный скандал.

Потом предложил ей поехать к нам.

Она вытащила из-под кровати две огромные сумки с застежками-молниями, одна сумка, синяя, была для нас и наших друзей, а другая, черная, с нарисованным на ней тигром, для родичей «с Армавира».

В гостинице «Украина» лифты просторные, но в дневные часы набиты бывают битком. И в нашем, пока мы в нем спускались, уплотнение с каждым этажом нарастало. Триша, оказавшись зажатою посередине, с откровенной подозрительностью разглядывала всех стоявших вокруг нее.

Не оставила своим подозрением и шофера такси, который нам тут же попался, как только мы вышли наружу. Он оказался лихач, каких за пределами нашей страны я потом ни разу не встречал. Он так несся по всей Москве и с таким визгом лысых шин поворачивал, что Триша приняла его за коммунистического камикадзе, который решил сам погибнуть, но и эту представительницу американского империализма угробить (я в этом раскладе вообще был не в счет). Не желая смириться с уготованной участью, Триша всю дорогу визжала и хватала меня за руку.

Дома из содержимого синей сумки, вываленного на пол посреди моей комнаты, образовалась целая гора всякого барахла, где, кроме прочего, было несколько норковых шкурок. Кто-то из новых эмигрантов, желая помочь материально своим выехавшим родственникам или друзьям, открыл, что шкурки, которые стоят в Америке три доллара штука, можно с большим прибытком продавать здесь. Наум Коржавин значительную часть своих скромных доходов тратил тоже на эти шкурки, посылал детям и друзьям, в их числе и нам, которые по его представлению нуждались в материальной поддержке. Принимать это барахло было неловко, а что делать, если власть обрезала все пути к легальным заработкам и копящую руку голода избрала одним из главных своих помощников в борьбе с инакомыслием?

Писатели, художники или ученые (иногда выдающиеся), отстраненные от всех возможностей заработать на кусок хлеба, принимали подарки, а по-

рой и собственные гонорары (которые официально не проходили) разными вещами, как то приемники, магнитофоны, часы, калькуляторы, ну, и носильные вещи, стыдясь своего униженного состояния и становясь потом жертвами фельетонистов, измывавшихся над отщепенцами, что продают родину за джинсы, дубленки и даже (как было написано про Юрия Орлова) за кальсоны.

Был период (ж счастье, короткий), когда мы тоже получали подарки для продажи через комиссионку, но потом у меня оказались какие-то (даже приличные) гонорары в долларах, которые я обменивал на рубли по тогдашнему (назавшемуся очень выгодным) «черному» курсу один к четырем, так что потом все диссидентские годы мы нужды не знали и за чужой счет не жили.

Триша рассказала, что в аэропорту содержимое ее сумок было осмотрено очень тщательно, каждую тряпку таможенники подробно прощупывали, но бывшего при ней письма от Коржавина не нашли. Теперь оно было вручено адресату, то есть мне, и из него я узнал, что Триша — жена Вани Коробкина, простого русского мужика, который в свое время сапожничал в Армавире, а теперь тем же самым занимается в Бостоне. А в промежутке были война, плен, власовская армия, лагерь перемещенных лиц и перемещение в Америку, полное приключений. (Тогда, между прочим, прочтя коржавинское письмо, я и подумал: вот она, возможная судьба Чонкина.)

Ванино власовское прошлое, наверное, и было причиной внимательно-го наблюдения за Тришей.

Триша была учительницей в средней школе и получала зарплату по тем временам хорошую — семьсот долларов в месяц. Ваня тоже зарабатывал неплохо. У них был свой дом, две машины и... она охотно перечисляла свое имущество, в котором очень важное место занимала почему-то софа.

Все русские сумасшедшие. Ваня говорит: хочу на родину. Прогоним коммунистов, сразу вернусь домой.

Она говорит: куда ты вернешься, куда поедешь? Здесь у тебя дом, машина, софа, а там что?

У меня к тому времени была описанная в «Иванькиаде» двухкомнатная квартира, хорошая, некоторые американцы говорили, что такая на Манхэттене стоила бы (тогда) сто тысяч долларов.

— Сколько комнат? — спросила Триша. — Два? — И сделала презрительную мину. — У меня восемь. Два левела¹, восемь комнат.

Она никак не могла понять этих русских и меня спрашивала:

— Володя, почему вы не захочешь иди на Америка?

Я ей объяснял (не очень серьезно): родина, родная речь, березки. Она фыркала: «Думаешь, в Америка нет березка. В Америка есть все. В Америка есть дуб, есть секвойя, палма, береза, все есть».

Ей не нравилась группа, с которой она приехала, ее не интересовала программа, предложенная Интуристом: Кремль, ВДНХ, Елоховский собор, Архангельское, Загорск и что-то еще. Кроме того, каждый выход за пределы нашей квартиры давал новую вспышку мании преследования. Но, проведя у нас целый день, она успокаивалась и мягчела. На ночь я отвозил ее в гостиницу, а утром, когда приезжал, она выскакивала из номера в ужасе. Опять ей мерещились «глаза, глаза, везде глаза».

На третий день после ее приезда появилась и представительница «родичей с Армавира», дочь Ваниного брата Нина, молодая блондинка в лыжном костюме, с комсомольским значком на плоской груди.

Сумку с тигром Триша Нине почему-то сразу не отдала. Но днем они вместе ходили в магазин «Березка», где для Нины и ее семьи была закуплена уйма разных подарков, в том числе и книга «Мастер и Маргарита», в то время мало кому доступная. Потом уже у нас дома Нина с вождением перебирала покупки, а «Мастера и Маргариту» протянула мне: «Возьмите, это нам не нужно».

Недооценивая тетины познания в русском, Нина говорила прямо при ней: «Она некультурная. Ничем не интересуется. На выставку достижений не хочет, в метро не идет...»

Триша смотрела куда-то в сторону, словно не слушала и не слышала, но вдруг вставляла: «Сабвей из сабвей»...

¹ Level — уровень (англ.).

Нину эти вставки не смущали, она продолжала обсуждать недостатки Триши при ней, словно она глухая.

— Ничего не хочет. Она ж училка, ей предлагают школу образцовую осмотреть, шо вы думаете? — отказалась...

— Скул из скул, — пробурчала Триша.

— Они вообще отсталые, — продолжала Нина. — Дядя Ваня тоже совсем чеканулся. В Бога верует, вы представляете?

Триша вдруг заволновалась, вызвала меня в коридор и возбужденным шепотом спросила:

— Володья, што, Нина тоже есть камьюнист?

Я сказал, что да, это вполне возможно. Она в ужасе всплеснула руками. Я спросил: «А что вас удивляет? Разве вы не знали, что в этой стране есть коммунисты?» «Ай-яй! — Триша схватилась за голову. — Хочу летай дом, Америка, Бостон».

Вечером Нина уезжала назад в Армавир. Когда пришло вызванное такси, я, собравшись помочь Нине, взялся за две сумки, но Триша вдруг подскочила ко мне и сумку с тигром вырвала.

— Разве это не для Нины? — спросил я.

— Нет, нет, — сердито сказала Триша, — это не для Нина, это я знаю, для кто.

Возникло некоторое замешательство. Усадив Нину в такси, я поднялся к себе и услышал от Триши, что она не хочет таскать через океан вещи для коммунистов и просит меня отдать их кому-нибудь из диссидентов.

В ту же ночь в гостинице у нее разыгрался тяжелейший приступ астмы. Должно быть, на нервной почве. Ира по ее звонку приехала к ней, вызвала врача, тот явился с огромным шприцем. Триша следила за его действиями с ужасом, предполагая, что сейчас ей вклят цианистый калий или проколут этим шприцем насквозь.

Уколы (их было несколько) давали только временную передышку, состояние больной ухудшалось. Она уже не могла к нам ездить, но и в гостинице оставаться боялась. Поэтому Ира, оставляя ребенка со мной или с бабушкой, приезжала к Трише, дежурила у нее в номере. Накануне отлета я пришел к ней, она, лежа на спине, задыхалась, закатывала глаза и вообще была синяя. Я спросил, может быть, попробовать переменить билет на более позднюю дату. «Ноу! — просипела она в ужасе. — Мэйби я умрай, но я умрай ин американская аироплэйн».

Потом я часто рассказывал о смешной толстой¹ американке, которой по приезду в Москву всюду мерещились «глаза, глаза», а теперь, читая гебистские отчеты, узнал (но не удивился), что мерещенье это было прямым отражением яви.

Лицо Жар - Птицы

В тех же, кажется, выписках мелькнуло один раз имя другой американки Викторией Шандор, я и в этом случае не сразу сообразил, о ком речь. А когда сообразил, вспомнил, как вскоре после метропольского приключения кто-то из знакомых передал салатного цвета и не нашего производства тонкую книгу, на обложке которой была фамилия автора — Алла Кторова и название «Лицо Жар-Птицы». Я тоже думал, старая эмигрантка, а прочтя, увидел, что это о нашей если не сегодняшней, то вчерашней московской жизни, тонко, со вкусом, с деталями, нюансами и с ностальгией по улице Соломенной сторожки.

Я прочел книгу, написал несколько одобрительных строк автору, получил радостный ответ, а вскоре объявилась и сама Алла Кторова (настоящее имя Виктория Качурова), женщина по тем временам необычной и романтической судьбы.

В пятидесятых годах, будучи переводчицей Интуриста, она встретила, полюбила и была полюблена известным американским летчиком, героем

¹ Несколько лет спустя, оказавшись в Бостоне, я встретил Тришу и не узнал. Она долго держала диету, что ей пошло на пользу во всех отношениях, даже и в отношении астмы.

войны, с большими трудностями оформила брак и с огромным скандалом покинула родину, по которой всегда скучала. Теперь явилась с подарками, с письмом Косте Богатыреву от Романа Якобсона (который знал адресата с момента его рождения в Праге пятьдесят лет назад), с желанием общаться со всеми моими друзьями и с просьбой пригласить в гости друга ее детства Шуру Межирова.

По случаю приезда столь именитой гостьи был, конечно, закачен пир горой с присутствием постоянных участников наших застолий Сарновых, Корниловых, Богатыревых, моего нового друга Вали Петрухина и — по желанию гостьи — поэта Александра Межирова.

О Вике все уже были весьма наслышаны и теперь расспрашивали наперебой, как и где она нашла этого летчика, сколько в ее квартире комнат, какой длины у нее машина и неужели правда, название ее улицы состоит из одной буквы «О»?

Костя радовался письму не забывшего его Якобсона (которого между тем, как и всех прочих структуралистов, называл говноедом), был восхищен знакомством со столь необыкновенной иностранкой, выражал желание продолжать общение путем переписки и, будучи в ударе, рассказывал свои «швейковские» истории, которые с ним случались не реже, чем с Гришкой Агеевым.

Одна случилась сравнительно недавно: ему вдруг пришла из военкомата повестка: явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой (и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить под психа»:

— Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате всегда перед стенгазетой, как перед зеркалом, причешусь.

Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и наконец явился в кабинет психиатра:

— Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: — Только не вздумайте строить из себя психа. — А я, говоря, и не думаю. — Она смягчилась: — Садитесь, на что жалуетесь? — Ни на что не жалуюсь. — А почему у вас руки дрожат? — А руки, говорю, у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни. — Вас? К смертной казни? За что? — За террор, говорю. — Что вы выдумываете? Какой еще террор? — Террор, объясню, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. — И вы кого-то убили? — Нет, я только собирался убить Сталина. — Она, как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: — Значит, вы не хотите ехать на терсборы? — Терсборы? — переспросил я в ужасе. — Это что же? Сборы террористов? — Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: — Идите, вы свободны. — Так я на терсборы и не попал и только потом узнал, что это территориальные сборы.

После Костиного рассказа начался всеобщий галдеж, а Межиров вполголоса стал мне рассказывать о своей поездке в Индию и о том, как, будучи в Дели, купил журнал «Континент» и в гостинице прочел, не отрываясь, мой рассказ об отравлении в «Метрополе».

— Я, — сказал он, как всегда заикаясь, — б-был просто п-п-потрясен. Замечательно написано, удивительная ты-ючность деталей. И вы знаете, что я п-понял?

— Что? — спросил я нетерпеливо, готовый услышать ослепительную догадку.

— Я п-п-понял, что ничего этого не было.

— Как не было? — удивился я. После всех высказанных похвал вывод был слишком уж неожиданный.

— А вот так, не было.

— Вы хотите сказать, что я все это выдумал?

— Ни в коем случае. Вы ничего не выдумали, но у вас о-чень развито х-художественное воображение.

Тем временем общий разговор уже свернул на популярную и тогда тему, что в этой стране жить попросту невозможно, и госте были заданы вопросы, еще не подразумевавшие никаких серьезных намерений, но и не из праздного любопытства: а можно ли там жить на гонорары и трудно ли выучить английский язык, и действительно ли в Нью-Йорке большая преступность, и сколько приблизительно стоит подержанный кадиллак.

Гостя разволновалась и стала страстно всех убеждать:

— Не надо никуда ехать. Вы что? С ума сошли? У вас так хорошо! У вас такое глубокое эмоциональное, интеллектуальное общение! Вы этого нигде не найдете. Нигде, нигде. Ну, будет у вас там дом, машина, большой холодильник, но такого уровня общения вы не найдете никогда и нигде.

Богатырев был потрясен речью Вики и во многом с ней согласился, но, забежав ко мне на другой день, чтобы уточнить ее вашингтонский адрес, сказал:

— В чем-то она, конечно, права, и мне туда ехать не обязательно, но тебе об этом стоит подумать, потому что они тебя здесь убьют.

Недели через три после этого разговора его череп был проломлен тупым предметом, завернутым в ткань.

Под влиянием мнительности

Читая выписки, я нашел в них несколько докладов о принятии мер по недопущению моего общения с иностранцами и к воспрепятствованию передачи на Запад изготовляемых мною клеветнических материалов.

Насчет второго скажу чуть ниже, а общение с иностранцами они иногда предотвращали, и героем самого знаменательного случая был опять Евгений Александрович Евтушенко. Я не виноват, что это имя упоминается в моих записках столь часто, поэт наш сам в свое время постарался (и очень!) остаться в моей памяти таким, каким предстает на этих страницах.

Так вот. В 1979, если не ошибаюсь, году, летом, приехали в Москву именитые американские писатели Вильям Стайрон, Эдвард Олби, кажется, Джон Апдайк и кто-то еще — не помню. Я ими особенно не интересовался, поскольку знал, что они приехали не ко мне. Ира, Оля и я жили в это время на даче, они безвыездно, а я мотался туда-сюда. И однажды в Москве явился ко мне первый секретарь американского посольства Игорь Белоусович¹ и спросил, не могу ли я принять эту делегацию у себя дома. Конечно, я мог. Для меня такая встреча была не просто интересной, но и важной с точки зрения безопасности: признание иностранными знаменитостями как-то все-таки защищало меня от слишком уж грубых действий КГБ.

Я поехал на дачу, привез домой дочь и жену, был приготовлен ужин, назначенный на семь часов вечера, с нашей стороны явились все те же Корниловы, Сарновы, Петрухин. Мы сидели, как говорится, с мытыми шеями, а заокеанские гости запаздывали. В девять часов мы сели ужинать сами, а в одиннадцатом часу ввалилась большая компания американцев, я пытался понять, кто из них Стайрон, кто Олби, оказалось — никто. Узнаваемым оказалось только одно лицо — Игоря Белоусовича, а все остальные были его коллеги из посольства. На мой вопрос, а где же писатели, Игорь смущенно объяснил, что всех их увел Евтушенко. Он сказал им, что я бездарный писатель, плохой человек, вообще не заслуживаю никакого внимания, увез их в Переделкино и ночью на могиле Пастернака при свете луны поил гостей водкой и читал, завывая, стихи, свои, а не Пастернака.

Бывали и другие случаи отваживания от меня иностранцев. С незначительными обращались попроще: одному прокололи шины, другому, встретив его в подворотне, обещали переломать ноги, одну итальянку (о ней ниже), не разобравшись, в чем дело, стукнули чем-то тяжелым по голове.

¹ Его вскоре обвинили в том, что он агент ЦРУ, и объявили персоной нон грата.

А вот доклады насчет передачи мною на Запад клеветнических материалов — это уж чистая туфта. Если они действительно старались воспрепятствовать передаче мною чего-то на Запад, им эту задачу за все годы ни единого раза выполнить не удалось и трудно понять почему. Изо дня в день они не спускали с меня глаз, днем и ночью за мной ездили по крайней мере в двух автомобилях с четырьмя пассажирами в каждом, следили за мной и за всеми, кто меня посещал. Тем не менее, я, будучи не очень-то ловким конспиратором, передал на Запад сотни разных материалов, своих и чужих, и всегда беспрепятственно, сам удивляясь тому, что так все выходит. Один только роман Василия Гроссмана (больше тысячи страниц) я переправлял за границу трижды. Почему они ни разу не предотвратили подобную переправку, представить себе не могу, при всем моем низком мнении о них мне не казалась такая задача для них непосильной.

Отчеты о том, как они со мною боролись, напомнили мне давнюю историю, которую я, может быть, где-то уже пересказывал. Сто с лишним лет тому назад революционер-народник Петр Алексеев после десятилетней каторги отбывал в Якутии ссылку. Однажды в тайге, на пути из одной деревни в другую, он встретил двух якутов, которые убили его с целью грабежа. Преступление оказалось бессмысленным: в заплечном мешке Алексеева не было ничего, кроме краюхи хлеба. Тогда, чтобы извлечь из совершенного дела хотя бы косвенную выгоду, убийцы (они были, конечно, поэтами) сочинили песню, как в дремучем лесу встретили страшного русского богатыря, вооруженного до зубов и, подобно дракону, изрыгающего огонь. Как вступили с ним в неравную схватку и в конце концов одолели. Они исполнили свое сочинение, переходя из деревни в деревню. В одной из деревень полицейский инспектор, послушав песню, тут же арестовал сочинителей по подозрению в убийстве. В котором они вскоре признались уже в прозаической форме.

Подобным же сочинительством всегда занимались чекисты, и в моем случае тоже.

Но вот, наконец, дошел я до самого главного. В отчете за май 75-го года сообщается, что «Гранин» был вызван для бесед (множественное число), во время которых обещал изменить свое поведение и даже принял меры к приостановке какой-то своей публикации. А дальше цитата (я позволил специально Нагину и попросил продиктовать мне дословно самый для меня важный абзац): «Гранин» под влиянием своей мнительности, под воздействием Сахарова сделал заявление западным корреспондентам, в котором искажено изложил содержание бесед с ним оперработников. Материалы доложены руководству КГБ и управления».

Не знаю, возлагали ли мои собеседники на этот абзац какие-то надежды, если возлагали, то зря. Потому что абзац ничего не опровергает. Во-первых, никакого воздействия Сахарова на меня не было, наоборот, в данном случае я на него и на Елену Боннэр воздействовал, попросив на их квартире собрать пресс-конференцию. А что касается моей мнительности, то даже здесь сказано, что я всего лишь искажил содержание проведенных со мною бесед. Пусть будет так. Я стенограммы не вел, записывал все по памяти, был, допуская, не везде и не совсем точен. Но ведь речь идет не о точности передачи бесед, а совсем-совсем о другом. Я этих людей называю преступниками, я их подозреваю в покушении на убийство или по крайней мере в попытке превратить меня в калеку. Но об этом нигде ни единого слова нет.

Когда я высказал свое отношение к этому тексту, Краюшкин почему-то занервничал и даже попробовал меня немножко пошантажировать.

— Вы, конечно, можете держаться своей версии, я вас ни в чем не пытаюсь переубедить. Можете печатать, что угодно, но ведь и мы могли бы кое-что напечатать.

— Что именно?

— А вот, например, то, что вы обещали изменить свое поведение.

— Ах, это! — сказал я. — Ну, во-первых, это ложь. Я обещал изменить свое поведение, но только при условии, что власти изменят свое. Кроме того, если бы и обещал, было бы не стыдно. Стыдно было бы сдержать обещание.

Это нервничанье и попытка шантажа доказывают, по крайней мере

косвенно, что старые секреты нынешним чекистам все-таки раскрывать очень не хочется.

На этом маленьком столкновении наш спор обесмыслился. Никаких достойных доверия доказательств моей неправоты мне представлено не было, а без них о чем же спорить?

В связи с тем, что скатился

Я уже собрался уходить, несолоно хлебавши, унося с собой лишь некие новые соображения, когда Краюшкин меня остановил:

— А все-таки мы вам кое-что дадим.

Он опять раскрыл ту же папку и вручил мне вот это письмо.

Копия:
Секретно
экз. № 2

ЦК КПСС

5 апреля 1975

№ 784-А

О намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международного ПЕН-клуба

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация ПЕН-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности французским ПЕН-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с Сахаровым идею создания в СССР «отделения ПЕН-клуба». Он намерен обратиться в Международный ПЕН-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» ПЕН-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность — ДАНИЭЛЯ, МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «не обязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение ПЕН-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским ПЕН-центром, значится в числе прочих и фамилия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь актив-

ной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ поддерживает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ, НЕКРАСОВ, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана ЧОНКИНА», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской секции» «Международной амнистии», организованной в Москве ТУРЧИНЫМ и ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизии с официальной советской доктриной социалистического реализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ**

Не знаю, что думали они, готовя мне этот подарок, но он, мне кажется, стал достойным украшением нашей оперативной подборки. Во-первых, он мне напомнил о некоторых моих потугах насчет создания ПЕН-клуба, не пошедших, впрочем, дальше разговоров. Во-вторых, он показывает, насколько все советские инстанции снизу доверху занимались не только дезинформацией противника, но и друг друга.

Я помню уважительные слухи, что КГБ поставляет в ЦК так называемые «объективки», то есть беспристрастную информацию. Я в это никогда не верил. Я всегда знал, что феномен советской системы в том и состоит, что низы лгут верхам, верхи низам и сами от низов требуют лжи. Об этом можно судить даже и по приведенному письму Андропова. Пытаясь истолковать мои действия в наиболее выгодном для себя свете, он злонамеренность и серьезность моих действий сильно преувеличивает.

Хотя я в те времена говорил с разными людьми (не только с Сахаро-

вым, но и с Генрихом Бёллем) о создании ПЕН-клуба, мы все пришли к выводу, что дело это нереальное, и на том остановились.

У меня был приятель Игнаций Шенфельд, польский литератор, просидевший в советских лагерях семнадцать лет. До 68 года мы во время приездов его из Польши встречались несколько раз в Москве, а потом он эмигрировал на Запад, и я о нем долго ничего не слышал. Но в 74-м единственный раз он позвонил мне по телефону из Германии с советом печатать «Чонкина» в издательстве не Люхтерханд, а Шерц, которое больше платит. А Андропов из этого звонка сплел преступную связь с польским эмигрантским центром.

Но заглянем в конец письма.

«С учетом того, что Войнович скатился... мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера».

Если бы имелась в виду только беседа (пусть даже с угрозами), председатель КГБ и член Политбюро вряд ли должен был об этом кому-то докладывать. Тут важна заключительная строка: «Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ».

Вот это оно и есть!

Андропов предупреждает ЦК, что меры против меня будут приняты. Чтобы потом не было лишних недоумений. Решать вопрос о вызове в КГБ мог бы кто-нибудь и намного ниже Андропова. А применить против меня специальные меры террористического характера он сам никогда не решился бы. Об этом надо поставить в известность более высокое начальство и разделить с ним ответственность.

Доставшаяся мне копия сделана с экземпляра № 2.

Думаю, что номером два для Андропова был Михаил Андреевич Сулов, а первый экземпляр был послан человеку номер один, то есть лично нашему дороговому товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

Чужие дети растут быстро

Придя к неким доморощенным умозаключениям, я позволил своему другу, известному юристу, посвященному в мои поиски. Я спросил его, не считает ли он письмо Андропова косвенным доказательством моей правоты и того, что Андропов готовился к каким-то очень необычным мерам против меня. Мой друг сказал, что письмо интересное, возбуждает определенные подозрения, но доказательством все-таки не является. Предварительное извещение ЦК доказывает только, что мой предстоящий вызов считался важным событием, но, может быть, лишь потому, что я был к тому времени, как выразилась тогда же «Немецкая волна», «небезызвестным между тем человеком». Даже рутинный вызов меня в КГБ мог стать причиной некоего шума на Западе, о чем Андропов считал нужным предупредить ЦК.

— Допустим, — согласился я. — Но вот Андропов пишет, что дальнейшие меры относительно меня будут приняты в зависимости от моей реакции на вызов в КГБ. Как ты считаешь, это он написал просто так или действительно собирался принять меры и если да, то какие?

— Но тебя же выгнали из СССР. Разве это не меры?

— Ты думаешь, меня сразу выгнали?

— А разве нет?

Чужие дети растут быстро. Сколько раз читал про себя в газетах рассказы, как я рассердился, хлопнул дверью и немедленно отчалил на Запад, и с тех пор попрекаю всех, кто примеру моему не последовал. А на самом деле еще и после отравления меня пять с половиной лет выпихивали всякими способами, и в числе прочих самыми безобидными были регулярные визиты нашего придурковатого участкового, который спрашивал меня, почему я нигде не работаю, то есть угрожал обвинением в тунеядстве. На пять почти лет был выключен телефон, было прокалывание шин и еще много чего, включая нападение псевдохулиганов. В 1977 году в горах Бакуриани ко мне и моему другу физику Вале Петрухину привязались четыре человека, выдававших себя за местных греков. Началось со встречи в хинкальной,

с потчевания вином и тостами в честь дорогих гостей. Через два дня был затеян спор об идейной ущербности сочинений Солженицына (оказалось, что «греки», живя между скал, творчество Солженицына штудировали и очень внимательно.) Через три дня вечером на идеологической почве состоялась драка, из которой я вышел со сломанной ногой, но и «грекам» одного из своих пришлось увести под руки, сам он идти не мог. Я никогда в жизни не умел, не любил и не хотел драться, а тем более с применением подручных средств. Но эта драка произошла уже после моего отравления в «Метрополе», после убийства Кости Богатырева, после еще многих событий, которые меня очень ожесточили. Я знал, что передо мной не доморощенные хулиганы, а настоящие бандиты, которые не остановятся перед тем, чтобы искалечить меня и Петрухина или даже убить. И что наше возможное непротивление (на него они, очевидно, очень рассчитывали) было бы для них подарком, которого они не заслужили. Сюжет драки развернулся очень остро, и нападавшим вскоре пришлось подумывать, что дело у них казенное, а головы все же свои. И они с проклятиями удалились в темноту, — трое, ведя под руки одного. После этого меня физически никто не трогал, но случались нападения на тех, кто меня посещал, и на тех, кто посещал не меня. Итальянская славистка Серена Витали побывала в гостях у моего соседа Виктора Шкловского, а когда вышла и села в троллейбус, была стукнута по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету, при этом ей было сказано: «Еще раз придешь к Войновичу, совсем убьем». Для того, чтобы читателю этих строк были более или менее понятны условия моей тогдашней жизни, приведу еще один документ из своего эпистолярного наследия:

Министру внутренних дел СССР Н. А. Щелокову
писателя Войновича В. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 февраля с. г. к моим родителям в городе Орджоникидзе Днепропетровской области явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шел вместе с ним в милицию. Пока отец собирался, милиционер обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после очередного сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: «Это кто там лежит? Ваш сын?»

Затем отец, старик с большими ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском объявили ему, что 3 февраля я пропал и меня по всей вероятности нет в живых.

Через две недели после этого известия мать моя умерла.

Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников, живущих в разных городах Советского Союза.

Между тем никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4-го и 5-го февраля ко мне приходил участковый уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12 отделения милиции и тем шпиикам, которые круглосуточно толкуются в подворотне моего дома.

Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация и кто был тот недочеловек, который ее придумал. Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнуть его принудительному лечению как социально опасного.

Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя.

(подпись)

17 марта 1978 г.

Ответа от будущего самоубийцы я, конечно, не получил. Но мне было сделано много намеков, чтоб убирался подобру-поздорову, намеком был и организованный КГБ вызов из Израиля для меня и ближайших родственников, который я изорвал и выкинул в мусор, позаботившись, чтобы они это отметили.

В те времена меня навестила как-то некая еврейская активистка с вопросом, не желаю ли я написать какую-нибудь статью для самиздатского журнала «Евреи в СССР». Заодно рассказала, как ее вызывали в КГБ и угрожали, что посадят, если она не убавит своей активности. Я ей сказал, что статью сейчас писать мне некогда...

— ...А месяца через два-три почему бы и нет, если за это время вас или меня, или обоих еще не посадят.

— А вас-то за что? — посмотрела она на меня, оскорбившись, что я ставлю себя на одну доску с нею.

— А вас за что? — спросил я.

— Меня, — сказала она с большим самоуважением, — за то, что я хочу уехать.

— А меня за то, что я хочу остаться.

Но я сильно отвлекся, прошу прощения и возвращаюсь к моему другу-юристу, который, бывши свидетелем моей тогдашней жизни, удивился, что я не сразу после отравления уехал, но все же настаивал на том, что письмо Андропова ничего не доказывает. Ну, собирались принять меры, ну, передумали или отложили на после.

— Но материалы, которые ты собрал, — сказал мне мой друг, — приводят к другому, более серьезному доказательству. Представим себе, что тебя действительно всего лишь вызвали, поговорили, попугали и отпустили. Но ты вдруг устраиваешь такой скандал. Пресс-конференция на квартире Сахарова, открытое письмо Андропову, прямое выступление по «Немецкой волне», публикация в «Континенте». И вот тут уж я не могу поверить, чтобы столь серьезное обвинение не обеспокоило ни КГБ, ни ЦК. И не могу себе представить, чтобы из ЦК не последовало запроса Андропову, а Андропов не вызвал этих людей и не потребовал у них письменного отчета в том, что именно они с тобой сделали. Если твое отравление выдумка, то эти люди, вероятно, доложили бы, что с тобой проведена предупредительная беседа, но никакие специальные средства воздействия не применялись. Такой отчет мог быть не затребован только в том случае, если Андропов знал, что то, что ты пишешь, — правда.

Лапшу на уши

Переважив всю полученную мною информацию, я позвонил Сергею и спросил, как бы мне опять встретиться с Фроловым.

— Владимир Николаевич, — удивился Серега, — а вы разве не поняли, что Василий Алексеевич не хочет с вами встречаться?

— Нет, я не понял. А почему же он не хочет со мною встречаться?

— Он считает, что все доказательства вам предъявлены, и отчет об этом будет направлен президенту. Президент дал указание, и мы должны отчитаться.

— Хорошо. Я со своей стороны тоже пошлю отчет президенту и в связи с этим хочу спросить: мне предъявлены доказательства чего? Моей мнительности?

— В общем, да.

— Вы хотите, чтобы и я с вами согласился?

— Это было бы разumno.

Спорить с ним было бессмысленно, но он был передаточное звено и в качестве такового выслушивал меня внимательно, мои аргументы, как я заметил, улавливал и, надеюсь, передавал их дальше без искажений.

— Сергей Сергеевич, — воззвал я к его здравомыслию. — Вы человек умный и, пожалуйста, подумайте вот о чем. Предположим, я вам поверил и в отчете о своих розысках привел все предъявленные мне аргументы, и написал, что эти аргументы убеждают меня в том, что в семьдесят пятом

году меня никто не травил, а вся описанная мною история есть плод моей мнительности. Это будет похоже на правду?

— Мне кажется, что да, — сказал Нагин.

— А как вы думаете, читатели мне поверят?

— Конечно, поверят! — отозвался он охотно и с надеждой.

— Нет, — сказал я, — не думаю. Читатели тоже не дураки. Я с вами спорить больше не буду, но прошу передать Фролову следующее. Факт, что мои дела сожжены, я допускаю с сомнением. Утверждение, что они сжигались как не представляющие ценности, просто лживо. То, что последнее дело сжигалось (наверное, в слешке) 20 августа 1991, говорит о том, что оно сохранило наиболее чувствительную информацию, КГБ спешно заметал следы своих преступлений. Но не думаю, что полностью замел. О том, что не сохранилось никаких следов операции, проведенной 11 мая 1975 года, не верю. Не может этого быть. Если меня никто не травил, то свидетельства этого, наоборот, хранились бы очень бережно. Если меня никто не травил, то обязательно был какой-то запрос по этому делу и какой-то ответ. Неужели я поднял такой шум, и никто не поинтересовался, что это Войнович там плетет и что было на самом деле? Неужели не было никакого запроса ни из ЦК в КГБ, ни внутри КГБ от верхнего начальства к нижнему и никакого ответа?

— Не было, — стоит на своем Серега. — Ну, может, начальник управления позвонил ребятам: что, мол, там у вас случилось, они объяснили по телефону и все. Что там особенно разбирать!

— Сергей Сергеевич, а почему бы вам этих «ребят» сейчас все-таки не вызвать и не спросить их, что именно они тогда со мной сделали?

Он вздыхает.

— Владимир Николаевич, ну как же мы их можем вызвать? Я же вам говорю, один вообще живет в Казахстане, то есть другой стране, а второй...

— Что второй?

— Он все равно не скажет.

Тут уж и я вздыхаю.

— Сергей Сергеевич, разве у вас есть такие люди, которые вам не скажут, если вы захотите? Да что же он, стойкий такой диссидент? Муций Сцевола? Зоя Космодемьянская? Допросите как следует, и, я вас уверяю, все скажет.

Наш разговор был долгим, и я спросил:

— Сергей Сергеевич, а почему вы лично так уверены, что меня никто не травил? Вы считаете, что ваша организация вообще на такие дела не способна?

— Владимир Николаевич, я не буду отвечать на этот вопрос. Но так, между нами, я бы еще поверил, если бы с вами что-нибудь сделали во время оперативной разработки, но тогда разработки еще не было. Тогда еще было только дело оперативной подборки, а во время оперативной подборки... нет, это невозможно.

— Скажите, а вот дело Богатырева в какой стадии было, когда его трахнули по голове? Это уже разработка была или еще только подборка? Или вы думаете, что его стукнули не ваши?

— Я не знаю.

— Ну, конечно, не знаете. А могли стукнуть или это тоже мои фантазии?

— На этот вопрос я тоже отвечать не хочу...

Тут, пожалуй, пришла пора рассказать об этом убийстве, которое когда-то взбудоражило многих, но прошло почти без огласки тогда и сейчас редко кем поминается.

Убийство Богатырева

26 апреля 1976 года (был второй день Пасхи) Константин Петрович Богатырев, ожидая кого-то в гости, около семи вечера, перед закрытием магазина вышел из дому купить вина. Дома оставалась мать Тамара Юльевна, которой было к той поре лет около девяноста. Через какое-то время она услышала жуткий крик, и, когда выглянула на лестничную площадку,

увидела существо, которое, обливаясь кровью и пронзительно крича, ползло к ней от открытого лифта. Тамара Юльевна, перепугавшись, попыталась и хотела захлопнуть дверь, но существо, обхватив ее ноги, втащило вместе с ней в квартиру, всплыло в луже собственной крови, и только тут старуха сообразила, что существо было человеком и больше того — ее сыном Костей.

Скорая помощь отвезла Костю в реанимацию. Там было определено, что голова его проломлена тупым предметом (возможно, бутылкой), завернутым в ткань.

С тех пор прошло много лет, подробностей того, как развивались события, я тогда не записал, боюсь, что никто другой этого тоже не сделал, по пробую восстановить то, что вспомнится, хотя и разрозненно.

Кто-то из врачей сказал, что удар был нанесен Косте явно профессионалом. Убийца знал точно, куда бить и с какой силой, но не знал только, что у убиваемого какая-то кость оказалась аномально толстой.

Нападение на Богатырева переположило «весь Аэропорт», то есть писателей, которые жили у станции метро с одноименным названием. Не то чтобы им так уж была дорога жизнь Кости Богатырева, но нападение на него делало их собственное существование не столь безопасным, как казалось до этого. Брежневские времена отличались от сталинских тем, что борьба шла в определенных рамках: хватали, судили, сажали не без разбору, а только не соблюдавших основное правило поведения, которое на полублатном языке формулировалось так: сиди и не петюкай. Писатели это правило очень усвоили и не петюкали, сами себе внушая, что это непетюканье объясняется их несуетным обитанием в мире высших замыслов и сложных вымыслов, а если в сферах более приземленных кого-то сажают, казнят или чего-то еще, то, видимо, эти люди сами на то напросились, по каким-то мазохистским и саморекламным причинам желая быть в числе сажаемых и казнимых. И вдруг всем дано было однозначно понять, что не только Костю Богатырева, а любого можно вывести из мира художественных вдохновенных видений с помощью бутылки, завернутой в мешковину, или другим примитивным (что оскорбительно) способом. Писатели всполошились и забубнили между собой, выражая тревогу и даже недовольство тем, что власти выходят за ими же установленные рамки и нарушают написанный договор. Уже на другой день некоторые оторвались от письменных столов, нацепили на рукава красные повязки дружинников и пошли группами по три-четыре человека обходить подъезды и другие места, где может совершиться насилие. Конечно, не все были уверены, что нападение на Богатырева дело рук КГБ, высказывались предположения, что он, может быть, в очереди за вином повздорил с какими-то алкашами или был прибит неразборчивыми грабителями, но пребывавшим в таком заблуждении сразу дали понять, чтобы они подобные глупости даже и в голове не держали. Критик Владимир Огнев был делегирован к Виктору Николаевичу Ильину. Судя по его поведению и собственным намекам, Ильин с бывшим своим ведомством связи не потерял, поэтому в некоторых случаях к нему люди обращались не только как к секретарю СП, но и как к представителю органов. А он от имени органов отвечал. Как я слышал, разговор Огнева с Ильиным был, примерно, таким.

— Кому и зачем понадобилось убивать этого тихого, слабого, интеллигентного и безобидного человека? — спросил Огнев.

— Интеллигентный и безобидный? — закричал Ильин. — А вы знаете, что этот интеллигентный и безобидный постоянно якшается с иностранцами? И они у него бывают, и он не вылезает от них.

Даже в те времена, когда у людей мозги были сильно сдвинуты, многие понимали, что наказать человека за якшание с иностранцами, может, и следует, но убивать это все-таки слишком, и уж, во всяком случае, назначать за якшание смертную казнь вряд ли станет обыкновенный бандит.

Это странное высказывание Ильина укрепило многих в подозрении, что убийство было политическое и совершено скорее всего КГБ, сотрудники которого и дальше не только не пытались отрицать свою причастность к событию, а наоборот. Как мне в «Метрополе» кагебешник подмигивал, намекая: мы, мы, мы убили Попкова, так и здесь они настойчиво, вятно и грубо наводили подозрение на себя.

Тогда, рассказывали, к лечащей докторице пришел гебист и, развер-

нуж красную книжечку, спрашивал, как себя чувствует больной, есть ли шансы, что выживет, а если выживет, то можно ли рассчитывать, что будет в своем уме.

— Ну, если останется дурачком, пусть живет, — сказал он и с тем покинул больного.

Жена Кости Елена Суриц ходила в Союз писателей, кажется, к тому же Ильину, он и с ней разговаривал грубо и раздраженно, вникать в дело отказывался, и это тоже укрепляло людей в тех же подозрениях.

Следствие велось с демонстративной небрежностью и словно бы понарошку. Участковый Иван Сергеевич Стрельников обошел нескольких знакомых Богатырева и задал им по несколько глупых вопросов. Никаких серьезных следователей, а тем более следователей по особо важным делам никто, кажется, и не видел, а здесь им было бы самое место. Я дружил с Богатыревым более или менее близко, меня о нем никто ни разу не спросил. Хотя я в то время был уже как бы вне закона и власти меня игнорировали, но все же ради такого из ряда вон выходящего случая они могли и должны были как-нибудь проявиться. Вряд ли я дал бы сколько-нибудь полезные показания, но в случае убийства, да еще столь неясного, с необнаруженными убийцами, следователь не имеет права упускать никакой ниточки. Здесь же было очевидно, что идет не выяснение истины, а что-то другое.

Кагебешники не только старательно намекали на свою причастность к убийству, но похоже было, что даже сердились на тех, кто пытался ответить от них подозрение.

Лев Копелев, например, был уверен и уверенность эту громко высказывал, что убийство Богатырева это обыкновенное уголовное дело. Так ему, жившему на первом этаже соседнего с Костиным дома, в один из ближайших вечеров вышибли окно кирпичом, чтобы не молол чепухи и не наводил людей на ложный след.

Костя в самом деле общался — и очень много — с иностранцами, у него я встречал американцев и англичан, но в основном его друзья были немцы. С немцами он водился потому, что был переводчиком с немецкого, потому что обожал немецкий язык, немецкую литературу и самих немцев и потому, что немцы время от времени дарили ему дорогие книги, а отношение к книгам у него было своего рода помешательством. Книги чужие он брал охотно, но своих не давал никому не то что насовсем или на время, но даже дотронуться не позволял. Особенно те, дорогие, присланные или привезенные ему из-за границы. Он очень любил хвастаться этими книгами и охотно их показывал, но всегда только из своих собственных рук. Да и сам часто, прежде чем взять книгу, мыл руки, как хирург перед операцией. Дружа с немцами, он порой просил их передать кому-то какое-то письмо, обычно свое, иногда чужое. Его собственные письма, я думаю, были весьма безобидного содержания, да и другие письма тоже вряд ли угрожали безопасности советского государства. Я сам для отправки писем пользовался Костиным посредничеством раза два-три, не больше.

Формально говоря, диссидентом он не был. В свое время он подписал несколько писем протеста, и последнее было против моего исключения. Но на этом он и остановился. И если возникала ситуация, что мне при нем приходилось подписывать что-нибудь эдакое, он подходил ко мне, и волнуясь, говорил: «Знаешь, я это подписать не могу, ты на меня не сердись», а я сердиться вовсе не думал. Мне эти письма самому надоели, но я их чаще всего подписывал, стесняясь отказать, и еще потому, что мне терять уже было нечего.

Если в КГБ на него и злились, то, может быть, только за то, что он вел себя с их точки зрения независимо не по чину. Не спрашивая начальства и не пытаясь угадать его мнение насчет того, с кем можно общаться, с кем нельзя и с кем о чем говорить. Поэтому у него и было много друзей среди иностранцев и опальных соотечественников, в их число входил Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого Костя часто бывал.

Жертва была выбрана очень точно.

Костя был одновременно и многим знаком, и мало известен. Ясно было, что слух о его убийстве разойдется далеко и в то же время слишком большого шума не будет. Кроме того, это убийство покажет колеблющимся, что с ними может быть, если они будут себя вести так, как он.

Богатырев умер 18 июня. За все время нахождения в реанимации он почти не приходил в сознание, а когда приходил, то ничего вразумительного о происшедшем сказать не мог. Только однажды вроде бы прошептал жене: «Ты не представляешь, какие страшные вещи они мне сказали». Впрочем, очевидно, страшнее было не то, что они сказали, а что сделали.

Хоронили его на переделкинском кладбище, неподалеку от Пастернака. Отпевали в тамошней церкви. Священник, желая, видимо, заодно обратиться к религии столпившихся в церкви безбожников, сказал над гробом, что религия и наука друг другу нисколько не противоречат, существование Бога и потусторонней жизни подтверждены современными открытиями и прежде всего теорией относительности Эйнштейна.

Он говорил долго. Не дождавшись конца проповеди, я вышел наружу. У церкви стояло большое количество иностранных автомобилей, а среди советских марок были «Волги» и «Жигули» прикативших сюда гебистов. Сами они толкались среди народа и прятались, как обычно (это я уже не первый раз такое видел), словно черти, в кустах.

Среди людей, стоявших в церкви и около, было много известных. Ко мне подошел корреспондент «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Герман Пёрцген с блокнотом и стал спрашивать: «Рядом с Сахаровым это кто? Боннэр? А Ахмадулина с кем? С Мессерером? Он художник? А Чуковская тоже приехала? А Евтушенко здесь нет?»

Недалеко от входа в церковь на лавочке сидел Александр Межиров. Я его спросил, почему не видно Евтушенко.

— А в-вы не б-бе-спо-койтесь. Как только по-оявятся телевизионные камеры, так возникнет и Евтушенко.

Меня поразила точность предсказания. Когда начали выносить тело из церкви, появилась команда телевизионщиков, я вспомнил слова Межилова и стал искать глазами Евтушенко. Но найти его оказалось легче легкого: он был первым среди несущих гроб и, наверное, на каких-то экранах показан был крупным планом в качестве главной фигуры события.

Гроб несли по узкой кривой и склизкой дорожке, кагебешники с шорохом сыпались из кустов и, направляемые неким предводителем, который был хром и с золотыми зубами (что делало его еще больше похожим на чёрта), щелкали затворами фотоаппаратов с блицами (чтобы было заметнее) и снимали происходящее кинокамерой, часто приближая ее вплотную к лицам наиболее им интересных людей.

Многочисленность народа и присутствие кагебешников делали обстановку нервной, было предощущение того, что вот-вот произойдет что-нибудь крайне непристойное, может быть, даже и страшное.

Начались речи. Не помню, кто что говорил. Я до того ни разу ни на чьих похоронах не выступал и в этот раз не собирался. Но присутствие кагебешников и их разнузданность подтолкнули меня. Я подошел к краю могилы и сказал примерно вот что:

— Когда-то Константин Богатырев был приговорен к смерти за покушение на Сталина, на которого он не покушался. Потом он был помилован, и смертную казнь ему заменили двадцатью пятью годами лагерей. Срок этот полностью Богатыреву отсидживать не пришлось, после смерти Сталина его освободили и реабилитировали. Но он, не очень доверяя судьбе, с тех пор постоянно ждал — и это распространенный среди бывших лагерников синдром, — что его в любой день могут арестовать и отправить в лагерь для отбытия неистекшего срока. Совсем недавно мы, его друзья, в его квартире отмечали окончание этого срока. Мы еще не знали, что тот, первый приговор к смертной казни, кто-то восстановит, и что он так скоро будет приведен в исполнение. Совершилось преступление, участники которого и тот судья, который выносил свой приговор, и те палачи, которые двадцать пять лет спустя его исполнили. Я думаю, что убийцы сейчас здесь, между нами. И я хочу им сказать, что, убивая ни в чем не повинного чистого человека, они к высшей мере наказания приговорили прежде всего сами себя. Они в себе убили все человеческое и перестали быть людьми.

Я закончил свою речь обычными в подобных случаях словами, что Богатырев останется живым в нашей памяти и в своих стихах.

После чего один из поэтов сказал, что насчет стихов я загнул лишнего, стихи у Богатырева слабые, и о них лучше было не упоминать.

А один критик сказал, что после такой речи мне, пожалуй, самому не сносить головы.

А Евгений Евтушенко опять не упустил случая меня угрызть и сказал Владимиру Корнилову, что Богатырев был скромный порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг.

Последним выступал, если не ошибаюсь, поэт Виктор Урин. Он сначала прочел свои стихи по бумажке, а потом, когда опускали гроб, бросил бумажку в могилу.

Сейчас мне это не кажется удивительным, но тогда я не мог понять, почему убийство Богатырева вызвало такой слабый отклик на Западе.

Я внимательно слушал все западные радиостанции и только по «Немецкой волне» поймал невнятный рассказ упомянутого мною выше Пёрцгена о похоронах Кости. Даже не столько о самих похоронах, а о том, какие важные люди на них присутствовали.

Исключение кого-нибудь из КПСС, арест на пять суток часто вызывало на Западе гораздо больше шума, чем убийство этого невеликого и незнатного человека. Одному известному поэту месяцев восемь не давали разрешения на поездку в Америку, это по меркам цивилизованного общества было в самом деле большое безобразие, и о нем справедливо трубила вся американская и отчасти мировая пресса. А убийство Богатырева стало темой нескольких мелких заметок и всё.

Случай этот показал наглядно, что убийство внутри страны было для КГБ очень удобным радикальным, дешевым и наиболее безопасным способом устранения политического противника или неугодного лица. Для того, чтобы посадить человека в лагерь или в психушку, его надо арестовывать, вести следствие, ломать комедию суда, писать статьи в газетах, отвечать на неприятные вопросы, отменять международные встречи или демонстративно покидать их с оскорбленным выражением на лице. А тут одна литая бутылка, один хороший удар, и — следов много (и это хорошо), но доказательств нет и не может быть никаких. Поэтому «мокрые дела» КГБ за границей время от времени раскрывались (чаще, наверное, все-таки нет), а внутри страны никогда. Ни разу! Может быть, в тот самый день, когда хоронили Костю, или через какое-то время пришлось мне зайти в дом одного видного советского диссидента. У него на кухне сидела миловидная женщина, жена известного американского советолога и даже не просто советолога, а ближайшего советника будущего президента Джимми Картера. Она пила чай с печеньем и благодушествовала о том, что в Советском Союзе постепенно дела сдвигаются к лучшему.

— В чем вы замечаете эти сдвиги? — спросил я ее.

— Ну, например, у вас стало легче выезжать за границу, — сказала она и назвала упомянутого мною поэта, которому как раз в те дни дали паспорт для поездки в Америку.

И прогрессивная мировая общественность восприняла этот факт с чувством глубокого удовлетворения и с надеждой, что это есть хороший знак и признак постепенной либерализации советского режима.

А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают. Такое может случиться с кем и когда угодно, и не только с противниками КГБ. Виктор Николаевич Ильин был не противником, а сам собой олицетворял эту контору, но уже в благословенные перестроечные времена, приближаясь к девяноста годам, начал проявлять признаки старческой болтливости, что, может быть, и стало причиной отказа тормозов у грузовика, который сбил Виктора Николаевича, и с ним вместе ушло столько мудрых мыслей, важной информации и, может быть, даже несколько интересных догадок по поводу убийства Богатырева.

Последний разговор с Сергеей

Во многих детективных фильмах я видел, как попавшие в руки ФБР советские шпионы легко проходят проверку детектором лжи. Я в это охотно верю. Не только шпионы, а все советские люди поголовно прошли большую школу лжи, которой их обучали родители, детсадовские воспитатели,

учителя, газеты, книги, радио, телевидение, парторги и лекторы из общества «Знание». А уж в школах КГБ-МБ, я думаю, курсант получает столь высокое образование, что смутить детектор лжи может только случайно проговоренной правдой.

Такая, примерно, мысль пришла мне в голову, когда я общался с те-перешними кагеэбистами. Лгут в глаза, не краснеют, не стесняются и не смущаются, когда ловишь за руку. Впрочем, Серега немного смущался, но и смущение переносил мужественно.

Я очень просил его дать мне телефон Фролова, и он дал. Я позвонил, там мне сказали, что это телефон не Фролова, у Фролова другой телефон, но номер они мне сказать не могут. Я опять позвонил Сереге, он опять мужественно смутился:

— Извините, может быть, я ошибся. Сейчас я проверю.

Он позвонил по другому аппарату, я напряг ухо и услышал: «Что? Не давать? Хорошо. Понял». Вернулся к аппарату, связанному с моим: «Владимир Николаевич, у Фролова сейчас ремонт и прямой телефон не работает, но вы можете попробовать соединиться через коммутатор...»

Ну что, должен был я ему сказать, что он врет?

Испытывать на лживость лубянский коммутатор я не стал и сказал Сереге, что общение с ним и вообще с Министерством безопасности прекращаю. Но напоследок прошу меня выслушать внимательно и передать Фролову мое мнение, что Министерство безопасности намеренно уклонило от расследования, санкционированного президентом страны. Объяснения по поводу сложности расследования смехотворны и доказывают только то, что Министерство безопасности заинтересовано в сокрытии по крайней мере данного преступления (и других тоже) и укрывает преступников. Это очевидно мне, очевидно каждому непредвзятому человеку и очевидно будет всем читателям того отчета, который я составлю. Я предоставляю министерству последнюю возможность повлиять на содержание моего отчета и доказать, что оно отличается от КГБ и истины не боится. Предъявите, сказал я, мне какой-нибудь документ, запрос, отчет, рапорт, доклад 1975 года, содержащие ответ на мои обвинения. Если такой бумаги нет, пригласите меня и двух независимых экспертов (пусть одним из них будет Борис Золотухин), представьте экспертам те доказательства, которые вам кажутся достаточными (или объясните, почему их невозможно представить). Устройте очную ставку с «Захаровым» (если нельзя и с «Петровым»), и мы посмотрим, скажет он что-нибудь или не скажет, и, если не скажет, спросим, почему не говорит, а если скажет, подумаем, верить ему или нет.

Я дал Министерству безопасности достаточно времени, чтобы оценить логичность моих требований и сделать из этого нужные выводы. И один вывод они, видимо, сделали: что каждое их «доказательство» ставит их во все более глупое положение, и лучше не говорить ничего, чем говорить что-нибудь. А тайна, которую я пытался у них выведать, настолько им дорога, что ради сокрытия ее они готовы выглядеть лгунами, мошенниками и саботажниками президентского указания.

Все общество было отравлено

Пытаясь добыть нужную мне информацию на Лубянке, я и других источников не чурался, и от одного из них (он просил меня его не называть) узнал (через восемнадцать лет!) реальные фамилии моих отравителей. Того, кто когда-то назвался мне Петровым, в миру зовут Смолин Пас Прокофьевич (наверно, папаша был футбольный болельщик). На день моего отравления Пас Прокофьевич был начальником отдела, но не простого, а (если мой источник не ошибается) исследовательского. «При чем тут исследовательский отдел? — спросил я. — Разве мое отравление имеет какое-нибудь отношение к исследовательской работе?» «А как же! — возразил источник. — Конечно, имеет. Это же был, как-никак, научный эксперимент». Вскоре после моего отравления и, возможно, в связи с ним исследователь Смолин был от «научной» работы отстранен и переведен (наказание с повышением) начальником управления в Саратов (а не в Караганду), там, и правда, дослужился до генерала, вышел на пенсию и, должно быть, вернул-

ся в Москву. А так называемый Захаров Геннадий Иванович в свое время особо не фантазировал, произвел свой псевдоним из фамилии Зареев, а имя и отчество оставил свои. Чем занимается Зареев сейчас, не знаю, но несколько лет назад он исправлял должность, которая в полном виде называлась «заместитель начальника Управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства ВААП». Это я узнал из газеты «Советская Россия» от 13 сентября 1987 года, где этот поборник прав призывал западных издателей сотрудничать с ВААП «на честной, справедливой и гуманной основе».

Наш рассказ подходит к концу, и пора украсить его последними небольшими открытиями.

В конце мая этого года в Москве проходила международная конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра», самая удивительная из всех, на которых автору пришлось побывать. Участвовали бывшие диссиденты, журналисты, публицисты, члены правительства и работники КГБ-МБ, бывшие и теперешние. Бывшие свою прежнюю службу критиковали, но часто не с той стороны, с которой мне бы хотелось. Одного, экс-директора научно-исследовательского института КГБ СССР (наука там была поставлена сильно), руководителя КГБ огорчало тем, что мало внимания уделяло научным исследованиям (а я думаю, хорошо, что мало, а то бы они нас всех перетравили). Другой говорил что-то о бюрократизме и карьеризме.

Нынешние работники ГБ-МБ свою службу и свои старые кадры оправдывали, говоря, что каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные и опытные профессионалы, то есть они же сами.

Теоретически я с ними согласен, но конкретно в профессионалах из КГБ сомневаюсь. Они, в основном, обучены и натасканы стряпать выдуманные ими же дела (часто на основе измышлений стукачей-любителей), они умеют заставлять людей клепать друг на друга и на самих себя, вымогать ложные показания, признания и покаяния, проламывать в подъездах головы слабых интеллектуалов и подсовывать отраву растяпе, которого можно отвлечь простейшим способом: смотри, вон птичка летит! А в то, что такие специалисты способны раскрывать реальные замыслы, бороться с реальными шпионами, террористами, диверсантами, я, правду сказать, не верю. Не говоря уже о том соображении (моральном и практическом), а можно ли доверять судьбу государства, еще не вставшего на ноги, людям, воспитанным на лжи, подлогах, коварстве и убийствах из-за угла?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» я рассказал о своих поисках и находках. Я добросовестно перечислил все предъявленные мне доказательства моего неотравления и сказки про отдельную папочку, про то, что не осталось никаких следов и что Смолина нельзя найти, а Зареев не скажет. Доводы моих оппонентов компетентной публике в зале конференции показались столь неуклюжими, что, кажется, каждый из них она встречала громким хохотом. И не успел я сойти с трибуны, ко мне один за другим стали подходить кагебисты-эмбисты и — один громко, другой шепотом, третий с оттаскиванием меня в сторону женского туалета — стали выкладывать кто что знал. Они подтвердили, что в 1975 году мною занимались Смолин (тогда еще полковник) и Зареев (капитан). Причем Смолин на это опасное (для кого?) задание сам напросился (хотел, небось, уже тогда выбиться в генералы), а за ними, вероятно, еще стоял некто Цуркан (по описанию одного из информаторов, «черный такой, похожий на цыгана, но вообще-то по национальности молдаванин»), специалист, как я понял, по травле людей химией. Когда меня в гостиничном номере травили, он, возможно, прятался там же за описанной мной занавеской или находился в другом номере, куда и выскакивал к нему Зареев за консультацией по ходу эксперимента.

Там же в кулуарах конференции я узнал, что яды и способы их применения против людей разрабатывались (ютя) лабораторией № 12, которая находится где-то на 3-й Мещанской улице.

По окончании конференции был банкет, возлияния и братания всех со всеми. Ко мне подходили славные наши чекисты и просили поставить подпись, нет, не под протоколом допроса, а на моей книге, или на чужой, или на бумажной салфетке. Все они (кажется, даже без исключений) оказались читателями и почитателями моих книг и особенно «Чонкина», за которого

в недавнее время по долгу службы могли бы и пришибить. Я смотрел на них с любопытством. Вроде люди как люди, и все-таки не совсем. Что бы они сейчас ни говорили, а в свое время (и некоторые по многу лет) занимались они тем, на что большинство людей не способно было никогда, ни при каких обстоятельствах. Что их туда привело? Слепая вера в идеологию (которую они путали с идеалами)? романтика шпионской жизни? цинизм? карьерные соображения? Может быть, то и это, но многих, я думаю, вели туда просто преступные наклонности и возможность удовлетворять их без риска наказания. И покинули они свою контору тоже по причинам разного свойства. Кто (наверное, немногие) устыдившись этой службы (а как их отличить от других?), кто разочаровавшись, что она не дала им того, чего они от нее ожидали, а большинство, должно быть, по инстинкту крысы с тонущего корабля.

Как бы то ни было, теперь все были вместе, пили, закусывали, переходили от столика к столику.

В конце банкета я оказался за одним столом с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, которого не преминул спросить, что он думает по поводу моего рассказа.

— Ну что ж, — сказал Калугин, — по-моему, вы все точно определили. Против вас, вероятно, было употреблено средство из тех, которые проходят по разряду «brain-damage» (повреждение мозга). Такие средства применялись и неоднократно. Например, с ирландцем Шоном Бёрком. Он сначала нам помог с Джорджем Блейком. С тем самым английским контрразведчиком, который стал работать на нас, был разоблачен и посажен. Шон Бёрк помог Блейку бежать из тюрьмы в Советский Союз, и сам убежал вместе с ним. Но через некоторое время затосковал по родине и стал проситься обратно. Его долго уговаривали, чтобы он этого не делал, но он настаивал на своем. Тогда ему сделали brain-damage и отпустили. Пока он доехал до Англии, уже ничего не помнил. Только пил и в пьяном виде молот какую-то чушь, из которой никто ничего не мог понять. И вскоре умер. А еще есть такое средство, что если им намазать, скажем, ручку автомобиля, человек дотронется до ручки и тут же умрет от инфаркта. Сначала такое именно средство хотели применить против болгарина Георгия Маркова, но потом побоялись, а вдруг кто-нибудь другой подойдет и дотронется.

Мы оба были навеселе, и я спросил, а если другой дотронется и умрет, разве жалко?

— Нет, конечно, — засмеялся Олег Данилович, — но каждый лишний случай употребления этого вещества увеличивает риск разоблачения. Поэтому подумали и додумались до стреляющего зонтика.

Я решил извлечь из нашей встречи максимальную пользу и спросил Калугина, что он думает по поводу убийства Богатырева.

— Не знаю, — сказал он, — не думаю, что его убили намеренно. Может быть, хотели как следует проучить, но перестарались.

Может быть. Хотя я помню рассказ об утолщенной кости, о предположении врача, что убийцы как раз недостарались, и об активном стремлении гебистов записать убийство на себя.

Другой бывший гебист, просивший его не называть, сказал, что он удивлен, как точно я после отравления оценил свое состояние и насчет сигарет тоже не ошибся. Он же предположил, что средство, примененное против меня, не оказалось столь эффективным именно потому, что вводилось в организм через табачный дым, а не с едой или питьем. Но мои отравители работу со мной не считали оконченной, приглашал же меня «исследователь» Смолин встретиться еще через две недели. Однако, после сделанных мною разоблачений, получить санкцию на продолжение операции им уже, наверное, было непросто. Тут уж было бы все шито белыми нитками, а под таким шитьем ни Андропов, ни те, кому направлялись экземпляры его письма номер два и номер один, прямо подписаться, наверное, не хотели.

Выше я рассказал о признаниях, хотя и компетентных, но не вполне официальных, а официальное вывел из хронологического ряда и приведу теперь.

Откровенно говоря, выступая на конференции, я думал, что и на этот раз мое заявление будет пропущено действующими кагеэбистами мимо ушей, но вышедший в конце третьего дня на трибуну их представитель

Юрий Короткий сказал легко и лирически слова, которые следует занести на скрижали, выбить на гранитном цоколе лубянской цитадели, ну, а мы, в пределах наших возможностей, просто выделим их жирным шрифтом:

— Да, — признал Короткий, — **Войновича отравили, но ведь и все наше общество было отравлено.**

Я знаю одну очень глупую женщину, которая, не понимая связи явлений, пересчитывает в дни полочки тысячные купюры и огорченно вздыхает:

— Эх, кабы эту зарплату да лет десять тому назад при тогдашних-то ценах.

Вот и нам бы это признание, да лет восемнадцать тому назад.

А, впрочем, и сейчас оно полностью своей ценности не утратило.

Насчет общества Юрий Короткий прав. Семьдесят лет в мозги общества средства типа brain-damage вводились с пищей, водой и воздухом и в виде пропаганды проникали через глаза и уши.

Что касается нашей конкретной истории, то за общее и запоздалое подтверждение ее Министерству безопасности спасибо, но желательно все же получить и прямой отчет с конкретными (а не вычисленными эмпирически) ответами на наши вопросы и указать поточнее, кто был инициатором описанной операции, какова была ее истинная цель, какое средство применено (химическая формула), кто разрабатывал и где (точно, а не приблизительно), против кого еще (не считая меня и Шона Бёрка) применялась подобная химия, в каких масштабах и дозах? Какие гарантии того, что в будущем травить нас не будут? Меня лично также интересует, а почему это министерство, которому я лично ни на грош не доверяю, само решает, какие тайны и как крепко хранить, почему оно не подчиняется президенту, почему уничтожаются архивы, кто на каком уровне решает их уничтожать и нельзя ли это остановить? Любопытно было бы узнать, почему заместитель министра (насчет министра не знаю), хотя и пришел из МВД, врет не хуже профессионального чекиста и зачем врет? Почему он не боится не исполнить указание президента страны? Значит ли это, что указание дано не всерьез или там не всерьез принимают самого президента? Любой ответ на этот вопрос приведет нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Я не знаю, чем принципиально отличается нынешнее МБ от бывшего КГБ (по-моему, только составом букв и ограниченностью — надежной ли? — возможностей), но рассказанная мною история уличает это министерство по крайней мере в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по себе преступление.

Послесловие

Мы живем как во время землетрясения, когда на глазах разваливается то, что казалось неизбывным, и общая картина разрушения меняется каждый миг, хотя складывается из тех же кирпичей.

Пока я готовил рукопись для сдачи в журнал, В. Баранников перестал быть министром безопасности. Пока я вычитывал верстку, он оказался в Лефортове. Некоторые люди советуют мне воспользоваться ситуацией, продолжить расследование и добиться встречи с моими отравителями. Но я этого делать не стану. Мне с ними частным образом говорить не о чем, а если с ними пожелает поговорить прокурор, то вот ему этот текст как повод для разговора.

Меня интересуют не столько конкретные негодяи, сколько решение проблемы в целом.

Тут мы приблизились к вопросу о том, как быть со всеми людьми, которые в недавнем прошлом управляли государством, служили в КГБ штатно или нештатно, судили невинных, писали клеветнические статьи, подписывали шельмующие письма, разбивали семьи, упекали людей в лагеря или в психушки, убивали ядом или булыжником. Как быть с ними со всеми? Судить? Простить? Забыть?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» обсуждался вопрос о люстрации, то есть об ограничении допуска бывших партийных функционеров, штатных работников КГБ и тайных осведомителей на важные госу-

дарственные посты. Разумеется, самыми строгими критиками идеи люстрации стали как раз бывшие партийные воротилы и кагебисты. Они поголовно считают, что люстрация антидемократична, негуманна и аморальна. Слушая приводимые доводы (и со многими соглашаясь), я подумал, что, наверное, наиболее решительными противниками смертной казни являются убийцы, ожидающие исполнения приговора. Противники люстрации говорили об опасности того, что люстрация очень легко может превратиться в охоту за ведьмами, и это вполне вероятно — они сами эту охоту возглавят и будут ловить не себя. На конференции много раз звучало слово «милосердие», употребляемое чаще всего всуе и не к месту и при полном непонимании его значения. Милосердие можно проявить к любому человеку и даже к преступнику и даже к самому страшному преступнику, когда ему грозит суровое наказание. Но, господа любители афоризмов, запишите себе в блокнотик: **прежде, чем проявлять к преступнику милосердие, его надо поймать.** А он, хотя всем известен, но гуляет непойманый, охотно рассуждая об общей вине, которую он всегда готов разложить на всех поровну.

В защиту нынешних кагеэмбистов много раз приводился аргумент, что они есть просто некая, чуть ли не нейтральная, сила, которая раньше была направлена на защиту тоталитарного строя, а теперь с тем же успехом может защищать демократию.

Ну, что ж... Говорят, в Индии дрессированные кобры, обвившись вокруг стоек кроватей, надежно охраняют покой спящих младенцев.

Москва — Мюнхен, 1993

Там, на Кусковском заводе,
 где нет питьевой воды,
 В чреве подземных залов, где камень слаб,
 Плющит его эта тяжесть, ноша нашей беды.

* * *

На керченской набережной, где волна
 Скамеек легко достигает,
 Бетон и чугун остужает она
 И в море опять убегает.

Когда же от церкви мы к морю идем,
 Волна зеленеет и блещет,
 Она, перламутровым зрея дождем,
 В корпусулах света трепещет.

Где из-за холеры купаться нельзя,
 А влезешь — тебя не ругают,
 Тогда тебя свет облегает, скользят,
 Обнимет — и оберегает.

Обратно бредем — и вода голуба,
 Спокойна понтийская влага,
 Глядит Митридат на холмы Юз-Оба.
 Да букочки «Универмага».

Усталые руки, больные глаза
 Излечатся, горе истает.
 И ласковой плетью влезает лоза
 И легкий балкон оплетает.

Проверь, не обманешься, шеей вертя:
 То зелено, то бирюзово.
 И двойственно море в узлах и сетях
 Трехтысячелетнего лова.

Гора Митридат

*Гора Митридат в Керчи — место, где жили
 боспорские цари, главная огневая высота
 города во время Великой Отечественной
 войны*

Посылали смотреть,
 что наука в земле откопала.
 Только то и увидела,
 что война погубила.
 Мне гашеная известь
 в порезы на пальцах попала
 И линию жизни прижгла и
 углубила.

И в огне поминанья,
 где ржавь патронов нетленна.
 Я уже не могла
 на античные сколки глазеть,
 Я увидела только
 несчастный десант Эльтигена.
 Эти мальчишки в флотских ботинках,
 в портянках из ветхих газет...

И двухтысячелетний
 таящийся уголь Митридата
 Вдруг траву подпалил,
 что от веку никто не косил,
 Но огонь добежал
 до забытой могилы солдата,
 И обжечь еще раз эту землю
 у пламени не было сил.

Счастья не было здесь,
 эти тысячелетья жестоки.
 На двугорбой горе,
 где никто никого не зовет,
 Созревает шиповник
 и рдеет на солнцепеке.
 И на бабочке каждой
 траурный зольный налет.

* * *

Я нашла на горе такую игрушку —
 Вроде как от куколки твердая ручка.
 Но тревожно мне, что не разгадала,
 Может, это черенок, костяная ложка?

Археолог мудрый сказал спокойно,
 Что везде под стенами — фаланги пальцев
 Здесь разбросаны, сотнями их находят,
 А в коллекции не берут, не нужно.

Я бурьян раздвинула, грунт разрыла,
 На сухой земле сделала лунку,
 Схоронила бедную эту костку,
 Безымянного война помянула.

Ты, беспальный, уже давно в Аиде
 Или в божьем раю, за доблесть прощенный,
 Или в полном небытии, даже без похоронки.
 Безотцовщиной выросли твои дети.

* * *

Думала, что не могу,
 что здесь выживать недостойно.
 Как в нищете красоту,
 светоносную сущность искать?
 Но поучала судьба,
 так причудливы были несчастья,
 Что и системою бед
 жизнь восхищала меня.

Слезы, что выжгли глаза,
 падают так вертикально,
 Раны красны оттого,
 что в них почвы железный восторг.
 Думала, что не могу
 в этом ужасе, в этом зловонье,
 Вышло — могу и в петле,
 оказалось — могу и в могиле.

В тленье самом есть тепло.
 Распадаясь на сонмы молекул,
 Сложное станет простым,
 из цепей будет множество бусин.
 Сквозь крематорский огонь,
 воспарив до летучих субстанций,
 Греет сверхновые звезды
 отчаянье бедной любви.

Сожженная церковь

Здесь кадили нефть и водка,
 Здесь кадили сатане.
 Скорбный ангел смотрит кротко
 Из рельефа на стене.

Ангел мой, больной, сутулый,
 Обгоревшие крыла...
 Черным сном душа уснула,
 Ничего не сберегла.

Никого не полюбила,
 Вживе адом занята.

А что жизнь я погубила —
 Эта истина проста.

Как заклятая молчу я.
 Ни на что не стало сил.

Белой известью врачую
 Раны колотые крыл.

Все ведет меня тревога
 На затоптанный порог.
 Но любой огонь от Бога,
 Даже тот, который сжег.

* * *

Так предательниц-девок за косы вели
 И на косах спускали в колодец,
 И фашистские суки кулями легли
 На глазах у седых богородиц.

Так, со страху трясаясь, отреклись от мужей
 Молодые, и тем уцелели,
 Лишь ночами клубки полудохлых ужей
 Все мерещились в складках постели.

Так, предчувствуя гибель, не помнят о ней
 И смеются над тайной причастья.
 Потому выживать — это смерти страшней,
 Умереть — это, может быть, счастье.

Я у грешной страны ничего не спрошу,
 Я сама, я сама не святая.
 Я сама в себе желчь отвращения души,
 Неподъемные руки сплетая.

Вера

«Любить и верить сполна»

Н. П.

О, скажи, чтобы я не замерзла среди этих широт:
 «Я взяла навсегда, я уже никогда не покину».
 О, спаси же видением, образом птичьего клина:
 Этот общий полет,
 где сквозь ветер каждый поет.

Ты меня позвала, ты в глубинные страхи шептала,
 И под полог плаща собрав, как дева святая,
 Малых всех,
 с головами, круглыми от беззащитности,
 Дай мне силы дальше жить и нести.

Безъязыких, застывших, —
 ты всех обвиваешь крылами, —
 Материнский порыв, согревающий ласковый жест.
 Дай сквозь холод услышать
 звучанье небесных торжеств,
 Удержи свой покров над нашими головами.



Владимир Ежов

БЕЗ МЕНЯ — ТЕБЕ!

ФРАГМЕНТ

«Где же ты, моя любимая...»

*«Без меня тебе, любимый мой, земля
мала, как остров...»*

«Человек — это остров, удивительный остров...»

(из популярных песен конца 70-х —
начала 80-х годов)

Есть места на земле, которым ты ничем не обязан, и они не обязаны тебе ничем, твое общение с ними протекает легко и поверхностно, но почему-то совершенно незабываемо. Обычно эти места называют местами отдыха. Есть и у меня такое место. Нет нужды сообщать, как оно называется. Каждый, кто был там, узнает его, наверное, по описанию и скажет, возможно, что все это на самом деле не так, что все это, конечно, выглядит по-другому, чем лишь подтвердит старинную истину — сколько людей на свете, столько и мнений об одном и том же явлении. Поэтому беру на себя смелость утверждать, что это только мое место. С детства, когда родители привозили меня туда на целое лето, и до сих пор, когда я сам подъезжаю к нему, на определенном отрезке дороги из-за поворота неожиданно появляется хорошо знакомая мне декорация: три так не похожих друг на друга горы, синий морской залив с пришпиленным к нему сбоку белым прогулочным катером, окруженные зеленью садов домики приморского поселка, корпуса дома творчества, турбаза, пансионат, серая лента шоссе, уходящего в горы, и каждый раз у меня в душе возникает странное ощущение, будто все это место как-то по-своему приветствует меня одного, и я бессознательно шепчу ему ответное приветствие.

Сразу же после этого ты попадаешь в какой-то веселый и шумный, разноцветно-пахучий вихрь, состоящий в основном из утренних и ночных купаний нагишом в морской воде; лежания на горячем песке под сияющим солнцем; дневного и вечернего пьянства, болтовни и азартных игр в тени деревянных террас, увитых виноградом; беготни и лазанья по горам со спуском в долины, к источникам, для сбора ягод, трав и устройства шашлыков; походов в отдаленные бухты с ловлей рыбы, прочей морской живности и ухой прямо на берегу; танцев на танцплощадке или на пляже под музыку портативного магнитофона; шепота, поцелуев и любви где-нибудь на скрипучей кровати в наскоро сбитом сарайчике для жилья, на жестком пляжном топчане у моря, на лавочке в парке дома творчества, на колючей траве у подножия гор; сидения в маленьком деревянном домике с газетой в руках и полным расстройством желудка вследствие чрезмерного употребления кислого вина; утренних головных болей с похмелья; обмена вчерашними впечатлениями; смеха и снова купания, лежания, гуляния, пьянства, любви и болтовни.

Единственными обязанностями, которые еще остаются у тебя в этом месте, являются естественные гигиенические обязанности по отношению к

собственному телу, к выполнению которых ты приступаешь, только когда уже ясно осознаешь, что не выполнять их нельзя. О семейных же, родовых, дружеских и прочих более возвышенных человеческих обязанностях я и не говорю! Сколько самых разнообразных связей было оборвано там и вновь возникло между людьми под катализирующим воздействием солнечного света, морской соли и кислого вина. Сколько семей, крепость которых с трудом держалась на одной лишь унылой привычке к совместной жизни, благополучно распалась, и сколько вспыхнуло новых чувств. Сколько друзей превратилось в заклятых врагов на всю жизнь, и сколько врагов обернулось друзьями. Сколько в конце концов там было зачато и новых людей, которым, как и их детям, еще предстоит поехать туда для того, чтобы самим начать все сначала, если, конечно, это место не провалится под землю в результате какого-нибудь природного катаклизма, как когда-то, говорят, и возникло, или же не будет окончательно и наглухо закрыто властями и выжжено дотла огнеметами в назидание всем другим местам подобного сорта за чересчур разлагающее воздействие на род человеческий.

Впрочем, и там, и там, случалось, нападало на меня философское настроение, и я, забравшись на первый возвышающийся над поселком холм, наблюдал оттуда ставшие вдруг ужасно маленькими белые дома, вразброс обступившие желтую дугу залива, роскошную, сверкающую на солнце синим, белым и голубым шкуру моря, старые, терпеливо стоящие на страже всей этой священной человеческой чепухи горы, небо, непонятно где переходящее в море, и знал, что вот сейчас мгновение, хоть и не остановлюсь, но полностью принадлежит мне, я могу длить и длить его столько, сколько хочу, могу пить и пить его красоту, пока не надоест, а если надоест... там, внизу, уже ждет меня какая-нибудь подружка, ветер колышет в ее окне легкую марлеву занавеску, ненароком открывая мелькнувшие в прохладной тени жилья золотистое тело с бледной незагорелой полоской кожи, копну темных волос, складки светлого платья; или же целая компания беззаботных друзей, живописно расположившаяся у самой воды, подставляя свои мокрые смуглые лица, спины, руки, ноги и животы солнцу, хохочет, мучая только что пойманного под камнями краба, отрезая ему путь домой, вставляя в его страшные, готовые вонзиться во что попало клешни сигареты и травинки; да даже просто какая-нибудь хорошая книга, которую я еще не читал и которую с удовольствием прочту, сидя где-нибудь на набережной, глядя то вдаль на море, то на страницу, которую уже спешит перевернуть ветер, ведь даже книги читаются там с каким-то новым, трудно передаваемым привкусом, который можно сравнить разве что с привкусом свежего хлеба на чистом воздухе.

О каких перевыполнениях и недопоставках, о каких угрозах и разрядах бубнят мне с детства ваши серые теле-тени своими перекосившимися от постоянного вранья физиономиями? В каких произволе и заботе, победе и кризисе хотите вы меня убедить? Какие права и обязанности навязать? Какие цели, дали и края заставить любить? Неужели не понимаете, что глагол «любить» не имеет смысла в повелительном наклонении?! А если хотите привить любовь, то нужно же ее по крайней мере иметь, а у вас ее давным-давно нет, потому что любовь всегда видна, она на лице.

Да за один только запах, который доносит до меня в этом месте ветер с гор, запах трав, камней и деревьев, запах моря, водорослей, песка на берегу, да даже просто за запах дешевых ресторанов, столовых и туалетов я, не задумываясь, отдам все ваши мертвые, ничего не стоящие для меня ценности!

Видите, по комнате у меня разбросаны разноцветные летние вещи, купальные принадлежности, вот сумка, в которую я все это соберу, в железнодорожной кассе уже лежит заблаговременно заказанный мною билет на поезд, осталось съездить получить его, и... «прощай, любимый город, уходим завтра...».

Я одеваюсь, выхожу из квартиры, спускаюсь в лифте на первый этаж. На улице лето, теплынь, деревья качаются, шумят на ветру, их листья колеблются, блестят на солнце. По небу, совсем низко над городом, плывут огромные белые облака, наводя на землю легкую летучую тень. Навстречу мне по улице идут люди. Странно, отчего это, когда вот так вот смотришь на них, как-то естественно тянет проникнуть в их жизнь, уз-

нать, что там у них внутри приводит в движение все эти внешние телесные оболочки, что там за мир, лишь продолжением коего является этот, видимый мною.

Ну взять хотя бы вот эту пожилую женщину с привычным выражением старческой заботы на лице, таких, конечно же, много по всей земле, несет, быть может, что-нибудь вкусненькое какой-нибудь своей маленькой очаровательной баловнице-внучке, которая сама усадила сейчас у себя в детской комнате, доверху заботой игрушками, за стол всех своих кукол, кормит их «понарошку», воспитывает, учится быть взрослой... Здоровенный детина в потертых на заднице и коленях джинсах, в расстегнутой до пупа рубашке, с тяжелым, мутным от вина взором бредет куда-то, снова и снова перебирая в башке упругие прелести какой-нибудь своей хохотушки-продавщицы, лениво демонстрирующей, стоя сейчас где-нибудь за прилавком промтоварного магазина, звенящий будильник отечественного производства, зеленую настольную лампу, какой-нибудь там блестящий уют... Или же вот эта красивая женщина лет двадцати семи, с широкими, как у мальчика, плечами, с примесью какой-то восточной крови, судя по выдающимся скулам, черным, как смоль, волосам, темным раскосым глазам (таких, наверное, много по всей земле, но мне-то от этого не легче). Вот она идет навстречу мне в своих развевающихся на ветру одеждах, смотрит на меня как-то странно, внимательно и тревожно одновременно... Посмотрела и прошла мимо! Я иду дальше, спускаюсь в метро, захожу в поезд, еду и понимаю, что никогда больше не смогу забыть этот ее взгляд... Что-то ужасно знакомое в этих ее глазах... Но что? Где-то я уже видел эти глаза... Но где? И главное, ведь она уже прошла, уже не вернется, ее не догнать! Боже мой, отчего так устроено все на свете — когда что-то с тобой происходит, ты только потом понимаешь, что это произошло?

Как вы уже, наверно, поняли, семьей я пока обзаводиться не собираюсь. Куда спешить. Потом меня всегда приводили в состояние крайнего раздражения, с каким-то нервным, бесконтрольным смехом в конце, все эти благодушные, отдающие мерзким восточным оптимизмом фразы о «нашей здоровой семье», «детях — цветах жизни», «молодежи — будущим планеты», на манер не менее дешевого в прошлом, а ныне подорожавшего православно-благословения посылаемые в плакатных кинофильмах, со страниц журналов, газет усталым труженикам, с чувством исполненного перед страной долга восседающим на лавочках подле своих домов или же забивающим «козла» где-нибудь в садике под окнами (допустимая реалистическая деталь), вслед не чуящим под собой ног молодым влюбленным, в ярких одеждах, с улыбками на лицах бегущим, взяв друг друга за руки, навстречу новому, светлomu...

Впрочем, кому ж не известно, на что в реальной действительности способны эти самые труженики на ниве жизни, особенно женского пола, поскольку мужская половина испытывает в эти минуты законное чувство вины с похмелья, если хоть что-то в поведении их сменщиков (читай, родных детей) приходится не по нутру. В тех же газетах всегда можно найти статью, в которой писатель-правдолюб с каким-то неувядаемым удивлением и даже возмущением повествует своим читателям о характере активных действий той или иной заботливой мамыши, случайно узнавшей, что в роду сердечной избранницы или избранника ее любимого ребенка имеются не совсем здоровые, не того, по ее мерке, достатки или, о чем уже не пишут, какой-то неподходящей национальности люди, и о том, кстати, каким макаром новая смена дружно откликнулась на это вмешательство со стороны своих предков, эдак, в стиле языческих оргий времен зарождения жизни на земле.

Но лучше не брать крайности, потому что, когда узнаешь о них, в страхе сравнивая все это с нравами людей, живших где-то в пещерах, на заре человечества, сами собой напрашиваются мрачные аналогии с концом света, завершением круга, мировой катастрофой, а жизнь все так же идет, не обращая никакого внимания на твои пугливые прогнозы, поворачиваясь к тебе все новыми, совершенно неведомыми сторонами, и выясняется, что все твое знание о прошлом стоит твоих представлений о будущем, а заодно и твоего понимания настоящего.

Так что возьмем уж лучше середину — обычную молодую семью: подающего надежды технаря или там врача, работающего в каком-нибудь перспективном институте, его симпатичную и энергичную жену, тоже где-то работающую, не так уж важно, где, зато неплохую хозяйку, заботливую мать (у них, предположим, пятилетний сынишка), в материальном отношении живущих неплохо и даже собирающихся, при помощи родителей, покупать собственную автомашину. Должна быть у них также и дачка, небольшая, обсаженная малиной, крыжовником, и цветами, где-нибудь по Курской, Рижской или Казанской дороге, тоже принадлежащая родителям, но постепенно переходящая в их владение. Жить они будут отдельно от родителей, в новом многоэтажном доме, в двухкомнатной квартире, с современной удобной мебелью, магнитофоном, проигрывателем, телевизором, холодильником, пылесосом, стиральной машиной, умными книгами на полках по западной психологии, восточной философии, набором пластинок классического и современного репертуара, двумя или тремя работами знакомого художника-авангардиста, одной, зато старой иконой, спрятанной в глубине стола, подальше от малыша, изданным где-то за рубежом, крайне неприличным журналом, всякими там вазочками, пепельницами, посудой, хрусталем, доставшимся от родителей, фарфором, оставшимся от бабушки, и прочей, мелкой и крупной (лень перечислять) дребеденью, входящей в обязательный набор вещей любого приличного дома.

Заглянем где-то под вечер в окно их уютной кухни: муж только что вернулся с работы и принимает душ (окно ванной комнаты, выходящее в кухню, запотело), жена, которая пришла чуть раньше, стоя около плиты в изящном домашнем халатике, стряпает легкий ужин на двоих (ребенок на пятидневке в детском саду), а вот они уже ужинают вдвоем за небольшим кухонным столиком, весело делясь впечатлениями, накопленными за день, после ужина смотрят в гостиной по телевизору какую-нибудь популярную телепередачу, по очереди читают давным-давно написанный, но только что изданный роман или идут в кино на какой-то иностранный кинофильм, стоящий, по мнению их друзей, того, чтобы его посмотрели. А может быть, к ним сегодня придут гости, такие же, как и они, молодые семейные пары: нарядные женщины, суетясь на кухне, готовят закуску, элегантные мужчины достают из портфелей спиртные напитки и иностранные сигареты, и вот они за столом, выпив по рюмочке и закусив, оживленно беседуют, женская половина — о детях, нарядах, событиях культурной жизни, мужская — о работе, машинах, политике, время от времени обмениваясь общими шутками на сексуальную или там алкогольную тему, относительно того или иного члена компании, особенно выделяющегося в этом плане, с восторгом слушают записи какого-нибудь опять охрипшего барда или там нового остролова-юмориста, смотрят слайды о позапрошлогоднем пребывании компании где-нибудь на курорте, танцуют, поменявшись женами, пьют чай и наконец, все выпив, съев и выкурив последние сигареты, расходятся по домам, договариваясь встретиться через день и как-нибудь особенно весело провести наступающий week-end. А наши молодые, убрав грязную посуду и проветрив дом, ложатся спать. По какому-то, только им самим известным признакам жена дает понять мужу, что она сегодня не против близости, и они, погасив или ослабив свет, предаются законной любви. Но вот их окна, как и прочие окна дома, гаснут — все спят. А завтра новый день. Работа. Кто-то из них в конце рабочего дня возьмет сынишку из детского сада, и они поедут с ним на дачу или останутся дома, мать будет купать сына в ванной, причесывать, кормить, отец будет читать ему что-нибудь интересное перед сном, отвечать на его многочисленные вопросы, а летом (скоро лето) они поедут на юг, к морю, где будут плавать, загорать, путешествовать, потом вернуться домой, загорелые, счастливые, и все у них опять пойдет своим чередом — жизнь, семья и работа.

Ну чем, скажите, все это не образцовая семья? Чем не городская идиллия? И даже если муж в отсутствие жены и сына не приводит домой любовницу, шалую уличную деву, с веселой завистью окидывающую озорными глазами чужое гнездышко, или его самого раз в неделю не приводят друзья, прислонив к двери, позвонив и убежав, дабы избежать распросов жены, что это с ее мужем и почему он мычит, ничего не соображая; даже если жена не лежит раз в году в нервном отделении какой-ни-

будь городской больницы или не имеет явного любовника среди друзей мужа, чего не хочет, да и не может больше скрывать и отчего у них с мужем происходят, прямо скажем, не самые симпатичные выяснения отношений; даже если они оба, жена, занимая пассивную позицию, а муж — активную, не терзают с каким-то подлым педантизмом своего маленького сынишку тем, что они зовут «своей системой воспитания», отчего малыш, разрыдавшись, срывающимся от слез голосом прозрит отомстить им, когда вырастет; даже если всего этого между ними нет и данная семья действительно являет собой какой-то идеал (во что я, признаюсь вам честно, ни за что не поверю все равно), положила руку на сердце, скажите мне правду и только правду: разве не чувствуете вы какой-то странной тоски, навеваемой образом этого земного покоя, этого простого человеческого счастья? Поневоле задашься вопросом: и это, что ли, все, и вот так вот, что ли, все и будет у них до тех пор, пока они не помрут, а потом их дети не помрут, дети их детей не помрут, дети их детей не помрут, дети их детей не помрут...?

Допускаю, что самые терпеливые из вас (о нетерпеливых я и не говорю, они, должно быть, давно с пренебрежением отложили написанное мною — еще бы, покуситься на святое святых их жизни — семейный уклад), так вот, даже самые терпеливые из вас, готовые благосклонно прислушаться к моему отдельному на этот счет мнению, будут, наверное, удивлены. Как так? Ну разве можно идти против собственной природы? Ведь это же ненормально. Все люди, созревая в определенный период жизни, закономерно испытывают влечение к противоположному полу и после известного и довольно бурного, судя по индивидууму, этапа поисков, метаний и страстей благополучно вступают в брак, имея при этом в виду, помимо эмоциональных, моральных и даже каких-то там философских соображений, обычный телесный зов, требующий размеренного и регулярного удовлетворения естественных запросов их пола!

Скажу лишь, что в моем лице сформировался особенный тип молодого человека — одно из звеньев цепи, связывающей нас с нашей природой (взгляд, желание, касание, близость, ребенок, семья, внуки, гроб), если не выпало, то явно ослабело, и в то время как большинству из вас, безоглядно переходящих от звена к звену, остается, проснувшись среди ночи и обнаружив рядом с собой на ложе вздымающую во сне супругу и мирно посапывающих по соседству детей, в ужасе вслушиваться в мерный ход часов, так тихо пародирующих ход времени, или же, встретив впопыхах на улице увешанную авоськами, заметно пополневшую первую школьную любовь, потряхивая лысеющей головой и виновато улыбаясь, сетовать на обстоятельство, я, притормозив где-то между «желанием» и «касанием», всегда могу сойти на обочину и устроить божественную забаву, имея в башке, благодаря чудесному свойству зрительной памяти, еще не выцветшую фотографию объекта своих желаний. Как бы это вам так лучше все объяснить? Есть такие мгновения в жизни, которых вы все равно не замечаете, а если замечаете, то спешите скорее перейти от слов к делу, торопитесь к цели — я же люблю потянуть удовольствие!

Помню, как еще в школе я часами мог наблюдать ту или иную свою соученицу, тайно любясь всем ее только начинающим себя осознавать женским существом: лилейностью личика, чудесно вспыхивающего при неожиданном вопросе учителя, рыжим, темным или белокурным локоном, как-то совсем еще по-детски игрушечной заколкой схваченным за ушко, направленным прямо на тебя взглядом ясных, чистых, ничего не видящих, широко открытых глаз, неожиданно потупленных (поняла, что на нее смотрят), невыразимой трогательностью плеч, тоненьким и прозрачным пальчиком с синим чернильным пятном на сгибе, заметной грудью, скрытой глухой и строгой, как физиономия завуча, формой, стройными, соблазнительными ножками, выше обычного открывшимися под и так укороченным до последнего предела подолом, копытцем ступни в простенькой, сбитой от беготни туфельке. Позже, в институте я уже разыгрывал целые романы, героини которых даже и не подозревали, кем они для меня являются, так как, за исключением серии выразительных взглядов и гримас, я ничем своих чувств к ним не обнаруживал, переживая при этом в душе все стадии обычного развития отношений (неожиданное знакомство, пылкое увлечение, начинающееся охлаждение и, наконец, полное безразличие).

Причем романов таких у меня было по несколько, на всех этажах, лестницах и в аудиториях института. Могу представить себе выражения лиц своих преподавателей, узнающих об истинной причине моего интереса к их лекциям. Становится ясно также, почему такие важные философские термины, как «базис», «надстройка» или какая-нибудь там «прибавочная стоимость», навечно связались у меня в мозгу с видениями самых восхитительных, самых манящих форм моих сокурсниц.

Когда же реальное знакомство с ними у меня все же происходило и взаимоотношения начинались на самом деле, трудно вам даже передать, какое наслаждение доставляла мне возможность, простившись утром, после очередной встречи, незаметно следовать за этой своей знакомой отнюдь не по соображениям ревности, а лишь только для того, чтобы видеть, как неторопливо бредет она против серого, слепого потока спешащих на работу людей, опустив руки в карманы небрежно расстегнутой шубки или пальто, смешно ступая в сапожках на высоких каблуках, поскоками немного внутрь, слегка растрепанная, с утомленными, покрасневшими от бессонной ночи и выпитого накануне вина глазами, как ребенок, опустив голову на грудь, с памятью, еще измазанной осязаниями, ничего не замечая вокруг, находясь все еще там, рядом со мной, ранним утром в постели. Но вот какая-то яркая посуда в витрине, а может быть, чай-то необычный головящий убор обращают ее внимание вовне, бровки хмурятся, заботы наступающего дня заставляют ускорить шаг, одежда застегнута, ее фигурка некоторое время еще маячит в толпе, пока раздвигающиеся челюсти подоспевшего трамвая, автобуса или метро не съедают ее вместе с остальными.

Или же наоборот, ни о чем с ней не договариваясь, так, чтобы она совершенно не была к этому готова, ждать ее у выхода из института, даже не зная, была она сегодня на занятиях или нет, ушла или еще сидит в аудитории (тут особенно важно поймать все эти случаи). На улице, предположим, мороз, ты стоишь под деревом, всматриваешься в окна институтского здания, слышишь с трудом доносящийся до тебя звонок, отмечающий конец очередной пары лекций, видишь, как через небольшой промежуток времени, нужный для того, чтобы выйти из аудитории, спуститься по лестнице в вестибюль и получить в гардеробе свою одежду в обмен на номерок, вылетает из дверей здания первый заполошенный студент, левой рукой придерживая на бегу большую лохматую шапку, правой, с модным узеньким «дипломатом», пытаясь задержать проходящее мимо такси. Неуклюже, как тюлень на суше, переваливается вслед за ним пожилая толстуха-лаборантка, выход которой случайно совпал с концом лекций; постреливая на ходу глазками, нагревая дыханием и прижимая к щеке варежку, выпархивает стайка молоденьких девушек-студенток; потоком идут целенеющие от мороза деловитые молодые люди, легко сбегает по ступенькам какой-нибудь бодрый старик преподаватель, чернобровая красавица дама в окружении поклонников-учеников, два майора с портфельчиками, и вот, наконец, она с подружкой, беспечно болтая о чем-то, торопится на уже подъезжающей к остановке автобус и вдруг, совершенно случайно, замечает тебя... И несмотря на то, что она еще даже не сбавила шаг, еще идет подле подруги, прислушиваясь к тому, о чем ей та говорит, ты уже по одним только ее глазам замечаешь, что сразу забыто все — чужие заботы, скучный день, проведенный в институте, планы на вечер, — она останавливается, говорит что-то своей подруге, которая, впрочем, и сама уже все поняла, прощается с ней, бегущей на остановку, и идет к тебе, вглядываясь в тебя, растерянно улыбаясь.

Да даже просто, когда дело уже дошло до постели, как я люблю, миновав наконец самый неинтересный, поскольку за ним почти невозможно наблюдать, и такой ценный для вас своей производительной функцией период непосредственного животного соития, обнаружить себя под утро лежащим где-нибудь рядом с ней в кабинете своего приятеля или же в спальне маленькой дочери ее подруги, помещениях, совершенно не подготовленных к тому, что сейчас там происходит, с застигнутыми врасплох, еще несущими на себе след посторонней, весьма серьезной деятельности вещами — какими-нибудь там чертежами, рисунками, стопками густо исписанных листов бумаги, раскрытыми на определенной странице книгами или же детскими игрушками, всякими там куклами, мишками, собачонками и обезьянками, молчаливо взирающими, прервав не доигранную с ве-

чера игру, на эти белеющие в обмелевшей темноте, успевшие расцвести за ночь бледные цветы ноготы; слушая гудение первых проходящих за окнами автомобилей, топот ног на лестничной клетке, хлопанье двери в подъезде, знать, что есть еще время полежать; вглядываясь в ее заблестевшие в полутьме, смотрящие на тебя откуда-то издалека чудесные глаза, касаться ладонью ее нежной кожи; удивляясь господству одной-единственной линии, отразившейся во всех частях ее абсолютно женского тела, чувствовать шевельнувшееся в глубине желание.

Так кого же, кого хотите вы мне выдать за образец современного святого семейства? Какими узами здорового и крепкого брака хотите вы меня связать? Вы, невзрачные и унылые, оправдывающие блуд жены нелепыми ссылками на западную свободу нравов, торопливо пытающиеся заглушить свою собственную любовь неумелыми попытками разврата! Вы, предусмотрительно женившиеся на некрасивой и потому верной, не скрывающие своего хамского презрения к женщине, без которой не способны продержаться и ночи! Вы, нагло плодящиеся со скоростью мелких домашних животных, объясняя все это какой-то новейшей моралью или давно уже вымершей верой в Бога, а засим с яростью охаивающие окружающую действительность за те трудности, которые сами же из своего безымянного пальца и высосали... Нет, лучше уж я навек останусь одиноким!

А чтоб мои редкие, скользкие связи даже смутно не напоминали ваши (во всякой близости есть доля надежды, и, когда она гибнет, становится грустно), я уезжаю на юг, к морю, где обязательно отыщу себе красавицу с раскосыми глазами, подобную той, что встретилась мне у метро, и будем мы с ней любить друг друга, купаться в море, ходить в горы, загорать на солнце, ничего друг от друга не требуя, ничего друг другу не обещая, как умеют общаться одни лишь по-настоящему свободные люди.

Слышите, как стучит колесами, как гудит, пролетая мимо пригородных станций, уносящий меня в места моего отдыха тепловоз. За окнами вагона ночь. Мои соседи по купе, переключив желтый дневной на синий ночной свет и опустив шторку окна, уже спят, завернувшись в одеяла, на столиках тихо позванивают ложечками стоящие в подстаканниках пустые стаканы из-под чая, на полках для багажа лежат набитые легкими летними вещами сумки и чемоданы, молоденькая проводница, в последний раз осмотрев свои покачивающиеся из стороны в сторону владения, запирается у себя в купе, оставляя меня в коридоре одного, а я, опустив раму окна, подставив лицо прохладному железнодорожному ветру, гляжу на плывущие передо мной на поворотном круте пространства черные на темном фоне неба леса, залитые лунным светом поля, провалы оврагов. Вот поезд с грохотом врывается на мост, с минуту рвущий у меня на глазах изломанными железными фермами серебряное чешуйчатое тело ускользающей от него в тину прибрежных зарослей реки, а слева призраком ада встает огромный металлургический завод, в недрах которого, не затухая ни на минуту, бьется, вздымаясь к самому небу, лихое косматое пламя, в его отсветах ходят, шевелятся мегаживотные формы, железный кишечник этого питающегося самой землей создания. Поезд замедляет ход — впереди небольшой индустриальный городок, моросит дождь, по улицам, освещенным бледным неоновым светом, едет на велосипеде какой-то человек в плаще; на перроне подоспевшего вокзала женщина с ребенком на руках и чемоданом, дежурный в железнодорожной форме, толстяк милиционер, какие-то старухи с мешками, девушки в платочках, кулакастые солдаты... Поезд, не останавливаясь, летит вперед, бегущее от него в сторону серое стадо домов ныряет в овраг и снова карабкается на холм, кое-где в окнах еще горит свет, кто-то не спит; последним отстает от поезда, грустно блеснув в темноте намокшим асфальтом, освещенный единственным фонарем переулочек.

Да, действительно, понять происходящее можно почему-то лишь только после того, как оно уже произошло. Сейчас, откровенно говоря, я не могу даже вспомнить, как первый раз ее увидел, не тот, «нулевой», когда мы встретились в городе у метро (этого я никогда не забуду), а именно

первый, их, видимо, было несколько, «первых», — когда живешь в маленьком приморском поселке, по многу раз в день, нос к носу встречая почти каждого из его обитателей, трудно бывает выделить первую и вторую встречи, человек возникает одновременно в разных местах твоего сознания подобно изображению собственной, подслеповатой от фото-вспышки физиономии на еще бледном квадратном языке моментальной фотографии, с каким-то жутким жужжанием и шипением показанным тебе твоим же изобретением за столь нечестивую попытку — удержать мгновение жизни. Кажется, это был маленький поселковый базар — ряды обитых железом прилавков, частью под навесом, частью под открытым небом, на которых местные жители разложили на продажу отдыхающим разных сортов помидоры, яблоки, груши, сладкий перец, мелкие абрикосы, румяные с одного бока персики, орехи, миндаль, под навесом торговали лекарственными травами, шелковицей, сметаной, медом, молоком, мясом сегодня утром еще живого поросенка; суетливые, запыленные южане, приехавшие издалека, продавали прямо с борта грузовика небольшие, испачканные глиной арбузы; автолавка предлагала покупателям ковры ядовитых расцветок, капроновые бюстгальтеры, ночные рубашки, сумки и кошельки с изображением подмигивающих восточных красавиц; в воздухе витали ароматы съестного, пахло сбрызнутой быстрым, летучим дождем пылью, бензином, гул голосов мешался с треском моторов, порывами пыльного ветра... Первое, что, конечно, должно было броситься мне в глаза, были ее волосы — черные, как воронье крыло, тяжелые, блестящие, как смоляные нити, вступившие в какую-то колдовскую игру с ее темными, хитрыми глазами, смуглым яблоком скулы, белой долькой зубов, — она торговалась с продавцом, смеялась чему-то, слегка касаясь загорелой кистью яблок и абрикосов. Тогда мне еще только предстояло узнать, что она была настоящей воровкой — в нашей с ней недолгой, но бурной совместной жизни мы много шатались по всяким там рынкам, базарам и магазинам, и каждый раз, когда она, пользуясь старинным, испытанным приемом, просила продавца показать ей что-нибудь, лежащее в стороне или под прилавком, а сама в это время совершенно невозмутимо, на глазах у покупателей, складывала к себе в сумку столько, сколько ей было нужно, товара и уходила, уплатив, естественно, только за то, чем интересовалась, я, замирая в каком-то священной ужасе, боялся одно — атмосферой собственного волнения сделать явным ее преступление.

Нет, не подумайте ради бога, что она была жадной, корыстолюбивой, я не знал более доброго и бескорыстного существа. Правда, ее доброта не была добротой так называемого «хорошего» человека, который только и занят тем, что с утра до вечера делает свои добрые дела, доводя до бешенства окружающих, скорее это была доброта ребенка, пришедшего к вам со своей игрушкой и позабывшего ее у вас после игры, сделав сам факт подарка совершенно незабываемым. Ведь до сих пор так же, как вспыхивают на обочине дороги выхваченные фарами летящего во тьме автомобиля покрытые специальной флюоресцентной краской предметы и знаки, напоминающие об оласности, так вспыхивают для меня особым светом среди всех вещей моего дома случайно попавшиеся мне на глаза ее вещи, напоминающие о любви, как, кажется, сами вышедшие (так вылетает на свободу птица, улепетывает отпущенный в лес зверек) из ее рук, из ее пальцев... Нет, никогда уже, ни до нее, ни после, не встречал я у женщин таких рук, таких пальцев, одного прохладного прикосновения которых к разгоряченным яблокам моих глаз, к моему лбу, к моим губам достаточно было для того, чтобы мгновенно излечить любую мою печаль, осушить самые горькие мои слезы, остудить самые горячие мысли, обновить самые злые слова. А ее запястье? Таким запястьем не нужны были украшения, а если они и были, то еще не известно, кто кого украшал. Она носила простенький серебряный браслет...

Или же мы повстречались с ней, когда я возвращался после своей прогулки с гор, утомленный подъемом и хождением по невысоким, зато абсолютно соразмерным нормальным человеческим возможностям крымским вершинам, готовым покориться тебе за три-четыре часа послеобеденного времени в отличие от своих кавказских или там памирских собратьев, искушающих туповато-жилистую гордыню альпиниста неприступным видом своих белоснежных вершин. Возможно, я бежал вниз по скло-

ну, наслаждаясь тем, что почти ничего не нужно делать для спуска, что тело само угадывает, куда и как в данный момент поставить ногу, какой камень перепрыгнуть, где повернуть, а местность, благосклонная к этому моему, для нее блошиному, скоку, в ответ на такую телесную интуицию заботливо подставляет мне под ноги крепкий камень, твердую почву, упругую, выцветшую на солнце траву, а если и осыпается у меня под ногами, то лишь только для того, чтобы прокатить меня несколько метров, что, пролетев эти метры, я понимал, было естественным, предусмотренным заранее элементом моего скорее танца, нежели бега по склону. Дорогу мне многозначительно пересекала летящая над самой землей большая бесшумная птица, в разные стороны, задом, вверх и наискось, выпрыгивали у меня из-под ног кузнечики, вискальзывали и исчезали в камнях юркие ящерицы, упрямо набирала высоту сносимая в сторону легким дуновением ветерка белая бабочка-капустница, повисший в горячем воздухе незримый зуд цикад нельзя было отличить от шума крови в ушах, шума собственного дыхания, шороха почвы под ногами.

На бегу я и не заметил, как они появились снизу, из-за бугра, она и он, ее поклонник, кавалер, ухажер, любовник или как еще можно назвать ту мужскую особь, выделение которой из всей массы сильного пола бывало стопроцентной реакцией на появление этой женщины в любой человеческой, а может, даже и нечеловеческой среде. Обняв друг друга и как-то неуклюже, напоминая собой спаривающихся прямо на лету насекомых, они медленно, как во сне, влекомые какой-то третьей силой, шли вверх по склону. Кажется, на ней была какая-то синенькая маечка, короткие белые шорты, высоко открывающие ее загорелые ноги, обутые в ременные сандалии на толстой пробковой подошве.

Тогда мне еще только предстояло узнать, что она была настоящей «блядью». Попрошу не путать это слово с социальным термином «проститутка», определяющим, как правило, не соответствующую внутреннему душевному строю профессиональную принадлежность. Нет, эта женщина после знакомства с мужчиной могла тут же лечь с ним в постель, провести ночь, под утро расстаться, а днем, при случайной встрече, совершенно искренне не узнать последнего, что частенько кончалось для того состоянием нервного шока. Назначая очередному любовнику свидание и опаздывая, она могла выйти из дому с тем, с кем только что лежала в постели, да еще и познакомиться соперников, посмеиваясь над их неведением друг о друге. Провожая ее домой, никогда нельзя было быть уверенным в том, что ты не передаешь ее с рук на руки, как эстафету, какому-нибудь пылкому поклоннику, ожидающемуся прямо в подъезде ее дома, на что она с ехидством любила намекнуть, особенно когда этого не было, предлагая тебе зайти и познакомиться. Чем больше я узнавал ее, тем больше меня поражало ее абсолютное безразличие в отношении возраста, внешнего вида, права, национальности, расы, имущественного положения партнера, казалось, она могла раскрыть объятия любому мужчине, способному лишь испытывать к ней желание, готова была собрать вместе всех своих любовников, только бы они не разорвали ее на части, совершенно не волновалась по поводу условий, в которых все это происходит, будь то отдельная комната, ночной сквер, телефонная будка, вершина горы, автомобиль, берег моря, подъезд, лесная лужайка. Я даже думаю, будь на то ее воля, она с удовольствием предалась бы этому занятию прямо посреди многолюдной площади большого столичного города! И в то же время (о, как трудно переварить это куцым мозгам моралистов, ханжей и циников всего мира) я не знал более чистого и целомудренного существа! Правда, ее чистота не была чистотой так называемого «высоко нравственного человека», который больше всего на свете заботится о своей репутации, боясь впасть в грех и потому таская его в себе постоянно. Скорее это была чистота ребенка, увидевшего сладкое, потянувшегося к нему своими руками, да вдруг отвлеченного и уже все позабывшего, обнаруживая тем самым пока еще полное отсутствие у себя тех мест, куда бы можно было складывать все свои надежды и ожидания. Ведь точно так, как вещество проводника в цепи электротока по мере охлаждения теряет свое сопротивление, так я, когда она, желая подразнить меня немного, открывала передо мной свою, буквально девочкину, по чистоте, наготу, вдруг, к немалому ее удивлению, терял вначале доводящее меня

почти до обморока желание, приобретая такой накал всепоглощающей любви к ней, такой нежности, что вместо предполагающегося удовлетворения естественных запросов своего пола тут же готов был пасть перед ней на колени, с рыданиями целуя землю, по которой она ходит, ее туфли, ее ноги...

Ах, никогда уже, ни до нее, ни после, не встречал я у женщин таких ног, ослепительных ног блудницы, при одном лишь взгляде на которые бесились, непоправимо теряя всю свою святость, ветхозаветные пророки, ног, которые я, как ни стараюсь, не могу почему-то назвать «ножками», потому, видимо, что эротическая и опорно-двигательная функции находились у них в совершенном равновесии, в отличие от иных субтильных ножек, приспособившихся в процессе естественного отбора к тому лишь, чтобы с грехом пополам доносить своих обладательниц до постели, или же, наоборот, так натренировавшихся в борьбе за существование, что, сколько теперь ни рыскай по ним в поисках нежности, ни на грош ее не отыщешь!

А может быть, наша встреча произошла на берегу моря, в этой точке схода всех земных стихий, в тот час, когда, по справедливым словам известной и старой песни «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», его лучи уже не освещали, а просто касались отдаленных вершин, далеко выдающихся в море мысов, белых облаков над горизонтом, наслаждаясь ответным золотым сиянием последних, в тот час, когда море замирает и его вода становится неподвижной, гладкой и густой, как ликер, когда ветер, а за ним и флора, и фауна стихают, почтительно прощаясь с солнечным светом, и одни лишь люди, ни с чем не желая считаться, смеются, переговариваются, галдят, сидя, стоя и лежа на берегу, такие красивые в своих разноцветных одеждах, с побелевшими на фоне потемневшей кожи улыбками и глазами, доводя непослушанием грусть происходящего уже до нестерпимости. В час заката, когда я просто лежал на пляжном песке, еще хранящем тепло уходящего дня, к берегу брасом плыла женщина, плавно разводя перед собой руками, как-то особенно нежно опуская в воду и снова поднимая из воды свое лицо, закрывая глаза и снова открывая, как будто засыпая и просыпаясь, — вот она подплыла к берегу, ощутила ногами дно, встала и вышла из воды, вся в сверкающих на солнце, стекающих прямо с нее потоках морской влаги, стройная, с мокрыми, извивающимися по плечам волосами, как жужелица (по ее собственному выражению), почерневшая от загара, с тонкой серебряной полоской браслета на запястье...

Тут мне хотелось бы сделать небольшое отступление специально для тех, кто еще ждет банального перечня событий, именуемых сюжетом (а что она ему сказала, да что он ей ответил, куда они потом вместе пошли, что там творили, о чем говорили??), всего того, что наш неразвитый читатель еще считает литературой, неграмотный редактор пытается выдать за достоинства автора и чем писатель (хотел бы я знать, почему?) бывает удовлетворен, называя плодами своего творчества свод правил и приемов с тысячелетним стажем. Но книги, как вы, конечно, слышали, пишутся сердцем, рассудок в данном случае всего лишь нейтральный советчик, а сердцу, как известно, не прикажешь, ломая рамки старого сюжета, оно, незваное, знакомится само, заводит взаимоотношения и, если они возникают на самом деле, всем недовольно, на все имеет свой взгляд, суется кстати и некстати, дает советы, подталкивает, кипит, когда же рассудок спокойным голосом сообщает ему, что предмет его любви умер, уехал в далекие края или там ушел навсегда к другому, — оно стихает, поняв как будто происходящее, пытаясь заняться чем-то простым, земным, повседневным, чтобы недельки через две, через три, судя по индивидууму, где-нибудь за обедом, среди друзей или прямо на улице, вдруг вспомнив о чем-то или наткнувшись случайно на какую-то вещь, взорваться такой бурей слез, такой адской болью, умоляя прийти того, кого давно уж нет, призывая назад то, что никогда не вернется... В этом сердечном реве тонут все доводы рассудка, но он, как умный вулканолог, измерив после взрыва количество выпавшего пепла, температуру лавы, высоту выброса породы, с риском для жизни спускается в самое жерло вулкана, чего-то там ощупывает, вынюхивает, мудрит, и вот, глядишь, уже подвел трубы, пустил по ним воду, вода кипит, превращаясь в пар, пар крутит турбину,

турбина дает ток, а ток бежит по проводам, освещая города, поселки, деревни, в которых, сидя по вечерам у себя дома, при свете обычной комнатной лампы, читают люди новые книги о вечной любви...

Она жила в маленьком, тесном сарайчике, на хоздворе дома творчества, утром ходила на пляж, после обеда в бухту и в горы, попросту отдыхала на набережной или у себя дома, вечерами отправлялась к кому-нибудь в гости, принимала друзей у себя, гуляла по набережной, вдоль берега залива с теми, с кем точно так же и точно там же гулял и я и продолжал бы, наверное, гулять до сих пор, отделяясь на этот счет словечками вроде «встретил знакомых», «посидели — потрепались», «девочки и ребята», «мир тесен», «компания», — если бы не ее появление в моей жизни, в мгновение ока, как по волшебству, превратившее всех этих девочек и ребят, всю эту компанию в обнаглевших, вертлявых евреев, нетерпеливо ожидающих разрешения на выезд и потому особо охочих до половых приключений напоследок; мордастых, полупьяных, с отвратительными конечностями русаков, с какой-то подозрительной яростью подчеркивающих свое псевдопатриотическое нежелание куда-либо, когда-либо выезжать, но явно не уступающих в половых подвигах тем, кто уезжает; обыкновенных вору и бандитов неизвестной национальности, маскирующихся под интеллигенцию, молча, в темном углу хватяющих свою добычу, озираясь по сторонам бестыжими глазами; обезумевших от пьянства, ни на что уже не смотрящих, прущих прямо напролом интеллигентов совершенно бандитского вида; потерявших надежду и форму, бывших в употреблении баб, зато в модных, фирменных шмотках, тщательно разукрашенных, готовых, если не для себя, то хоть для других активно содействовать развитию любого курортного романа; молоденьких девушек, с бледными, ангельскими лицами, кажется, еще даже не кончивших школу, зато невытых, нечесаных, в какой-то грязной джинсовой рванине, с фанатическим безразличием предающихся где-нибудь на природе групповым утехам со своими находящимися с ними на одном антисанитарном уровне хиппующими, а ныне панкующими (один черт) друзьями; провинциальных поэтов, уже опорочивших в битвах за путевку свою несовершеннолетнюю музу; известных писателей, вдали от семьи, в припадке демократизма, решивших по душам с современной молодежью и оказавшихся, к полному своему недоумению, в ощутимой физической, если еще не материальной, зависимости от молодых и хищных, с гибким скользким тельцем и копеечными мозгами курортных ловчих; одиноких мамаш, подыскивающих своему малолетнему ребенку нового папу; папашиных сынков, запросто входящих в любую, самую мерзкую компанию и так же легко уходящих из нее в свой собственный отдельный номер с горячей водой и чистыми простынями; здоровенных украинских парубков, затесавшихся за стол по территориальному признаку да в связи с интересами иных столичных дам, не упускающих возможности попробовать на вкус местную клубничку; каких-то менее известных, с репертуаром более известных бардов, хрипло или звонко, под гитару, на набережной распевавших свои унылые или, наоборот, удалые баллады; там же, на манер Монмартра, торгующих акварельными карикатурами и так присутствующих здесь красот альфонсов чужих муз; йогов с высшим техническим образованием, необразованных флейтистов, нудистов, коммунистов, онанистов, каратистов, теннисистов, педерастов, американистов, нацистов, мотоциклистов, альтистов, бильярдистов, альпинистов, пацифистов, массажистов, полностью пропитавшихся портвейном подонков и прочий человеческий сброд, который (о, горькое признание!) и соединил-то нас с ней и который я, в момент наислабейшего своего приступа ревности, попадаи каким-нибудь фантастическим образом его существование в зависимость от моего волеизъявления, не задумываясь ни на минуту, глазом не моргнув, отправил бы на тот свет (непонятно только, кто же в таком случае остался бы жить на земле? — я и она... я и она... я и она, моя любовь!).

Но жизнь, к сожалению, не предоставила мне такую возможность. Да даже если бы и предоставила, я бы, конечно, никогда не посмел ею воспользоваться... И дело тут не в моем хорошем воспитании и не в каких-то там абстрактных моральных принципах, которыми «гнилой интеллигент» пытается оправдать свою полную неспособность встать на защи-

ту собственного чувства, трусливо бормоча что-то о «невмешательстве во внутренние дела», о чьем-то там «непротивлении злу насилием», чего, в свою очередь, начисто лишен «хам трамвайный-обыкновенный», продолжающий на глазах у изумленной публики весело и жадно насилловать жизнь до тех пор, пока справедливая смерть не прихлопнет, как мух, и того, и другого. Дело не в этом! Все дело в вечном характере моей любви! Ну разве можно, скажите мне, что-то прибавить или отнять у вечности, разве есть враги у бессмертия, и кто, покажите мне, кто способен удерживать то, что никогда не проходит? Ведь все ваши унылые достижения, победы и построения, все ваши убогие стремления, желания и обладания, нелепые попытки исправить что-то, кого-то перевоспитать и изменить оттого лишь только и происходят, что никого и ничего вы никогда не любили — потому что, если бы любили, то знали бы, что нет поражений и нет разрушений, нет потерь, безразличия и одиночеств, нет ошибок, а все, и всегда, и везде только есть, только есть, только есть!

Нет, я, конечно, понимаю, что какой-нибудь изошренный читатель, основательно поднаторевший в иезуитской казуистике спора, готовый хотя бы на время спора посмотреть на проблему с точки зрения противника, возможно, заметит: «Я извиняюсь, а как же в таком случае жить человеку? Ведь все на земле оттого только и происходит, что человек любит жизнь, к чему-то стремится, планирует, ставит перед собой задачу, в том числе, конечно, и боится смерти, сопротивляется ей, противостоит, что является, как известно, всеобщим законом живого! Ну, а если он, человек-то этот, бессмертен, если он, так сказать, имеет в себе кое-что от вечности, то какой же резон ему в таком случае вообще тут что-либо делать, о чем-либо беспокоиться, ведь он же тогда, я опять извиняюсь, сядет и будет сидеть, сложа руки... а кто ж за него будет работать? Ведь это сколько ж тогда на земле дармоедов разведется, да и вообще, как же тогда жизнь будет продолжаться?»

Вот тут-то, я думаю, самое время рассказать вам об одном разговоре, случившемся между мной и моей любимой, если мне не изменяет память, где-то во второй половине дня, когда я и она или уже пришли, или еще только собирались идти на пляж, она присела на лавочку, чтобы выкурить сигаретку, я сел рядом, была жара, в висящих поперек хоздвора белых кулисах сохнущего на солнце постельного белья неторопливо разгуливали поклевывающие что-то в песке голуби и куры; драный задиракот и беспородный бродяга-пес, перекормленные сердобольными курортниками, позабыв о вражде, как убитые, валялись в тени неподалеку друг от друга; чей-то голеный карапуз, будущий буюн, выполз на солнышко, изо всех сил стараясь перейти из положения четвероногих в принадлежащее ему по праву двуногое, но так и не сумел; где-то далеко на причале зазвучала одна и та же, порядком поднадоевшая поселку популярная песня «Где же ты, моя любимая»...

— Ты знаешь...! — сказал я ей (она ленивым движением пальцев пыталась разогнать собравшуюся вокруг нее в неподвижном, горячем воздухе, окутавшую ее скуластое лицо с раскосыми глазами, ее повязанную купальником, на манер чалмы, голову чадру табачного дыма — чудесное сочетание всех черт Востока), — ты знаешь, я ведь давно уже хотел тебе сказать, что я тебя люблю, что я не могу жить без тебя... Давай всегда, всю нашу жизнь будем жить вместе! Я предлагаю тебе свою руку и сердце!

Она помолчала немного, сделав несколько затяжек, улыбнулась...

— Я согласна! Но есть одно «но»! Не знаю, согласишься ли ты? Ведь ты про меня еще ничего не знаешь... — и тут она снова взглянула на меня так, как глядела уже однажды, там, в городе, у метро, — я уезжаю в Америку, да-да, не удивляйся, все уже на мази, и даже есть человек, который мне в этом поможет, он должен быть в Москве после Нового года... Дело не в нем, конечно, и не в Америке даже... Просто, если я буду жить там, я буду свободна, совершенно свободна, я смогу видеть весь мир, все страны, смогу ездить, когда угодно, куда захочу и ни от кого не буду зависеть!

— Ты хочешь уехать отсюда навсегда? — спросил я ее чьим-то совершенно не знакомым мне голосом...

Она отвернулась, посмотрела перед собой невидящим взором и медленно молвила мне в ответ:

— Нет, почему же? Я бы хотела вернуться, я, правда, не знаю, когда это случится, но я бы хотела вернуться, так что, если ты любишь... если ты меня любишь...

Да-да, дорогой читатель, вы можете не сомневаться, я ее, конечно, люблю! Да и потом что же мне оставалось делать, признать, что моя любовь не является вечной — но эта любовь не стоит признаний; согласившись с вечностью, встать перед перспективой пожизненного одиночества — интересно взглянуть на того, кто на это согласится?!

Неужели и после этого вы еще будете утверждать, что человек к чему-то стремится, планирует, ставит перед собой задачи, чему-то сопротивляется, противостоит? А известно ли вам, что вас, как таковых, вообще не существует?! Что говорить о вас можно лишь постольку, поскольку вы являетесь инструментом в руках судьбы, пешками в ее игре, и самое виртуозное в этом то, что играет она вами именно при помощи вашей уверенности в том, что вы «есть», к чему-то там «стремитесь», «планируете», «ставите перед собой задачу», «чему-то сопротивляетесь», «хотите противостоять»...

Попрошу меня правильно понять, — я не святой, приносящий себя в жертву ради жизни целого мира (у таких судьбы нет — вернее, она носит у них иное имя), я же, придерживающийся новых названий, ничем от вас не отличаюсь, за вас не отвечаю, и мне на вас на всех глубоко наплевать! Но как бы это вам так получше все обрисовать? Есть особые состояния в жизни, испытать которые вам в принципе не дано, бесцельно анализируя прошлое, бесплодно мечтая о будущем, вы, ослепленные судьбой, лишены настоящего, я же, за свое невольное согласие с ней, сам могу быть свидетелем событий, главным героем которых являюсь, и, несмотря на то, что мне, как и любому свидетелю, вмешательство в ход этих событий категорически воспрещено, я, в отличие от вас, хотя бы вижу, что со мной происходит.

Так уж вышло, так получилось, что по левую сторону знакомого вам залива, за мысом, по ходу дня меняющим окраску с серебристо-серой на нежно-фиолетовую и очертаниями напоминающим известного своей мимикрией зверька, располагалась широкая морская бухта, в самом фокусе которой, если глядеть на нее с одной из трех возвышающихся на противоположном краю залива гор, одновременно (сотни полторы миллионов лет тому назад), специально для нас уже была готова скала, подобно айсбергу чуть-чуть приподнявшая над водой свою вершину. Вплавь до этого каменного, с берега бухты похожего на парус острова нужно было добираться часа полтора, в то время как вся излюбленная отдыхающими прогулка в бухту занимала от силы минут сорок. Поэтому, когда моя любимая, раздевшись в бухте донага, пошла к воде (купание в обнаженном виде было, как уже сказано, в нашей компании заведено) и я, сбросив последнюю одежду, пошел вслед за ней, никому из тех, кто остался на берегу, даже в голову не пришло, куда мы поплывем. Признаться, я и сам об этом не думал, мною руководило простое желание побыть с ней наедине, да еще подразнить увязавшегося за нами в бухту одного из своих многочисленных и назойливых соперников. Но, как только мы с ней остались в воде вдвоем, я почему-то сразу же предложил ей плыть со мной на «парус», она согласилась, а так как плавали мы оба хорошо, когда на берегу, наконец, разгадали наш план, ни догнать, ни вернуть нас назад уже было невозможно. Теперь попрошу вас представить себе двух влюбленных в друг друга, свободных от всяких дурацких предрассудков, отлично загоревших на солнце молодых людей на окруженном со всех сторон водой острове, главный камень которого, если встать на его пологую подошву со стороны открытого моря, всегда готов скрыть... нет, не их двоих от всего оставшегося позади мира (с берега бухты и так ничего не видно), а весь оставшийся позади человеческий мир от них двоих, оказавшихся как нельзя кстати *tete a tete* в том простом одеянии, что лишь одно способно поспорить своим совершенством с камнями, волнами, морской пеной, чистой линией горизонта, полупрозрачным слонстым абрисом синеющих вдалеке мысов и гор...

Согласитесь, было бы очень странно, если бы с этими людьми в этом

месте не случилось того, что я, конечно же, не рискну описать — не потому что стыжусь (в наше время это было бы даже оригинально), а потому что считаю это невыполнимым! Готов разделить разочарование читателя в связи с отсутствием здесь откровенных картин торжествующей плоти, которые последнее время появляются на страницах и нашей стыдливой прозы и сквозь которые, по мере приближения сюжета к заветной судороге героев, несмотря на всякие там местные словечки и диалектизмы, призванные любовно скрасить свойственные подобной интимной ситуации нелепые ухватки, ужимки и прыжки, упрямо проступает бросающая в дрожь сладострастная рожа самого автора. К сожалению, в этот раз этого, по-видимому, не случится — ведь мы с ней были одни на острове, за нами никому было наблюдать! Мы же, обращенные лицами внутрь себя, шли к совершенному исчезновению, когда присутствие другого становится все более условным, а не поддающиеся никакому определению чувства настолько захлестывают сознание, что ничего, кроме шума волн, шума ветра в ушах да собственного дыхания, вспомнить потом не удастся. Любая, самая робкая попытка все это описать была бы в этом случае явной ложью!

И только после того, что там между нами случилось, в то единственное мгновение, когда природа отвернулась, удовлетворенная жертвой, а мы, предоставленные друг другу, в зоре между ушедшим и еще не пришедшим ему на смену желаниями, обнаружили себя, подобно изгнанным из Эдема Адаму и Еве, стоящими в обнимку, по щиколотку в ослепительно белой, сверкающей на солнце морской пене, бесконечно полощущей мохнатые, как шерсть, водоросли, растущие на камнях под водой; когда вокруг нас в разных местах по-разному, как это бывает лишь на большой глубине, шевелилась морская стихия, готовая, если бы ей вдруг вздумалось, мигом слизнуть нас с этих камней, а бьющиеся о камни волны и ветер, кидающий нам в лицо морские брызги, издавали тот особый шум, что, раз попав в раковины ваших ушей, остается там навсегда; когда небеса да морская даль сияли тем нестерпимым светом, как, отразившись у вас в очах, уже не может быть забыт никогда, обреченный мерещиться вам в самые серые ваши дни, сниться в самые черные ваши ночи, — в это мгновение я и моя любовь испытали редкое чувство родства друг с другом! И несмотря на то, что нам вообще-то пора уже было плыть назад, да и возвращаться в поселок, к тому же через несколько дней она собиралась уезжать, — я в этот день был начисто лишен и ревности, и печали. Что-то случилось там, на этом острове, не поддающееся определению, но для меня несомненное, так что на обратном пути из бухты я шел по дороге далеко впереди всей компании, любуясь красотой первых дней наступающей осени, лишь изредка оглядываясь на свою возлюбленную, которая, беспечно болтая о чем-то с моим побежденным и еще не знающим о своем поражении соперником, отвечала мне всем своим уже не расторгимым со мною видом, глазами, загаром, улыбкой, черными, развевающимися по ветру волосами на фоне густеющей вдалеке синевы моря и пыльного по краям дороги золота недавно убранных полей.

Нет никакого смысла описывать вам все наши взаимоотношения за этот единственный отпущенный нам судьбой год. То, что тут было сказано вам о них, вполне достаточно их характеризует. Прибавлю лишь, что все, что бы ни задумывала моя любовь, всегда и везде исполнялось — человек, который должен был ей помочь выехать из страны, как и ожидалось, прибыл в Москву зимой, они расписались, он уехал назад к себе домой, дожидаться ее ответного приезда, пришла весна, и она подала документы в соответствующие учреждения для оформления своего выезда за границу. Наступало новое лето... Предчувствуя, что жить нам вместе осталось недолго, мы решили проститься с тем местом, где познакомились с ней когда-то, где нам когда-то было так хорошо! Правды ради должен сказать, что инициатором этой, последней поездки был во многом, конечно, я, она катастрофически не умела прощаться, я же уже представлял себе наше прощание в стиле классической мелодрамы: двое нелюдимых влюбленных, взявшись за руки, бродят вдоль моря и по горам, смотрят подолгу вдалеку, целуются, кланутся никогда не забывать друг друга... И действительно,

вначале, как говорится, все шло по чертежам, пока судьбе опять не угодно было вмешаться в это дело!

Видите ли, сравнительно недавно (относительно, конечно, моего пребывания в этом месте) справа, если встать лицом к морю, на одном из прибрежных холмов появилось довольно странное строение — дом не дом, сарай не сарай, вечно не достроенное или в процессе перестройки, оно очень скоро привлекло к себе внимание окружающих. Хозяином этого сооружения был безногий калека, удачно компенсирующий утраченную вместе с конечностями свободу передвижения лихой ездой на своей инвалидной машинке, с ужасным треском снующей по узким улочкам поселка. Где и как этот человек потерял свои ноги, мне не известно, но именно эта неполноценность плюс отсутствие денег да еще горячее желание иметь свой дом на берегу моря, а может быть, просто боязнь старого и больного человека остаться в конце концов одному побудила его превратить свой недостроенный дом в приют для разнообразных модных бродяг и дикарей, тоже не имеющих ни гроша за душой, зато здоровых и молодых, а потому всегда готовых платить за свое приморское жилье работами по его благоустройству. Все началось, как всегда, с самых благородных побуждений — совместить приятное с полезным! Но жизнь, увы, с неуважением отнеслась к благородству такого рода, — очень скоро стало ясно, что управлять этой разрозненной и не привычной к послушанию командой довольно тяжело. К тому же в скучающей среде отдыхающих уже пошли фантастические слухи о каких-то невероятных оргиях, которые устраивает в своем гнезде безногий калека. И хоть ничего, кроме обыкновенного пьянства с примесью слабых наркотиков да ползучего блуда, там, собственно говоря, и не происходило — одним своим непристойным видом и возмутительным шумом, доносящимся по вечерам со стороны беспокойной постройки, ее обитатели не на шутку задели сердца вездесущих поборников порядка. Довершил начатое какой-то диссидент-профессионал, избравший местом своего отдыха эту хибару с тем, видимо, чтобы у моря поднакопить сил для новой порции недовольств (его, понятно, ни одна госздравница, кроме пенитенциарной, вместишь не решалась). В результате общественное мнение поселка объявило калеке пока еще, правда, «холодную» войну, поставив его перед необходимостью по законам военного времени превратить и свою непромытую банду лентяев в группу соратников, единомышленников, сознательных товарищей по борьбе. Так что, когда я побывал там однажды, под руководством безногого уже велись разговоры на самые вольнолюбивые темы.

Впрочем, если бы не одно обстоятельство, ничего, кроме брезгливости, смешанной с насмешкой, да желания поскорее убраться оттуда это посещение у меня, естественно, вызвать и не могло — слишком уж явно история этого братства напоминала знакомую всем метаморфозу вольных каменщиков в подневольных строителей, подтверждая к тому же известное изречение насчет повтора истории, — физиономически (плешь, картавое «р», эспаньолка) калека, невероятно походил на одного из вождей.

Но, к сожалению, все в этом деле было для меня куда серьезней! Оказывается, задолго до знакомства со мной моя любовь частенько навещала в этот сарай, имея среди его обитателей немало поклонников и друзей, я уж не говорю о безногом хозяине притона, не раз, страдая от сладострастия, тот протягивал к ней свои лапы, по поводу чего она, с видом нашкочившей школьницы, шепотом призналась мне как-то, что и сама, находясь там однажды в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотела было даже попробовать, как это... с калекой..., но что-то ее отпугнуло, кажется, запах, «от него, знаешь, так пахло рыбой»... Можете себе представить, в какой восторг привели меня эти откровения! И хоть я так и не встал на сторону поборников порядка (те и другие стоили для меня друг друга), признаюсь, усиленно возносил к небу мольбы о ниспослании какого-нибудь чрезвычайного Перуна, способного среди бела дня, на глазах у всего поселка, испепелить этот поганый сарай. Но небеса не внимали моим молитвам! Так что, когда в этот наш, прощальный приезд моя любовь заявила мне, что хочет проститься и с этим местом, — все внутри у меня сжалось от нехороших предчувствий... Но что было делать? Не пустить туда ее я не мог, отпустить одну был не в силах, — вот мы и отправились туда вместе!

Отдыхавшим когда-либо на юге нет нужды объяснять, что бывает, когда светлоглазый южный небосвод, набросив на плечи темный махровый халат, усыпанный крошечным звезд, кладет себе на брюхо сияющую дыню луны в надежде доесть ее, наконец, а опьяневший бродяга-ветер, пробравшийся к нам из-за границы, ерошит тебе волосы, дышит морским перегаром в лицо, надеясь найти общий язык, но, позабыв все слова, твердит бог знает о чем рассеянным шумом бегущих на берег волн, шелестом тополиных крон, серебряными трелями сверчков, отчаянным хором еще не расколдованных царевен-лягушек...

Затрудняюсь вам даже передать, что творила в этот момент моя любовь, — в глазах ее вспыхнул какой-то странной, хмельной огонь, движение сделались растерянными, походка нетвердой, иногда мне даже казалось, что она приплясывает на пути в этот злосчастный сарай. Нечего и говорить, что, когда мы туда пришли, вся тамошняя орда, пировавшая в эту ночь, приветствовала ее появление в дверях победным, ликующим воплем! Все повскакивали с мест, каждый норовил ее обнять, поцеловать, каждый хотел сказать ей пару слов, выпить с ней. И хоть мы сели рядом, очень скоро она оставила меня одного, под каким-то невинным предлогом скрывшись в обширных недрах этой дурной постройки.

Тем, кто присутствовал хоть раз в большой и незнакомой компании, известно это чувство одиночества на пиру, а если прибавить к нему скверный страх от сознания того, что все, ну буквально все — ночь, луна, горы, море, нелепый дом с его обитателями и, наконец, любимый человек — обманывают тебя, вы получите мое состояние там! С трудом высидев, как мне казалось, положенный срок за столом и стараясь не привлечь к себе излишнего внимания, я пошел по комнатам ее искать... Видит бог, я не знал безумной планировки этого дома! Открывая одну за другой его многочисленные двери, натываясь на пьющих, поющих, жующих, блюющих, играющих, ругающихся, предающихся любви, дерущихся, пляшущих, плачущих, испражняющихся, хохочущих, а иногда и попросту спящих людей, я попадал в какие-то темные углы и закоулки, входил в пустые, освещенные тусклым светом комнатенки, заваленные разбросанным как попало грязным барахлом, или же, толкнув очередную дверь, вдруг оказывался в лунной полутьме двора с тем, чтобы снова вернуться в дом и опять начать свой поиск с того же места. И вот, наконец, когда мое терпение иссякло и я понял, что, если сейчас же ее не отыщешь, со мной может случиться все что угодно, за одной из не замеченных прежде дверей я нашел то, что так долго искал!

Боюсь вот только, как бы все то, что я там тогда увидал, окончательно не развенчало в ваших глазах тот образ положительного героя, неравнодушного представителя новой жизни, активно вмешивающегося в окружающую действительность и изменяющего все, что до него, слава богу, пока еще не додумались изменить, героя, каким, в зависимости от политической конъюнктуры, во все времена морочат вам головы писатели, отображающие его в своих произведениях в надежде избежать тем самым своего столкновения с реальностью, если, конечно, остатки внутренней чистоты еще не поставили их перед неразрешимой дилеммой: к чему так долго писать о несовершенстве жизни, не лучше ли самому начать в ней что-нибудь изменять.

За дверью, как вы, конечно, поняли, была она с одним из тех, кто, по моим расчетам, вполне мог сойти за моего соперника, сидя напротив него, она вела с ним невинный разговор и, когда я слегка приоткрыл дверь, машинально взглянула на меня, мысленно находясь еще во власти своей беседы. Не знаю, возможно, особое нервное состояние, возможно, некоторое количество выпитого за столом вина до такой степени обострили мое восприятие, что за один лишь кратчайший миг, потраченный ею на осознание увиденного, в зазоре меж зрением и пониманием моей любви, я с необычной ясностью ощутил движение ее внутреннего мира, сам по себе факт существования которого полностью обесмысливал всякую измену и обесценивал всякую верность, объясняя ту отчаянную неслиянность человеческих душ, преодолеть которую, если что и могло бы помочь, то уж, во всяком случае, не пресловутая «активная жизненная позиция», а, скорее, литература, причем не та, что пишется для кого-то, а та, что пишется для себя, являясь приемом самопознания, позволяющая

писателю понять, что изменять надо не жизнь, а свое отношение к ее измененному совершенству.

И хоть, вернувшись этой ночью домой, я и моя любовь прилично поругались — она, отстаивая свое право на свободу, намеревалась провести остаток ночи с тем, с кем ей того хотелось, я же, грозя своему сопернику, ей и, наконец, самому себе, безуспешно пытался лишить себя жизни вероятно тупым лезвием перочинного ножа; и хоть на следующий день я, взяв себя в руки, перестал с ней разговаривать, делая вид, что вообще ее не замечаю, а она назло исполнила обещанное, несколько дней подряд вообще не являясь ночевать, — все эти усилия нашей природы, призванные по закону перевернутой логики лишь сблизить нас еще больше, не могли уже заделать образовавшуюся между нашими душами брешь...

Честно говоря, в этот раз я и не надеялся на возможное примирение. Но, как выяснилось спустя несколько дней, и для этого случая у судьбы было припасено свое лекарство: за время нашей с ней ссоры она успела сходить на почту, позвонить в Москву и узнать, что ей наконец дано разрешение на выезд и что в течение трех недель она должна покинуть пределы страны. Естественно, что, когда она пришла и рассказала мне об этом, от нашей с ней ссоры не осталось и следа, — решено было, что она поедет в Москву ближайшим же поездом, я же подъеду туда через две недели, чтобы дать ей возможность спокойно сделать все свои дела.

Теперь мне, наверное, вряд ли удастся передать вам случившееся со мной на следующий день, когда, проводив возлюбленную вечером на вокзал, я проснулся утром один, в той комнате, что мы с ней вместе снимали. За одну лишь единственную ночь горы, море, поселок, да и комната, в которой я жил, стали для меня настолько чужими, а вся, так сказать, «основа их плоти» настолько мертвой, искусственной и пустой, что мне не раз мерещились планы какого-то чудовищного террористического акта, совсем не затем, чтобы в безумной манере революционеров таким нелепым образом выразить свой протест, а скорее для того, чтобы, подобно ребенку, с живым интересом разламывающему новую игрушку или вспарывающему брюшко плюшевому мишке, посмотреть, что там внутри, где же кончатся границы игры и начинаются скучные вата и опилки.

Все, правда, на что меня хватило, так это, еле выждав условленный между нами срок, расплатиться с хозяйкой, через час быть уже на вокзале, а через три, уломав проводницу, за сумму, равную цене билета, без билета отбыть в Москву. Добавлю, опаздывающий все время поезд, за ночь пытавшийся оправдать марку «скорого», летел по рельсам с такой быстротой, что я на собственной шкуре постиг (привет унылым учителям моего детства!) не только третий закон Ньютона, но и саму теорию относительности Эйнштейна, так как вступившая наконец в свои права сила противодействия моим эмоциональным амбициям, похоже, находилась где-то вообще за пределами трех измерений, и пространство, развернутое передо мной в виде нашей прощальной поездки, не то чтобы было искривлено, а скорее скручивалось, как лист на огне, где-то сразу же позади моего сумасшедшего вагона. И только когда я достиг, наконец, своей любимой, когда глаза мои увидели ее, уши услышали, руки коснулись, губы поцеловали, а ноздри вдохнули аромат ее волос — хаос на время сменился космосом и был таковым пока... пока не пришел и наш последний час!

Тем, кто не верит в его существование или старается о нем не думать, спешу сообщить, что он, этот час, существует, и, верь ты в него или не верь, думай о нем или не думай, он непременно наступит.

Помню, я должен был проводить ее к дому ее матери (утром уже улетал самолет, и она просила меня не ездить с ней в аэропорт, чтобы не превращать все это в слезливую сцену), вначале мы ехали на такси, но потом отпустили машину и пошли пешком, о чем-то друг другу говорили, зашли в телефонную будку, что-то друг другу обещали... Да-а, ведь это был теплый летний вечер, и шел теплый летний дождь... И вот наконец (о, время, время!) она поцеловала меня на прощание и пошла своей удивительной походкой к дому, держа над головой наивный прозрачный зонтик, потом еще раз обернулась, махнула рукой на прощание, и ближайšie тени кустов, домов и деревьев навсегда скрыли от меня ее светлую тень.

Елена Боннэр

БЕЗ КОРНЯ И ПОЛЫНЬ НЕ РАСТЕТ

ВОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

«К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности».

Андрей Сахаров.
«Воспоминания»

Эти заметки — не родословная Андрея Сахарова. В них не использовано многое из собранных материалов, касающееся его не прямых предков. Но я стремилась максимально подробно рассказать о тех его предках, кого он упоминает в книге. О том, что, на мой взгляд, взволновало бы его. Мой выбор, моя воля, поэтому они «вольные». Внутренне — я писала их для него. Внешне — получилось для тех, кому интересны «Воспоминания» (журнальная публикация — «Знамя», 1990, №№ 10—12; 1991, №№ 1—5). Заметки дополняют их первую главу, исправляют имеющиеся в ней неточности.

Казалось бы, что проще — написать обычный комментарий. Но бесконечное число раз я бросала работу на первой же странице. Можно проверить даты, уточнить названия, исправить ошибки в именах и фамилиях. Но что делать с мифами? С судьбами людей? С событиями, которые вроде были, но — все было не так?

Андрей Дмитриевич не просто многого важного не знал или не помнил — он не успел узнать. У него что-то отложилось в памяти из рассказов, которые слышал в детстве, по-детски избирательное, не откорректированное возрастом. Подрастком он начал уходить в свою страстную одержимость наукой. Первая военная осень и эвакуация с Университетом, жизнь и работа на военном заводе, секретный «объект» вырвали его психологически из семьи и круга родных. Общение с родителями (тем паче с другими родственниками) стало эпизодическим. Уже работая над книгой, Андрей Дмитриевич как-то сказал, что за двадцать последних лет жизни родителей он однажды провел с ними целый день, приехав к ним на дачу, один раз его отец несколько дней гостил на «объекте». И самым долгим общением с отцом были три больничных свидания, последнее — за пять дней до кончины Дмитрия Ивановича.

Составляя наброски к будущему именованному указателю книги «Воспоми-

Я благодарна проф. Н. А. Троицкому (Саратов), Н. А. Сахаровой (Нижегород), Е. Р. Гагинской (Санкт-Петербург) и Л. И. Доброхотовой (Киев). Их письма побудили меня к двухлетним архивным поискам.

Документы из семейного архива Гольденвейзеров были любезно предоставлены мне вдовой Александра Борисовича Еленой Ивановной Гольденвейзер и публикуются с ее разрешения. Письмо Марии Петровны Сахаровой передано в архив А. Сахарова вместе с другими письмами к Николаю Ивановичу Сахарову его вдовой Евгенией Михайловной. Копию ходатайства о присвоении Д. И. Сахарову степени доктора педагогических наук передала его ученица, доцент Московского Государственного Педагогического Университета Наталия Ефимовна Нарфентьева.

В розыске архивных материалов участвовали Галина Авербух (Санкт-Петербург), Ольга Неманова (Москва), Татьяна Янкелевич-Семенова (Бостон).

нация», еще в Горьком, не зная, дошла ли рукопись до детей в США, я обнаружила, что нет даты смерти бабушки Андрея Дмитриевича с материнской стороны Зинаиды Евграфовны Софиано, и спросила у него. Он ответил: «Наверное, когда меня не было в Москве — в войну или в годы «объекта».» И книга, хотя он, после нашего возвращения в Москву, ее дополнял и редактировал, так и вышла без этой даты — не у кого было спросить! Но девичья фамилия его матери обсуждалась нами неоднократно.

В 1824 году из Михайловского А. С. Пушкин пишет В. А. Жуковскому: «8-летняя Родоев Софианос, дочь Грека, павшего в Скулянской битве Героя, воспитывается в Кишиневе у Катерины Христофоровны Крупенской, жены бывшего Виц-Губернатора Бессарабии. Нельзя ли сиротку приютить? Она племянница Русаго полковника, следств. может отвечать за дворянку. Пошвели сердце Марии, поэт и оправдаем провидение». Не был ли дед Андрея Сахарова их потомком? Эту версию я выдвинула в Горьком, где постоянным нашим чтением был Пушкин и вся доступная литература о нем, и не теряю надежды найти ей подтверждение. Но пока архивные розыски позволяют только расширить комментарий к письмам Пушкина.

В то время, когда Пушкин писал письмо Жуковскому, брат отца Родоев Софианос полковник Петр Софиано командовал Белевским полком; он был женат на сестре Катерины Христофоровны Крупенской — Анне (ур. Комнено), третья их сестра Елизавета была замужем за А. Н. Пещуровым, предводителем дворянства Опочецкого уезда. Отцу братьев Софиано, капитану российской армии Анастасию Софианову было «в 1797 году, июня 9-го, всемиростивеше пожаловано для водворения 750 десятин земли из пустопорожных внутри Крыма участков».

Сахаров пишет, что его дед с материнской стороны заслужил первый офицерский чин и дворянство во время русско-турецкой войны 1877—78 гг., оказав важную услугу Скобелеву: «Кажется, он вывел под уздцы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев». Мне казалось сомнительным, что только благодаря случаю и личной храбрости рядовой русской армии, не получивший военного образования, дослужился до генерала. История с лошадью могла помочь в карьере, но не настолько. Однако Андрей Дмитриевич отвергал эти сомнения.

Легенда о лошади распалась, когда я увидела «Полный послужной список капитана Софиано. Составлен Октября 20-го дня 1892 года» и его рапорт от 4 сентября 1917 года об увольнении в отставку. Алексей Семенович Софиано происходил из дворян Харьковской губернии. Его дед Николай Петрович Софиано (прапрадед А. Сахарова) — грек по рождению — в 1773 году принял присягу на подданство России, вступил в службу и получил дворянство. Уволен из армии в чине секунд-майора. Был женат на Елизавете Михайловне (ур. Мирович?). Имел дочь и трех сыновей. Второй его сын Семен Николаевич (прадед А. Сахарова) родился в 1800 году, служил по морскому ведомству и был уволен в отставку в чине капитана 1-го ранга. Был женат на Марии Григорьевне (ур. Хлопова). Имел шесть сыновей. Николай Семенович Софиано (второй из них) родился 5 апреля 1844 года. Воспитывался в 1-ом Кадетском корпусе и во 2-ом Военно-Константиновском училище. Произведен в поручики в 1864 году. Участвовал в войне 1877—78 годов. В 1901 году в чине генерал-майора вышел на пенсию. Был холост. Скончался в 1902 году. Третий сын Харлампий Семенович Софиано родился 9 февраля 1850 года. В 1869 году окончил по первому разряду 2-ое Военно-Константиновское училище и в 1871 году вышел в отставку поручиком. Имел сына Николая (г. р. 1877), который в 1917 году был капитаном 12-го Туркестанского полка, и дочь Марию (в замужестве Поморцова).

Дед Андрея Сахарова Алексей Семенович Софиано был младшим в семье. Он родился в 1854 году. В службу вступил юнкером во 2-ое Военно-Константиновское училище, которое окончил по первому разряду. Ко времени составления «Послужного списка» он — кавалер многих орденов. 14 ноября 1917 года генерал-лейтенант А. С. Софиано «уволен по возрастному цензу от службы с мундиром и пенсией». Но это все было потом.

А в 1879 году он, после кампании 1877—78 гг. «...июля 3-го дня прибыл на место постоянного своего квартирования в гор. Белгород Курской губернии. Ранен не был. Особых поручений, сверх прямых обязанностей по Высочайшему повелению или от своего Начальства не получал».

Через полтора месяца, 24 августа 1879 года, штабс-капитан 31 артиллерийской бригады Алексей Семенович Софиано повенчан первым браком в Смоленском Соборе г. Белгорода «с девицей Екатериной, дочерью дворянина, Коллежского Секретаря Петра Борисовича Чурилова». В 1884 году Екатерина Петровна умирает от туберкулеза.

11 ноября 1890 года А. С. Софиано женится вторично на Зинаиде Евграфовне Мухановой, которая моложе его на 16 лет (род. 8 октября 1870 г.). Ее отец Евграф Николасвич Муханов (прадед Андрея Дмитриевича), отставной штабс-капитан, белгородский мировой судья и уездный предводитель дворянства, происходил из старинного, широко разветвленного рода Мухановых (Тверская линия). Из другой ветви этого же рода (Ряжская линия) вышли Александр, Алексей и Владимир Алексеевичи Мухановы — близкие знакомцы А. С. Пушкина, а также декабрист Петр Александрович Муханов, осужденный по 4-му разряду, который был дружен с Рылеевым, Бестужевым, Кюхельбекером, Грибоедовым и которого Пушкин называл своим приятелем. Его родного брата Павла Александровича Муханова Пушкин в 1827 году просил быть секундантом на дуэли с Соломирским, но неприятелей примирили.

Андрей Дмитриевич относится к 10-му поколению рода Мухановых, если считать от записи 1622 года смотра старицких дворян. В ней записан Давид Юрьевич Муханов: «Отечеством добр, а собою средний... вотчины за ним нет... на государевой службе быть ему не с чего...». В Старице мы с Андреем Дмитриевичем были в августе 1987 года. Разыскивали не вотчину, а лагерь, где, по полученным нами тогда сведениям, содержались Рауль Валленберг и польские офицеры. Старицкий район входит в «Пушкинское кольцо». Мы заезжали во все усадьбы, которые связаны с именем Пушкина. Но нам было невдомек, что корни Сахарова тоже оттуда.

У Давида Юрьевича были сыновья Алексей и Борис, владевшие землями в Старицком уезде. У Алексея был сын Иван. Его сын Терентий Иванович (прапрапрадед Андрея Дмитриевича) был женат на Феодосье Яковлевне Левашовой, род которой восходит к XIV веку. Один из трех их сыновей Евграф Терентьевич — прапрапрадед Андрея Дмитриевича, генерал-майор, командир Павловского гренадерского полка — участвовал в нескольких кампаниях. За отменную храбрость был награжден орденом Св. Георгия. Он вышел в отставку в 1787 году и в 1800 году женился на «вольной девице» Матрене Ивановне, от которой до брака имел четырех детей, позже узаконенных «императорским соизволением». Прапрадед Андрея Сахарова, Николай Евграфович, родился в год бракосочетания родителей. Служил недолго, в отставку вышел поручиком. Был земским исправником, жил в своем имении около Белгорода, но имел еще имение вблизи Торжка — возможно, приданое жены — дочери штабс-капитана Пущина Екатерины Николаевны. Помните «Мой первый друг, мой друг...»? Пушкинские Пущины тоже были связаны с тверскими землями, так что — как знать! Прадед, Евграф Николаевич, родился в имении матери в 1830 году. Воспитывался в Дворянском полку в Петербурге. В 1849 г. участвовал в кампании против венгров. В возрасте 24 лет вышел в отставку «за болезнь», но прожил еще 38 лет. В 1858 году он женился на Анне Петровне Булгаковой. Из десяти их детей шестеро умерли в детстве. Бабушка Андрея Дмитриевича была третьей из выживших, моложе была ее сестра Ольга, родившаяся в 1873 году, вышедшая замуж за капитана Понофидина, который после революции служил в пожарном управлении Москвы. Два их брата — Николай и Георгий — служили в той же 31-й бригаде, что и А. С. Софиано. Николай в 1902 году женился на фрейлине княжне Надежде Николаевне Касаткиной-Ростовской, а после революции эмигрировал, похоронив, согласно письму родных из Белгорода, жену и дочь. Однако из справки архива Бюро по защите интересов русской эмиграции в Сербии видно, что Н. Е. Муханов получал с декабря 1921 г. от «Земгора» (Объединение земских и городских деятелей) по-

собие как беженец на себя, жену Надежду Николаевну, дочь Надежду и сына Николая.

Детство и юность Зинаиды Евграфовны прошли в имении родителей Веселая Лопань, известном даже за пределами губернии отличным ведением хозяйства. Андрей Дмитриевич слышал это название от своей мамы и считал, что в детстве она жила там на даче. Что это было семейное имение, в советские времена детям не говорили.

От первого брака у Алексея Семеновича Софиано было двое детей — Анна и Владимир. Анна родилась 9 декабря 1881 года, крещена в Белгородском Смоленском Соборе 17-го дня того же месяца. Восприемниками были капитан 31-ой артиллерийской бригады Николай Семенович Софиано и дворянка девица Надежда Петровна Чурилова — дядя и тетя новорожденной. После смерти матери Анна воспитывалась дома в Белгороде, с января 1893 г. — в Сиротском Николаевском институте в Москве. А с 1896 года и вся семья Алексея Семеновича жила в Москве и он (как, видимо, все офицеры) ежегодно получал вид на жительство: «Свидетельство: Дано сие от командира 1-го дивизиона 31-ой Гренадерской Генерал Фельдмаршала Графа Брюса Артиллерийской бригады, командиру 2-ой батареи сей-же бригады Подполковнику Алексею Семеновичу Софиано 48-ми лет, при нем: жена его Зинаида Евграфовна 32-х лет, дочь Анна 21-го года, сын Константин 11-ти лет, дочь Екатерина 9-ти лет и два человека казенной прислуги, на право проживания в городе Москве на частных квартирах, от нижеписанного числа впредь по восемнадцатое января тысяча девятьсот четвертаго года. Что подписью и с приложением казенной печати удостоверяется января 18-го 1903-го года».

В январе 1903 года Анна вышла замуж: «Дочь подполковника Софиано, Анна Алексеевна, 24-го января сего 1903-го в Николаевской Институтской лицее Цесаревича Николая в Москве Церкви, повенчана с учителем музыки при московском сиротском институте Императора Николая 1-го, коллежским секретарем Александром Борисовичем Гольденвейзером, что и свидетельствуется подписями и приложением церковной печати». Учителю музыки, коллежскому секретарю было тогда 28 лет. Он уже был известным музыкантом, был близок к Льву Николаевичу Толстому и через восемнадцать лет станет крестным отцом Андрея Сахарова. Сахаров, плохо разбираясь в родственных связях, пишет, что Гольденвейзеры стали родственниками Сахаровых, но они стали свойственниками Софиано. Спустя годы после женитьбы Александр Борисович Гольденвейзер писал: «Я в первый раз увидел Аню весной 1898 г. в Николаевском институте на экзамене. Она училась фортепианной игре у Эмилия Эрнстовича Дитриха. Был экзамен его класса. У него оказалось несколько способных учениц. Вдруг вышла юная 17-летняя полудевочка. Среднего роста, чудесные волосы в две косы, высокий умный лоб и удивительные, несравненные глаза — темно-голубые, скорее синие, с густыми бархатными ресницами и, при довольно светлых волосах, темными, почти черными бровями. Выражение лица своевольно-независимое и чуть-чуть капризное. Я сразу, невольно и неудержимо почувствовал глубокий интерес к этому, явно непохожему на других, существу. Это была, как звали ее в институте, Анюта Софиано. Она заиграла и сразу почувствовалось дарование и ярко выраженная самобытная индивидуальность. Когда обсуждали результаты экзамена, кому-то поставили пять с плюсом. Тогда я сказал, что в таком случае я ставлю Софиано шесть. Покойный Василий Павлович Прокунин сказал: Да это, кажется, начинается роман. Он подумать не мог, какая правда заключалась в его шутке...»

В 1929 году впервые на русском языке были опубликованы письма Шопена. Этот, давно ставший библиографической редкостью, эпистолярный сборник открывается некрологом памяти переводчицы: «4 ноября скончалась переводчица настоящей книги, Анна Алексеевна Гольденвейзер (урож. Софиано). А. А. родилась 9 декабря 1881 г. По окончании среднего учебного заведения А. А. поступила в Московскую Консерваторию, которую окончила по классу В. И. Сафонова в 1905 году с большой серебряной медалью. Отказавшись, благодаря преувеличенно-строгому отношению к себе, от концертных выступлений, А. А. работала, как педагог, в Московской народной консерватории, а после ее ликвидации в тех-

никуме им. Линевой, позже, до самой смерти, — в техникуме им. бр. Рубинштейн в Москве. Среди ее многочисленных учеников — немало выдающихся, напр. В. А. Нечаев, братья Григорий и Яков Гинзбурги и др. (...) А. А. работала над переводом писем Шопена с большой любовью, и, сознавая приближение неизбежного конца, с грустью говорила, что не доживет до их выхода в свет. Она не ошиблась...»

Владимир Алексеевич Софиано родился в Белгороде 15 апреля 1883 года. Воспитывался во 2-ом Московском Императора Николая I Кадетском Корпусе и Михайловском Артиллерийском Училище (инженерном). Участвовал в русско-японской войне и I мировой войне, награжден орденами Св. Станислава 3 степени, Св. Анны 4 степени с надписью за храбрость, Св. Станислава 2 степени с мечами, Св. Анны 2 степени с мечами, Св. Владимира 4 степени и Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, а также медалями за русско-японскую войну и за отличное выполнение всеобщей мобилизации 1914 года. В 1917 году оставил армию и из Румынии вернулся в Россию, в Петроград. Туда из Двинска, где он служил до войны, переехала его семья: вторая жена Антонина Михайловна (ур. Фальковская), дочь статского советника, с которой он обвенчался в 1912 году, и двое их детей. В мае 1918 г. он переехал в Москву, а в июле в Москву приехала его семья. В августе Владимир Алексеевич был арестован как царский офицер, но вскоре освобожден. В 1919 году не мог найти работы, долго болел — у него начался туберкулезный процесс. В 1920-м голодном году умерли дети — шестилетняя Зина и четырехлетний Алеша. Владимир Алексеевич стал «совслужащим». Последнее место работы — Совет Народного Хозяйства, должность — бухгалтер. Скончался, как и его мать, от туберкулеза в Москве в 1924 году.

Первая вставная новелла

У Владимира Алексеевича Софиано был сын от первого брака: «Евгений рождение августа 25 дня 1909, крещение ноября 1-го. Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: поручик 1-го Владивостокского крепостного Артиллерийского полка Владимир сын Алексеев Софиано и законная жена его Евгения Николаевна, оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Штабс-капитан того же полка Орест Василий сын Дорошкевич и жена командира 31 артиллерийской бригады Генерал-Майора Софиано Зинаида Евграфовна Софиано». Мальчику было полтора года, когда 11 марта 1911 г. умерла его мать. Сахаров считал, что Женя внучатый племянник Зинаиды Евграфовны, а он внук ее мужа и ее крестный сын. И он пишет, что Женя был арестован и в лагере утонул на лесоплаве. Чтобы проверить это, обратилась в архив МБ России (Кузнецкий мост, д. 22).

Следственное дело № 17001 в трех томах. Женина судьба уместилась на нескольких листах дела из тома 2: «Арестован в 2 часа ночи 10.12.1933 г. по адресу Денежный пер., д. 12, кв. 13. При обыске изъяты переписка и альбом со старыми фотографиями. Место службы: Лыкоконоплеводтракторцентр НКЗ СССР, Орликов пер., д. 2. Должность: ст. инспектор пожарной охраны. Состав семьи: Жена Ольга Степановна Ильенко (брак не регистриван) — приемщица телеграмм Фрунз. отд. связи, мачеха Антонина Михайловна Софиано — иждивенка, бабка (так в протоколе.— **Е. Б.**) Зинаида Евграфовна Софиано — иждивенка. Проживают совместно. Другие родственники: тетка Татьяна Алексеевна Софиано — секретарь американской торговой палаты, тетка Екатерина Алексеевна замужем за Сахаровым Дм. Ив.— преподавателем, дядя Константин Алексеевич работает в Теплоэлектрпроекте, Отец был капитаном царск. армии. Софиано Е. В. был учеником слесаря, потом чернорабочим, с 1930 года пожарник».

Протоколов допросов в деле нет, только постановление об избрании меры пресечения от 27 декабря 1933 года: «сын капитана царской армии достаточно изобличается в том, что являясь государственным служащим и занимая должность старшего инспектора по пожарн. охране ЛКТЦ, состоял членом нелегальной к. р.

орг., поставившей себе целью ведение разрушительной работы в льноводстве СССР, срыв экспорта льна, подрыв обороноспособности страны. Софиано давал указания по периферийным к. р. ячейкам о совершении диверсионных актов, поджогов и аварий, проводил работу по собиранию и передаче иностр. агентуре секретных военных и экономических сведений, принимал участие в организации повстанческих диверсионных групп. Для развития к. р. работы и личных нужд систематически получал от к. р. организации значительные денежные суммы, а потому на основании 128 ст. УПК постановлено привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58 п. п. 2, 6, 7, 9 и 11 УК. Мера пресечения: содержание под стражей.» Единственный протокол очной ставки с В. повторяет текст постановления, не изменен даже порядок слов. Заканчивается он вопросом: подтверждает ли показания В.? Ответ: «Нет. В контрреволюционной организации не участвовал. Показания В. отрицаю полностью.» Следующий лист дела — постановление (не приговор!) суда от 3 марта 1934 года, из которого следует, что по делу проходило 17 человек, девять приговорены к ВМН, остальные — к 10 годам.

Евгений Софиано отбывал срок в Карлаге (отделение Дель-Дель) до февраля 1936 года, когда был переведен в Норильск. Там 27 сентября 1937 года тройкой УНКВД по Красноярскому краю приговорен к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию и разложение дисциплины в лагере. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

Далее идут документы 1956—1957 гг. со штампом «Военная Коллегия Верховного суда СССР» и с пометкой от руки «в порядке надзора». Из них видно, что в связи с делом Лынокопледтракторцентра следователем З., который его вел, были возбуждены еще три дела на 28 человек, 14 из которых расстреляны, но все дела должны быть прекращены «за отсутствием состава преступления». И еще одна краткая запись: «Следователь — З. не может быть привлечен к ответственности за нарушение Соц. Законности — расстрелян в 1940 году как шпион». Писем и альбома со старинными фотографиями в деле нет — к ним не относится «хранить вечно».

Сын Жени, Юрочка, родился после ареста отца (не у кого спросить, узнал ли отец о рождении сына) и умер от менингита в конце 30-х годов. В деле есть пометка: «За справкой о реабилитации никто не обращался». И чудом сохранился листок — документ не следствия — времени: «Гимназия П. Н. Поповой для детей обоего пола. Сведения об успехах и поведении ученика 2-ой группы 2-ой ступени Софиано Жени за вторую треть 1919 года. Успевает по всем предметам. Замечания: Очень не хватает Жене живости. Классная наставница Л. Альферьева. Подпись родителей В. Софиано». Только и осталось — опрятным учительским почерком: «Очень не хватает Жене живости».

От брака А. С. Софиано и Зинаиды Евграфовны было трое детей: Константин, Екатерина и Татьяна. Константин родился в Белгороде 31 октября 1891 года, воспитывался, так же как и старший брат, в Кадетском корпусе. Он рано — в возрасте 18 или 19 лет — женился на сестре А. Б. Гольденвейзера, Татьяне Борисовне, которая была значительно старше. Этот брак, видимо, на какой-то срок отдалил его от родителей, брата и сестер, но оказался недолговечным. От первого брака детей у него не было. От второго брака — дочь Наталья. В 1916 году он был призван на военную службу — прапорщик 21 отдельного полевого тяжелого артдивизиона. В 1918 году был арестован как царский офицер, но вскоре освобожден. С 1919 по 1921 год служил в Красной армии. В 1924 году окончил Московское Высшее техническое училище. Служил инженером-электриком на комбинате № 150 в Кашире, жил в поселке ИТР и там был арестован. Опять Кузнецкий мост, д. 22. Арестован 9 сентября 1937 года. В постановлении на арест сказано: «достаточно изобличается по ст. 58—7 в том, что проводил контрреволюционную вредительскую работу в электрохозяйстве комбината 150. Мерой пресечения избрано содержание под стражей.» На допросах виновным себя не признал. Скончался 29 марта 1938 года в каширской тюрьме № 5. Заклю-

чение судебно-медицинского вскрытия: «Смерть з/к Софиано К. А. наступила от паралича сердца на почве склероза и жирового перерождения сердечной мышцы».

Екатерина Алексеевна (будущая мать Андрея Сахарова) родилась в Белгороде 23 ноября 1893 года, училась в Москве в Дворянском институте. Несколько месяцев после революции преподавала гимнастику и в 1918 году вышла замуж за Дмитрия Ивановича Сахарова. До замужества жила в семье родителей в Белгороде и в Москве, кроме двух или трех зимних голодных и холодных месяцев 1918 года, когда она перешла жить в семью Гольденвейзеров.

Татьяна Алексеевна родилась в 1903 году. Подросток в годы революции, учащаяся, в 30-ые годы — секретарь в американской торговой палате. В 1937 году она была арестована вместе с мужем Г. Б. Саркисовым. После освобождения незадолго до войны разошлась с ним, воспитывала дочь Марину, преподавала английский язык, была составителем русско-английского геологического словаря. Вместе с Андреем Дмитриевичем и его братом Георгием Дмитриевичем была в больнице у постели умирающей Екатерины Алексеевны. Уже после смерти Андрея Дмитриевича его брат рассказал мне, что Екатерина Алексеевна долго болела, ни разу после смерти Дмитрия Ивановича в 1961 г. не смогла съездить к нему на кладбище и очень страдала от этого. Лечилась дома, но ей было все хуже и хуже и 9 апреля 1963 г. ее госпитализировали. Когда он, Андрей и тетя Туся пришли в больницу утром 15 апреля, она узнала их, сказала: «Устала лежать», вскоре потеряла сознание и тихо скончалась. Со дня похорон Екатерины Алексеевны Андрей Дмитриевич не встречался с Татьяной Алексеевной. У него сложилось впечатление, что она опасается встреч с ним. И сам он, зная свое поднадзорное положение «отца водородной бомбы», ограничивал свои контакты с родственниками.

Вторая вставная новелла

Я позволю себе привести пространные отрывки из дневников Александра Борисовича Гольденвейзера и Анны Алексеевны Гольденвейзер и из писем Владимира Алексеевича Софиано не только потому, что это «пролог к Сахарову». В них глубоко отражены время и внутрисемейные отношения.

Из дневника Анны Алексеевны Гольденвейзер:

1917 год: «25 февраля. Нынче у мамы¹ встретила какого-то учителя физики Дмитрия Ивановича², невыразимо некрасивого, неловкого. Хороши только глаза — милые, добрые, чистые. Катя³ влюблена и он в нее до такой степени, что не могут и, кажется, не хотят это скрыть. Приятно и радостно на них смотреть.»

1918 год: «16 января. Вечером была мама. Им нечем жить. Жалование и пенсию у папы отобрали. Их четверо. Мы зовем их к себе в нашу квартиру, а чтоб свою они сдали. Жутко на Шуру⁴ наваливать столько народу, если из них никто никак не устроится. Тем более, что Таня⁵ тоже накануне краха, тетки без мест и без пенсии... Коля-брат⁶ страшно болен, ему предстоит операция — расход около двух тысяч. Где они возьмут? Боже мой, неужели это все на бедную Шуру голову? А он сидит сейчас и играет Грига... и так хорошо играет. А я реву. Какое счастье, что он держит себя в руках.»

«24 февраля. Нынче к нам переехала сестра Катя. Она будет жить у нас в комнате Бориса Соломоновича⁷. Их положение материально очень трудно. Папа взял себе место кассира в какой-то артели. Стар и глуховат он стал. Как он будет кассиром, просчитается, да и ездить каждый день к Сухаревой тяжко... В квартире опять холод 8 градусов, есть нечего, дают по 1/8 ф. хлеба в день на

¹ Зинаида Евграфовна — мачеха А. А. Гольденвейзера и В. А. Софиано.

² Д. И. Сахаров — отец А. Д. Сахарова.

³ Сестра А. А. Гольденвейзера — мать А. Д. Сахарова.

⁴ А. Б. Гольденвейзер.

⁵ Татьяна Борисовна Гольденвейзер — сестра А. Б. Гольденвейзера.

⁶ Николай Борисович Гольденвейзер — брат А. Б. Гольденвейзера.

⁷ Отец А. Б. Гольденвейзера.

человека. Мы съели уже всю крупу. Осталось немного рису и картофелю. Что будет дальше? Одно утешение — Герцен.»

«24 июня... Вчера произошло чрезвычайное событие, в 3 часа дня убит напал бомбой германский посланник граф Мирбах... В начале пятого пришла Катя вся перепуганная и рассказала. Это наикосок от них в Денежном переулке... Штаб укреплен до зубов. На Арбатской площади целый военный лагерь... У Кати назначена в то воскресенье 1 июля свадьба. Жених уехал на дачу, завтра должен был вернуться. Жаль ее ужасно. Она вся в волнении... Володя¹ все у нас. Он мне очень стал близок, такой мягкий, ласковый, доброты чрезвычайной. Верно такой была наша покойная мать, недаром называли ее святой. Близость с ним мне очень радостна.»

«1 июля. Нынче в два часа дня была Катина свадьба с Дмитрием Ивановичем Сахаровым... Сейчас второй час ночи... Тоска, страшно думать о ней, как-то она?!... Все прошло хорошо, даже лучше и красивей, чем я ожидала. Чудная погода, яркое солнце, все в белом, пешком шли в церковь «Успенья на могильцах»², старый-старик священник, на них ворчал все «Отодвиньте свечку» и совершенно затуркал Д. И-ча. Красивый длинный стол, убранный полевыми цветами, хорошенькая душенька Катюша, все пролетело как миг, как сон... Так к ней шел подвенечный убор, фата и недолго она в нем посидела. Ее обварили горячим чаем с молоком, всю руку и плечо. Примачивали, забинтовали, переделась и ушла к родным жениха, оттуда на вокзал, на дачу. Я в первый раз в жизни была на свадьбе и так волновалась, что чуть не разревелась много раз, так мне ее было жалко! ...И сейчас страшно тоскливо... Провожали молодых на вокзал и вот она отрезана от нас...»

«28 июля, суббота. Пережили ужасные дни: арестовали на регистрации бывших офицеров Володю и Котю³. Мы с Шурой все дни туда ездили, хлопотали, с ног сбились. Там ругань, крик, грубости часовых, они били публику, вчера попало и мне от часового, которого я умоляла передать Коте кусок хлеба. Он все кричал: «Не проси, не умоляй, не передам, у меня железное сердце, железное сердце!» Повторял это раз двадцать и в конце концов дал мне тумака. Там толпы народа, женщин, мужчин, детей. Беспорядок страшный. Большинство плачет, женщины, стон стоит от проклятий, возмущения и полной неразберихи. От времени до времени по нас — публика — стреляют, бегут на нас с винтовками, отгоняя от ворот и вообще прогоняя. Часовых вокруг такая пропасть, как будто это важнейшие преступники. Очень много китайцев. Карлики с винтовками, очень противные. Говорят, что это — самые отбросы, хунхузы, убийцы и грабители, которые в Китае давно уже были бы без головы. Такого ужасного настроения, негодования и раздражающих душу сцен я не видала даже в первые дни мобилизации 1914 года. Там не люди, а остервенелые звери, дом сумасшедших. Благодаря Шуриным хлопотам Володя дома. Пришел в четверг в 10 ч. веч., измученный, голодный, с красными распухшими веками. Нынче Шура хлопотал за Котю. М. б. отпустят сегодня или завтра. Обещали.»

«30/12 августа. Вчера утром пришел Котя. Наконец выпустили и его, в субботу 28-го в 11 1/4 ч. н. А сколько тысяч там осталось! Жутко о них думать. Тем более, всех арестованных офицеров поручили в ведение ЧСК Дзержинского и Аросьева, стоящих во главе Верховной Комиссии. Это ужасно, п. ч. эти люди не шутят».

1921 год: «8/21 мая. Нынче в 5 ч. утра у сестры Кати родился сын... Вчера в 3 ч. дня ее свезли в клинику на Девичье поле. Т. к. не на глазах, то узнали все только сейчас (7 ч. веч.) пост фактум и поэтому мало переживали самый факт родов. Катя счастлива бесконечно, прислала мужу такие женственно-ласковые, счастливые письма, что я удивляюсь тому, как он мог их нам читать. Верно от полноты счастья...»

¹ Брат А. А. Гольденвейзер.

² Церковь в Малом Могильцевском пер. Жили все очень близко: Софиано в Денежном пер., Сахаровы — в Гранатном, д. 3. Гольденвейзеры с 1917 по 1941 г. — в Скертном пер., д. 22, кв. 30. Туда к Александру Борисовичу часто заходил его крестник маленький Андрей Сахаров, когда брал уроки у преподавательниц, живших в том же доме.

³ Котя (Константин) — К. А. Софиано.

«1 июня. Мы оба каждый день бегаем смотреть на маленького Андрюшу. Очень славный мальчик. Нынче первый день, что я его не видала.»

Летом того же года, в ответ на несохранившееся письмо Анны Алексеевны, Екатерина Алексеевна писала, по-видимому, с подмосковной дачи: «Дорогая моя Анюточка, ты мне написала глубокую правду и я тебе так благодарна за нее! Андрюша мне дал такое счастье и такой духовный мир, что все смутное и жестокое ушло в далекое, далекое прошлое, но это случилось не сразу и еще, приехав из клиники, я не вдруг нашла прямую дорогу. Как дико было путать в наши отношения его любовь, его культ (ты страшно верно заметила) к семье. Я тебе открою большую тайну: Сахаровская семья в целом стоит очень высоко духовно и может быть некоторый горький контраст создал мои отношения. Вина моя целиком я. Теперь все так ясно, просто и прекрасно! Жаль, что Дима вчерашний день должен был провести так далеко и трудно для него, но я знаю, что он вспоминал нас. Он своей исключительной заботой последнее время так доказал свое чувство и вполне заслуживает безграничное ответное чувство. Малышка спит сейчас у меня на коленях, я пишу и потом отнесу письмо. Мне так захотелось сегодня же послать тебе ответ и еще раз горячо тебя поблагодарить. Ах, Аня, если бы мы больше открывали свою душу, всем было бы легче жить...»

Из писем Владимира Алексеевича Софиано:

«Москва. 26/13 сентября 19 г. Дорогой мой Зизикуничик! ¹ В июле вышел декрет об изъятии из всех советских учреждений бывших офицеров и для этого была образована комиссия под председательством Эйдук. Этот Эйдук меня вызвал и хотел назначить уже на фронт, но я ему заявил, что освобожден от военной службы по религиозным убеждениям на основании декрета, освобожден по решению суда и на военную службу не пойду, что бы он со мной ни делал. Тогда он подал в Совет народных судей кассационную жалобу, в которой напирая на то, что я прослужил 17 лет на военной службе и не отказывался, а здесь видимо желаю воспользоваться декретом в свою пользу, что убеждения мои не искренние. На эту жалобу я со своей стороны подал заявление, что Эйдук не в праве снова возбуждать дело, т. к. месячный срок для подачи жалобы истек в апреле. Совет народных судей признал все-таки нужным снова меня судить. Шура конечно был на суде и говорил очень много и красиво. Наши с ним показания заняли по 50 минут непрерывной речи, но к счастью не напрасно. Теперь значит я освобожден кажется окончательно. Из домашней жизни могу сказать, что все идет по старому. Так же голодаем и скоро вероятно начнем и холодать. У Ани с дровами еще хуже. Такое им большое спасибо за помощь что и сказать не могу. Женя ² живет у них до сих пор и его не только кормят, но и одевают. А одевать теперь страшно дорого. Только что она ему купила ботинки за 800 р., а теперь хочет ему купить еще галоши, которые у нас стоят 1300 р. Нам помогает еще Маруся Поморцова ³: дает через день суп для детишек. Вот так и перебиваемся. При таком полуголодном существовании на семью приходится тратить 150 р. в день, а получаю 3000, остальное добываем распродажей что осталось еще. Женя уже ходит в гимназию, но там теперь мало учат наукам. Хлеба не видим, масло недоступно 500 р. фунт и сидим на одном картофеле платя 15 р. за фунт...»

«7.2.21. Вчера исполнилось 18 лет Аниной свадьбы. Почти все забыли про этот день и была только одна Татьяна Борисовна. Старики наши здоровы. Катя все тяжелеет и в мае думает рассыпаться. Вероятно у нее будет дочка. Так говорят все приметы».

«14.2.21. Москва. В субботу я был у Анички. Она с Шурой сыграла для меня 5 симфонию Бетховена, которую они будут играть в воскресенье в Алфеевской гимназии. Чудно! Где дядюшка читает лекции и на какие темы? Приходится ему бедному трепаться по этим аудиториям. Хоть бы уж слушали внимательно, да учились, а то здесь больше ходят на лекции для пользования бесплатным чаем с хлебом, а к лектору отношение самое возмутительное»

¹ Анастасия Петровна Чурилова — сестра матери А. А. Гольденвейзер и В. А. Софиано и его крестная мать.

² Сын В. А. Софиано.

³ Мария Харлампиевна Поморцова (ур. Софиано) — двоюродная сестра В. А. Софиано.

«24.2.21. Москва. Вчера я был на Баховском вечере, который устроен был по инициативе Шуры в малом зале консерватории. Участвовали лучшие силы Москвы. Играли обворожительно. Таких концертов будет еще 12. Шура обещал мне давать билеты на все. Был и папа. Исполнили Сюиту (оркестр с органом), фортепианный концерт Игумнова с оркестром, виолончельную сонату (Брандуков и Игумнов) и Бранденбургский концерт для оркестра. Все возвращались домой как от Светлой Заутрени. В воскресенье Тося¹ была в Художественном театре на Синей птице. Теперь у нас есть в квартире рояль и Тося поет почти каждый день. Папа очень любит слушать, а остальные какие-то истуканы и на них ничего не действует. Ты спрашиваешь висят ли у Ани образа. Да, дорогая, и к Рождеству она образ Владимирской Б. М. украсила очень красиво елками. Он у нее висит в столовой, где они сейчас и спят. На лето они перебираются в другую комнату и там у них в углу над Аниной кроватью висят 6 или 7 образков из коих 2 большие: Симеона и Анны и Божьей матери, а какой не помню. Она меня все старается закормить. Я у нее бываю по средам и субботам. Академический паек за январь они получили и не сокращенный. И мне выдали карточку на паек, но выдадут какие-либо продукты или нет — не знаю. Я теперь верю получке только тогда, когда уже привез домой и сложил в шкаф, а до тех пор говорить преждевременно, потому что могут отобрать и по дороге. Из твоих простыночек будем делать себе белье, а то уж больно обносились. Откуда рояль ты не спрашивай, как-нибудь потом напишу. Сейчас нельзя.»

«23 мая 1921 г. Москва. Здравствуй, дорогой мой, милый, славный Зизикунич! В Москве произошло замечательное событие. Катя Сахарова 21 мая в 5 ч. родила сынишку, которого они решили назвать Андреем. Роды были вторые по трудности. Производила на свет в клинике на Девичьем поле. Схватки начались 20-го в 8 ч. вечера и только к трем часам дня ее удалось перевести на автомобиле в клинику. Ребенок весит 8 с лишним фунтов и как говорят врачи вполне жизнеспособен. Она себя чувствует хорошо. До будущей субботы она будет в клинике, а затем ее перевезут домой. Крестить будет Шура и Зинаида Евграфовна. Когда это событие будет еще не знаю. Дай только Бог, чтобы у нее появилось молоко. Сегодня третий день и надеется, что оно появится.»

«30 мая 1921 г. Москва. Дорогой мой, ненаглядный Зизикунич! Был я как-то у Кати и видел наконец ее малыша, которого они предполагают назвать Андрюшей. Мальчик очень славный, но производит впечатление очень слабенького. Весит всего, как оказывается, 7 фунтов. Сейчас он конечно почти все время спит, что и должен проделывать. У Кати молоко есть, т. ч. она его кормит сама. Трудно конечно сейчас сказать на кого он похож, но видимо пошел в Мухановскую породу. Катя выглядит хорошо и весела бесконечно. На прошлой неделе я попал с Аней на генеральную репетицию Ревизора в Художественный театр. Играют очень хорошо, особенно Москвин городничего и Чехов — Хлестакова. Лилина, игравшая Анну Андреевну, очень шаржирует. Но общее впечатление прекрасное, особенно от игры Чехова. Он прямо таки гениально играет. В субботу был на симфоническом из произведений Шумана: Манфред и фортепианный концерт а-моль оп. 54 — (Шура) и Брамса: 4-ая симфония. Удовольствие огромное. Сегодня иду с Тосей на 13-ый Камерный из произведений Фейнберга и Крейна, а завтра клавирабэнд Скрябина играет Шура: несколько прелюдий, 7, 9 и 10-я сонаты. Видишь сколько звуков. Отдыхаешь от наступившего маленького продовольственного кризиса: нам теперь совсем не дают хлеба. Зинаида Евграфовна на первую неделю переехала к Кате и помогает ей кое в чем. Ну вот и все новости. Поцелуй за всех нас дядюшку и тетю. Всей душой любящий тебя сынишка Голувастик».

«7 авг. 1921 г. Катин муж ездил в Киевскую губернию за продуктами, долго проездил, но и привез много. Я рад, что сынишка их будет теперь обеспечен и не будет так голодать, как голодали в 19 и 20-м году мои. Сынишка их здоров и очень славный мальчик.»

«18.8.21. Наши все, Слава Богу, здоровы. Катин Андрюшка тоже, но Катя боится, что у нее пропадет молоко. Тогда конечно будет очень тяжело...»

¹ Антонина Михайловна — вторая жена В. А. Софиано.

«25.12.21. На этой неделе я был у Ани три раза. В четверг был значит ее день ангела. У нее были в этот день Катя с сыном Андрюшкой и мужем Дмитрий Ивановичем. Тося сейчас на рынке ищет подарки Жене и Андрюшке на Рождество. Я думаю устроить у себя елку в сочельник. Завтра 7 лет исполнилось бы нашей Зиночке, но Бог судил иначе. Аничка твое письмо получила и вероятно на днях напишет. У нее очень много дела по хозяйству. Сейчас она очень помогает Кате и даже стирает белье Андрюшки.»

«26.3.22. Вчера я был совершенно неожиданно в концерте молодого 18-летнего пианиста Володи Горовица. Это такой талант, он так играл, что я шел с концерта под обаянием чего-то такого высокого, прекрасного сильного и это чувство еще до сих пор сидит во мне. Конечно у него, как у 18-летнего есть свои дефекты, но они все покрываются его изумительным талантом.»

Из дневника Александра Борисовича Гольденвейзера:

«2 июня 1924 года 11 ч. 45 м. вечера. Сегодня в 6 ч. 45 м. вечера скончался Володя. Я одеревенел. Смерть Володи — горе неизбежное... Мы с Аней живем одиноко. На всем свете никто нас так не любил, как Володя. В нем было что-то невыразимо для меня дорогое. Его приход к нам всегда был каким-то праздником. До прошлого лета я никогда не смотрел мрачно на его болезнь. Думал, что она не помешает ему жить долго. Прошлогоднее кровотечение его сгубило. Он к концу лета чудом выскочил, но переоценил свои силы, не захотел долечиться, стал служить, надорвался и погиб.»

После смерти Алексея Семеновича Софиано (первая смерть, которую видел Андрей Дмитриевич восьмилетним мальчиком) Александр Борисович записал в дневнике:

«24 февраля 1929 г.: Поехал в Донской. Парастас. Трогательно служили. Он лежит с прекрасным лицом, строгий, значительный, знающий... Хороший был человек. Истинный рыцарь. Честный, прямой, храбрый, скромный и несравненно деликатный. Был всегда так добр, что я радовался на него и был уверен, что он еще будет жить, да жить. 25 февраля: Похоронили. Прекрасная смерть. Просто, трогательно, хорошо хоронили...»

«1931 год. 27 сентября, воскресенье: Поехал на кладбище. Выглянуло солнце. Божья нива... Цветы целы. У нас чисто, хорошо, просто... Уходя, около церкви встретил Женю. Тронуло, что он помнит отца. Поговорил с ним. Очень хорошее осталось впечатление. Он изнутри хороший. Володина душа. Жаловался, что жизнь свою испортил. Не знает, что с собой делать. Имеет неплохую службу, но это его не удовлетворяет — хочется вырваться, добиться более умственно значительной жизни и работы. Жаль его очень, а помочь нечем. Грустно, что ко мне не ходит. Не умею я привлечь к себе.»

Алексей Семенович Софиано (1854—1929) и Зинаида Евграфовна (1870—1943) похоронены на Ваганьковском кладбище вблизи могил Александра Борисовича (1875—1961) и Анны Алексеевны (1881—1929) Гольденвейзеров. Там же похоронены мать Андрея Дмитриевича Екатерина Алексеевна Сахарова (1893—1963), Владимир Алексеевич Софиано (1883—1924), его дети Зинаида (1914—1920) и Алексей (1916—1920), Татьяна Алексеевна Софиано (1903—1985) и Николай Семенович Софиано (1844—1902).

Предки Андрея Сахарова со стороны его отца Дмитрия Ивановича Сахарова известны с XVIII века. Прапрапрадед Андрея Сахарова о. Иосиф Васильевич, не имевший фамилии, был священником села Ивановского Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Прапрадед Андрея Сахарова Протоиерей Иоанн Иосифович (Осипович) был единственным его сыном. Родился он в 1790 году в этом селе Ивановском. Фамилию «Сахаров» получил при поступлении в Нижегородскую Духовную Семинарию — по усмотрению ее начальства. Существует легенда, что мальчик пришел в Нижний Новгород пешком и принимавший его преподаватель Семинарии сказал: «Какой же ты чистенький и беленький, как сахарок, вот и быть тебе Сахаровым». После окончания Нижегородской семинарии И. И. Сахаров в 1809 году был послан в Свято-Троицкую Сергиеву Лаврскую Се-

минарию «для более высшего образования». В 1812 году отозван в Нижний Новгород и преподавал в Духовной Семинарии. 12 сентября 1815 года рукоположен в священники к Арзамасской Крестовоздвиженской церкви. 6 ноября 1829 года возведен в сан протоиерея. В 1851 году перемещен к Благовещенской церкви, а в 1854 г. — в Воскресенский Собор, настоятелем которого был 11 лет. С 1845 по 1864 год был Благочинным церковей Арзамаса. «Как Благочинный был строг и требователен, вследствие чего более слабые духовные лица не особенно любили его, но за то уважали его пасомые и ценило начальство.»

За что ценит начальство, думала я, читая собственноручные письма о. Иоанна «Преосвященнейшему Нектарию, Епископу Нижегородскому и Арзамасскому и Кавалеру». Цитирую одно из них: «11 числа сего апреля узнал я частным образом о весьма вредном происшествии, случившемся села Выездной Слободы в Смоленской Церкви. Рассказывали, что означенной церкви дьякон Андрей Фонтанов, нетрезвый и необлаченный в стихарь, во вторник Светлых седмицы (10 апреля) во время вечерни в алтаре, смежном с настоящим, где происходило богослужение, произвел драку с односельным крестьянином Михайлом Ивановичем Куркиным. Неизвестно по какому поводу дьякон Фонтанов ударил крестьянина Куркина рукою в грудь так сильно, что Куркин коснулся спиной святого Престола, затем вцепились друг другу в волосы и дрались с таким остервенением, что некоторые прихожане взшедшие в алтарь едва могли разнять их. Не могли не видеть драку служивший вечерню священник Филарет Наворский и причетники. О чем Вашему Преосвященству на Архипастырское благоразсмотрение и рапортую. Вашего Преосвященства нижайший послушник, Благочинный, Воскресенского Собора Протоиерей Иоанн Сахаров».

О. Иоанн «имел многие награды, в том числе орден св. Анны 2-ой степени. В 1865 году уволился на покой. Скончался 17 февраля 1867 года. Погребен на Всехвятском кладбище в кругу своих родных.» Был хорошо знаком с историей церковей Арзамаса, составил их описание, которое было опубликовано в Нижегородских ведомостях в 1888 году. Его рукопись «Порфира и венец Приснодевы» была передана на хранение Нижегородской духовной Семинарии.

О. Иоанн был женат на дочери священника Зяблицкого Погоста Муромского уезда Владимирской губернии о. Василия Петровича Доброхотова Александре Васильевне (г. р. 1798). У них было четверо детей: Леонид, Иосиф (г. р. 1831), Параскева (г. р. 1832) и Николай. Леонид Иванович (1825—1887) в 1848 г. закончил Горьгорельскую земледельческую школу, преподавал в семинарии. Был выдающимся краеведом. За статью «Село Кичанзино в хозяйственном отношении» в 1851 году награжден серебряной медалью Вольного Экономического общества. Написал монографию «Историческое описание Суздальского Первоклассного Спасо-Ефимиева монастыря». Некролог на смерть Леонида Ивановича был опубликован в «Биржевом листке» и перепечатан в «Нижегородском вестнике». Его в горьковской библиотеке в 1983 году нашел Феликс Красавин (мой друг с детства — один из двух горьковчан, которым КГБ временами разрешал навещать нас). Андрей Дмитриевич хотел поместить некролог в приложения к «Воспоминаниям», но передумал, — сказал, что это не прямая линия.

Николай Иванович Сахаров, прадед Андрея Сахарова, родился в Арзамасе 2 марта 1837 года. В 1856 году он окончил Нижегородскую семинарию по 1-му разряду. В том же году получил свой первый приход согласно существовавшему тогда обычаю: если дочь или внучка священника остается сиротой, то приход получает молодой священник, который женится на ней. Николай Иванович в 1856 году женился на Александре Алексеевне Терновской (1839—1915). У девушки спросили, люб ли ей Сахаров, и она кивком ответила, что люб. Ее отец преподавал классические языки в Арзамасском духовном училище. Она рано потеряла мать и воспитывалась у деда — о. Петра Алексеевича Терновского (1782—1856), который трагически погиб, утонув в реке в бурю, когда шел к умирающему для свершения требы. Петр Алексеевич Терновский (прапрапрадед А. Д. Сахарова по линии прабабушки А. А. Сахаровой, ур. Терновской) похоронен в ограде у стены церкви Смоленской Божьей Матери в с. Выездное (позднее — село Выездная слобода), которая при нем и под его наблюдением была воздвигнута.

В 1990 году могила была в сохранности, и на памятнике были слова: «Здесь покойся иерей Петр Алексеевич Терновский. Родился в 1782 году. Скончался в 1856 г. сентября 24 дня. Житие его было 74 года. Священником был 49 лет».

Мы с Андреем Дмитриевичем были в Выездном в апреле 1987 года, после ссылки, когда возвратились в Горький за вещами. Был воскресный (м. б. пасхальный) день. Мы заглянули внутрь собора, но войти не смогли — было много людей. Побродили в ограде, читали фамилии на памятниках, искали Сахаровых. Фамилии «Терновский» Андрей Дмитриевич не знал. И в американском издании его «Воспоминаний» (Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1990) фотография прабабушки А. А. Сахаровой (ур. Терновской) помещена без имени.

О. Николай Сахаров в «формулярном списке о службе», заполненном им самим 16 августа 1880 года и заверенном членами Арзамасского учебного попечительского совета и печатью, пишет: «Чин: Священник, законоучитель. Из какого звания происходит: сын протоиерея, возраст: сорока трех лет от рода. Вероисповедания православного. Знаки отличия: имеет набедренник, скуфью и камилавку. Получаемое содержание: жалования в обоих училищах 144 р. (Жалованья священники на приходе не получали. Их благосостояние зависело от благосостояния прихожан.— **Е. Б.**). Имяне: родовое — нет, благоприобретенное — дом в г. Арзамасе. (Дом был на Ореховой улице — есть ли сейчас в Арзамасе улица Ореховая, не знаю. Но первый дом был приобретен в Выездном в 1860 году и в нем о. Николай открыл свою школу для обучения грамоте крестьянских детей — преподавали он и его жена.— **Е. Б.**). Воспитание: окончил курс Нижегородской Духовной Семинарии со званием Студента в 1856 году. Посвящен в сан священника в селе Выездная слобода 1856 г., декабря 23 дня. Определен законоучителем и учителем в выездно-слободское женское училище 1862 года сентября 13 дня. Определен законоучителем в Выездно-слободское приходское училище, оставляем при должности законоучителя в женском училище 1866 г. февраля 13-го дня. Награжден набедренником 1869 г. июля 3-го дня. Перемещен на священническое место к Воскресенскому Собору города Арзамаса 1872 г. марта 6 дня. Определен на законоучительскую должность при арзамасском Владимирском и Христовоздвиженском мужских приходских училищах 1872 года марта 11 дня. Награжден скуфьей 1872 года апреля 16 дня. Награжден камилавкой 1877 года марта 26 дня».

4 апреля 1894 года Преосвященным Владимиром о. Николай перемещен старшим священником к церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, что в Нижнем Новгороде на Верхней набережной улице. В 1900 году избран Благочинным нижегородских верхнепосадских церквей. Был почетным гражданином. Сохранилось свидетельство, выданное его сыну Ивану (деду Андрея Дмитриевича) Новгородской Духовной Консistorией 12 января 1898 года: «Предъявитель сего сын священника Нижегородской Епархии города Нижний Новгород Георгиевской Церкви Николая Сахарова Иван Сахаров, родившийся 9 октября 1860 года... принадлежит по рождению к званию потомственного почетного гражданства и может пользоваться всеми правами сему званию присвоенными». О. Николай Сахаров удалился на покой в 1906 году, но в 1912 году сам в Спасской церкви Нижнего Новгорода венчал своего внука Бориса Александровича.

Николай Иванович и Александра Алексеевна прожили долгую жизнь. Он скончался в 1914? 1916? году (даты не подтверждены документами), она в 1915 году. У них было 11 (по другим источникам 13) детей, двое из которых умерли в детстве. В формулярном списке Николай Иванович пишет: «Сыновья: Александр, родившийся 1857 года сентября 27-го, Иван, родившийся 1860 года октября 9-го, Василий, родившийся 1863 года января 29-го, Борис, родившийся 1869 года июля 29-го, Сергей, родившийся 1878 года августа 27-го и Григорий, родившийся 1880 года января 9-го. Дочери: Надежда, родившаяся 1865 года июня 29-го, Лидия, родившаяся 1867 года, марта 25-го, близнецы Мария и Александра, родившиеся 1874 года января 2-го». Все дети о. Николая и Александры Алексеевны получили хорошее образование. В том же формулярном списке в августе 1880 года он пишет: «Из сыновей Александр обучается в Московском Университете, Иван обучается в Московском Университете, Василий обучается

в (одно слово неразб.— Е. Б.) Железнодорожном Московском училище. Борис обучается в Арзамасском городском училище. Из дочерей Надежда обучается в Нижегородском Епархиальном училище, Лидия обучается в Нижегородской женской прогимназии. Прочие дети находятся при отце». Впоследствии Александр много лет работал врачом в нижегородских больницах. Мария, получившая медицинское образование в Женеве, была врачом в Московском земстве. Один из младших братьев Ивана Николаевича был агроном. Александра (1874—1944) преподавала в Московском приходском училище, Надежда (1865—1950, в замужестве Райковская) учительствовала в Нижнем Новгороде. Кроме того она вела большую общественную работу по организации народных библиотек, печаталась в нижегородских изданиях, входила в Нижегородское литературное объединение «Гнездо Короленко», оставила после себя интересные записки о своих родителях, о жизненном укладе и быте села Выездное и слободы Поповки, в которой прошло ее детство.

Иван Николаевич Сахаров (дед Андрея Сахарова) был, по-видимому, третьим ребенком в семье (в частично сохранившихся метрических книгах церкви Смоленской Божьей Матери есть запись о смерти дочери Сахаровых Елены 10 фев. 1860 года). Он родился 9 октября 1860 года, крещен 11 февраля. Восприемниками были «Арзамасского Воскресенского собора протоиерей и кавалер Иоанн Иосифович Сахаров и губернского секретаря Алексея Петрова Терновского жена Александра Ивановна». В 1879 году он окончил Нижегородскую гимназию, был зачислен на юридический факультет Московского Университета. Он уплатил положенные 25 рублей за обучение, получил документ на право проживания в Москве с августа по декабрь 1879 года, но занятия не посещал. В декабре вновь получил аналогичную бумагу (по-нашему — разрешение на пропуск): «Билет Императорского Московского Университета своекоштному студенту юридического факультета 1-го курса Ивану Сахарову для свободного проживания в Москве, от нижеписанного числа впредь по десятое июня 1880 года. Посему на основании ст. 327 XIV Уст. о паспортах, обязан он предъявить этот билет местному полицейскому начальству. Дан декабря ... дня тысяча восемьсот семьдесят девятого года». Лето 1880 года Иван Николаевич провел в Арзамасе и перед началом учебного года получил справку: «Дано сие из Арзамасской уездной полицейской управы окончившему курс в Нижегородской губернской гимназии ученику Ивану Николаевичу Сахарову в том, что он Сахаров во время проживания своего в городе Арзамасе при отце своем священнике Сахарове вел себя хорошо и ни в чем замешан не был. Свидетельство это дано ему Сахарову для поступления в какой-либо Университет августа 12 дня 1880 года». Необходимость в данном свидетельстве возникла в связи с тем, что Иван Николаевич был отчислен из Московского Университета и хотел поступать в Петербургский. Однако в конце августа он вновь зачисляется на юридический факультет Московского Университета и пишет прошение о пособии в Нижегородскую губернскую управу, на которое получает отказ: «Губернская управа имеет честь просить правление Московского Университета объявить студенту университету, 1-го курса, юридического факультета Ивану Сахарову, что за израсходованием всех денег, ассигнованных губернским земским собранием на пособия бедным студентам, губернская управа не находит возможным исполнить ранее 1881 года его ходатайство о выдаче ему пособия. Октября 30 дня 1880 г.». Судя по тому же формулярному списку, о. Николай не знал, что 1879/80 учебный год его сын Иван не учился, что вряд ли было следствием отсутствия средств. Возможно, метания Ивана Николаевича были вызваны тем, что он встретился со своей будущей женой, которая в это время жила у своих друзей то в Москве, то в Петербурге.

Бабушка Андрея Дмитриевича со стороны отца Мария Петровна (ур. Домуховская) родилась в имении родителей-дворян в Дорогобужском уезде Смоленской губернии в 1859? 1860? 1861? 1862? году (в архивных документах значатся разные даты). Она рано потеряла мать и воспитывалась в Павловском институте в Петербурге с 1869 по 1876 год, где близко сошлась с несколькими будущими членами Народной Воли. После института вышла замуж за «дворянина Смоленской Губернии, Дорогобужскаго уезда, сына Надворнаго Советника Маттерна»

(сама Мария Петровна писала свою фамилию с одним «т» — Матерно). Вскоре уехала в Петербург, потом в Москву и стала хлопотать себе отдельный от мужа вид на жительство. Жила средствами от уроков, работала письмоводителем у присяжного поверенного Лешкова и получала пособие от брата, которому после смерти отца осталось имение родителей (По данным 1899 г. он был секретарем Дорогобужского уездного суда. Был женат, имел сына Сергея и трех дочерей.) Жить вместе с Иваном Николаевичем они стали с 1880 или 1881 года. В 80-ые годы она вела переписку со ссыльными народовольцами, посылала посылки, собирала для них деньги и вещи. Возможно, знакомство сестры Ивана Николаевича Надежды Николаевны и других его нижегородских родственников с Владимиром Галактионовичем Короленко произошло через Марию Петровну, когда он в 1884 году освобождился из сибирской ссылки. В марте 1886 г. у них дома по адресу Страстной бульвар, дом Чижова был обыск и «они привлекались к дознанию по обвинению в государственном преступлении и по Высочайшему повелению, последовавшему 18 ноября того же года, были подвергнуты тюремному заключению на два месяца, а затем (...) подчинены негласному надзору, каковой с Ивана Сахарова снят 4 декабря 1899 г., а Мария Сахарова состоит под надзором и до сего времени» (Архив департамента полиции. Докладная от 10 ноября 1900 г.) В описании примет «Государственных преступников и лиц неблагонадежных» о Марии Петровне сказано: «Дворянка, 26 лет. Роста среднего, волосы темнорусые, лицо правильное, несколько худощавое, нос прямой, небольшой, глаза карие, губы сжатые, тонкие, рот большой, сложения худощавого и крепкого.» И о Сахарове: «Сын священника. 25 лет, роста среднего, брюнет, носит небольшую щетинистую бороду и усы, на щеках бороду бреет, глаза карие большие, нос толстый, лицо чистое, грубое, говорит басом, телосложения плотного, крепкого.» Данных о снятии надзора с Марии Петровны найти не удалось. Согласно той же докладной заработок Ивана Николаевича адвокатской практикой в эти годы составлял от 5000 до 6000 рублей в год.

Обвенчались Сахаровы в 1900 году и в октябре этого же года обратились с ходатайством «об оказании им особой Монаршей милости по семейному их делу, об узаконении добрачных детей». Прошение было удовлетворено 10 октября 1901 года. И уже 25 октября 1901 года Иван Николаевич получил бессрочный паспорт, в котором было записано: «При нем жена Мария Петровна 40 лет и дети родившиеся: Татьяна 4-го мая 1883 года, Сергей — 17 июля 1885 года, Иван — 25 февраля 1887 года, Дмитрий 19 февраля 1889 года, Николай — 2 мая 1891 года, Георгий 11-го августа 1897 года. Арбатской части, 2-го участка пристав (подпись)». Тогда же дети получили метрические свидетельства следующего аналогичного содержания: «По указу Его Императорского Величества, Московский окружной суд, в силу Высочайшего Повеления, последовавшего 18 сентября 1901 года, и на основании представленных в Окружной суд документов, согласно резолюции от 10 октября 1901 года выдал сие свидетельство сыну кандидата прав Дмитрию Ивановичу Сахарову, записанному в метрической книге московской Николаевской, что в Плотниках церкви за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год части первой о родившихся мужского пола, в том, что он родился февраля 19 дня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года. Родители его: кандидат прав Иван Николаевич Сахаров, вероисповедания православного, первобрачный, и жена его Мария Петровна, вероисповедания православного, второбрачная: крещен марта пятого дня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, вероисповедания православного. Восприемниками при крещении были: почетный гражданин Петр Сергеев Воробьев и дочь умершего полковника девица Евгения Эдуардовна Паприц». А за двенадцать лет до этого, когда отец Андрей Дмитриевич появился на свет в Москве в Метрической книге за 1889 год Николаевской, что в Плотниках церкви была сделана следующая запись: «Рождения февраля 19, крещен 5 марта Дмитрий. В доме Заболоцкой неизвестная не объявившая своего звания незаконно родившая, православного вероисповедания». Андрей Дмитриевич пишет, что Дмитрий Иванович родился в деревне Будаево Смоленской области, где у Сахаровых дом. Но Будаево, находившееся вблизи имения, в котором Мария Петровна родилась, принадлежало близким подругам Марии Петровны — Екате-

рине Дмитриевне и Прасковье Дмитриевне Давыдовым. Сахаровы бывали там много и подолгу. Мать хозяек имения дети называли бабушкой, но родился ли в Будаево кто-либо из них, мы не знаем, во всяком случае не Дмитрий Иванович.

Внуки Марии Петровны и Ивана Николаевича, в том числе и Андрей Дмитриевич, не знали романтическую и сложную, учитывая время, историю их брака. И неизвестно, что знали дети. У меня сложилось впечатление, что внуки Марии Петровны имели несколько неадекватное представление о ее личности. Сравнивая рассказ любимой Андреем Дмитриевичем недавно скончавшейся двоюродной сестры Кати (Екатерины Ивановны Сахаровой), что бабушка была выдана замуж отцом насильно и убежала от мужа (или он пропал без вести), и архивные документы, видим, что она находилась в заблуждении. Скорей Мария Петровна вышла замуж, чтобы избавиться от опеки отца и получить вид на жительство. Такой способ приобретения самостоятельности был тогда распространен. И не тот это был характер, чтобы ее можно было «выдать». Когда-то Андрей Дмитриевич, прочтя еще в рукописи мою книгу «Дочки-матери», сказал: «Ты от бабушки родилась», и я ему ответила: «Ты тоже». Но если тогда сработала скорей интуиция, то теперь я уверена, что его скрытая за внешней мягкостью непреклонность досталась ему в наследство прежде всего от бабушки Марии Петровны.

Иван Николаевич закончил Университет в 1884 году в звании кандидата прав и был помощником присяжного поверенного у известного адвоката и общественного деятеля Ф. Н. Плевако. Мария Петровна продолжала службу у присяжного поверенного Лешкова. Жили Сахаровы в Тверской и Арбатской части Москвы, сменив между 1886 и 1910 годами десять квартир, когда наконец обосновались в Гранатном переулке, д. 3, занимая 2-й этаж небольшого особняка. Дом принадлежал дяде Александра Борисовича Гольденвейзера, юрисконсульту банка Полякова, знакомому Ивана Николаевича Сахарова по московской адвокатуре. Но с семьей Гольденвейзеров и Александром Борисовичем Гольденвейзером семья Сахаровых познакомилась позже, когда Дмитрий Иванович стал женихом Екатерины Алексеевны Софиано. После революции квартира стала коммунальной, в годы детства и юности Андрея Сахарова в ней жили пять семей. Мария Петровна и ее сын Иван с семьей имели общее хозяйство, т. е. по советским нормам считались одной семьей.

Дети Марии Петровны и Ивана Николаевича учились дома, а потом их отдавали — видимо, уже после получения ими метрических свидетельств (во всяком случае, это точно известно про Дмитрия) — в одну из лучших московских гимназий — 7-ю им. императора Александра I. Сергей и Дмитрий окончили ее с серебряными медалями. Кроме того, Дмитрий окончил с золотой медалью музыкальное училище им. Гнесиных. И все дети получили хорошее образование. Татьяна и Сергей заканчивали его в Гейдельберге.

27 мая 1889 года Иван Николаевич стал членом коллегии присяжных поверенных Московского Окружного Суда. Как защитник Иван Николаевич участвовал во многих уголовных процессах, в том числе в двух (по крайней мере), связанных с пароходными авариями — о столкновении судов на Волге в 1891 году и на Черном море в 1894 г. Его речь на последнем процессе помещена в 4-м томе семитомника «Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах». Участвовал Иван Николаевич и в ряде политических процессов: в Самаре в ноябре 1902 года (Дело о демонстрации 5 мая), в Выборгском процессе 1907 года, на котором 167 членов 1-ой Государственной Думы, подписавших Выборгское воззвание, были осуждены на 3-месяца заключения.

Круг общественных интересов и связей Ивана Николаевича Сахарова был шире, чем пишет Андрей Дмитриевич. В студенческие годы (и в какой-то мере позже) они формировались под влиянием Марии Петровны. Он занимался народными библиотеками, в частности на их средства в 1895 году была создана библиотека народного чтения в с. Выездное, в связи с которой возникла переписка с А. П. Чеховым. Переписывались Сахаровы с Н. А. Рубакиным и его женой. В. В. Вересаев упоминает об И. Н. Сахарове в записках о своей книге «Записки врача». Иван Николаевич был членом партии кадетов и выборщиком от нее во 2-ю Государственную Думу.

Третья вставная новелла

После Императорского рескрипта от 18 февраля 1905 года чрезвычайное собрание присяжных поверенных округа Московской Судебной Палаты учредило Конституционную Комиссию для выработки Конституционного законопроекта в составе 18 членов и 8 кандидатов; Иван Николаевич Сахаров был избран в число последних. Это собрание приняло резолюцию, содержащую принципы будущей Конституции: «1. Государственное устройство России должно быть определено конституционным актом. 2. Конституционный акт должен быть выработан учредительным собранием, составленным из народных представителей, избранных всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов. 3. В основу конституции должны быть положены следующие начала: а) Народное представительство в форме постоянно действующего самостоятельного учреждения, организованного на началах всеобщего, равного, прямого, тайного голосования, б) народным представителям принадлежит право законодательной власти, не исключая законодательного почина, установления государственной росписи и налогов и контроль над властью исполнительной, в) исполнительная власть вверяется кабинету министров, ответственному перед народными представителями, г) в основу судостроительства должны быть положены следующие принципы: независимость и несменяемость судей, широкое применение выборного начала при замещении судебных должностей, широкое участие присяжных заседателей в отправлении правосудия с исключительной подсудностью суду присяжных всех преступлений политических и по делам печати, полное осуществление гласности и недопустимость изъятия из общих правил судопроизводства по роду дела и по положению лиц, д) всем русским гражданам без различия пола, происхождения, вероисповедания и национальности должны быть гарантированы следующие права: неприкосновенность личности и жилища, свобода слова, печати, вероисповедания, свобода передвижения, собраний, союзов, стачек и равноправность всех национальных языков».

Говорят, что краткость — сестра таланта. Были, значит, талантливы российские конституционалисты образца 1905 года — 263 московских присяжных поверенных, принявших эту резолюцию. Воздержавшихся не было. Против голосовали пять человек. Их возражения: 1. «Воззрения нашего народа более всего соответствует учреждение Земского Собора, организованного на началах сословных и исключения участия в нем инородцев». 2. «Какая бы форма представительства ни была получена нашей страной, евреи должны быть устранены от всякого участия в государственной деятельности. Евреи неспособны переносить счастье».

Иван Николаевич был одним из редакторов-составителей сборника «Против смертной казни». Но Андрей Дмитриевич не знал, что первое издание сборника было под арестом. Ниже я привожу документы, иллюстрирующие, как в те времена обставлялись подобные процедуры. «Московский Цензурный Комитет Апрель 24 дня 1906 года. Господину старшему инспектору для надзора за типографиями и книжною торговлею в г. Москве. 22 сего апреля поступила в Моск. Ценз. Комитет из типографии т-ва И. Д. Сытина (Пятницкая ул. свой дом) отпечатанная без предварительной цензуры, в количестве 3500 экземпляров, книга под заглавием: «Против смертной казни. Сборник статей под редакцией М. Н. Гернета, О. Б. Гольдовского и И. Н. Сахарова». Рассмотрев названный сборник, Ценз. Комитет постановил: книгу, как основа.ии ст. 147 Уст. о цензуре и печати, подвергнуть немедленному задержанию в типографии, редакторов же и издателя ее привлечь к судебной ответственности по ст. 129 Угол. Улож. Сообщая об этом на зависящее распоряжение Вашего Высокородия, Моск. Ценз. Комитет во избежание излишней переписки покорнейше просит необходимые для суда сведения о личностях редакторов и издателя означенного сборника доставить Прокурору Моск. Окружного суда непосредственно от себя (...)»

«Московский Цензурный Комитет мая 1 дня 1906 года. Господину Прокурору Московского Окружного суда. Отношением от 27 минувшего апреля за № 92, младший инспектор книгопечатания и книжной торговли 4-го участка

гөр. Москвы уведомил Моск. Ценз. Комитет, что отпечатанный без предварительной цензуры, в количестве 3500 экземпляров сборник под заглавием: «Против смертной казни» арестован инспекцией полностью». «Прокурор Московской Судебной палаты. Мая 8 дня 1906 г. В Московский Комитет по делам печати. Вследствие отношения от 24 минувшего апреля (...) имею честь уведомить Комитет по делам печати, что переписка по обвинению редакторов сборника «Против смертной казни» Гернета, Гольдовского и Сахарова по 129 ст. Угол. Улож. получила направление в порядке, указанном 6-ым отделом Высочайше утвержденных 26 апреля правил о неповременной печати, в Московскую Судебную палату, причем определением Судебной палаты от 8 сего мая постановлено: не возбуждая уголовного преследования против редакторов сборника (...) возникшую по сему поводу переписку дальнейшим производством прекратить и отменить арест, наложенный Цензурным Комитетом на означенный сборник». Дело этим не кончилось. Цензурный Комитет повторно выдвигал свое ходатайство об аресте книги перед Главным Управлением по делам печати и другими более высокими Управлениями, каких и в России «которую мы потеряли» было много (как и всяких формулярных, послужных и прочих анкетных бумаг, видов на жительство и пр. и др.). Но в конечном счете книга из-под ареста была освобождена. А в 1907 году вышло ее второе издание, в котором помещен ряд новых материалов (в том числе рассказ Льва Толстого «Божеское и человеческое», а не статья «Не могу молчать», как пишет в «Воспоминаниях» А. Д. Сахаров).

Впервые Иван Николаевич выехал из России на Всемирную выставку в Париж один, но после заключения брака они вдвоем с Марией Петровной и с детьми неоднократно бывали в Германии и во Франции. До начала XX века выезды Сахарова за границу сопровождался распоряжениями Департамента полиции при возвращении «в пределы Империи произвести тщательный досмотр имеющегося у него багажа и сообщить Департаменту о направлении избранного им пути». Эта бумага до смешного напомнила мне распоряжения, поступавшие в таможду Шереметьева при моих возвращениях в СССР, одно из которых случайно попало нам в руки и теперь хранится в архиве А. Д. Сахарова.

В 1915 году Иван Николаевич был избран в правление Московского юридического Собрания, а в 1917 г. стал его председателем. В начале 1918 года Иван Николаевич с Марией Петровной и младшим сыном Георгием уехали в Кисловодск, где у них был дом. Отъезд их был вызван скорей всего нежеланием Ивана Николаевича (активного члена партии кадетов) оставаться в большевистской Москве. В ноябре Иван Николаевич приезжал в Москву на крестины внука Михаила (Михалька), сына его сына Ивана. На обратном пути в Кисловодск он заболел тифом и умер в Харькове в ночь с 5 на 6 декабря 1918 г. Точная дата его кончины до последнего времени была неизвестна. Но в 1992 г. удалось найти некролог, опубликованный в харьковской газете «Новая Россия» 11 декабря 1918 г.

Андрей Сахаров пишет, что его дед поехал в Кисловодск один, без бабушки, и она предложила его родителям поехать после свадьбы туда же как в свадебное путешествие. Видимо, он не знал, что Иван Николаевич и Мария Петровна уехали в Кисловодск еще до свадьбы его родителей, а Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна уехали на юг — не в Кисловодск, а в Туапсе — не раньше осени 1918 г., скорей в 1919 году. Туда же из Кисловодска уже после смерти мужа приехала Мария Петровна с Георгием. Сохранилось письмо Марии Петровны в Москву: «Туапсе. 30/12 апреля, второй день Пасхи. Дорогие мои дети. Стремимся выехать отсюда и не знаем как. Ради Бога примите все меры, чтобы нас отсюда вызволить. Не может ли Коля приехать за нами. Ему, как с самого начала служащему в советской армии это и думаю легче всего сделать. У него наверно есть связи в Совнаркоме. Достаньте нам такие пропуска, чтоб нас не задерживали на дороге. У нас денег на дорогу очень мало. Митя служит учителем в Варваринском училище и кроме того по вечерам играет в синаматографе. Зарабатывает порядочно и денег не хватает на самое необходимое, потому что цены

последнее время ужасные, теперь может быть с занятием Туапсе советскими войсками станет легче. Вот как мы здесь ждали их прихода, чтоб. соединиться с Россией! Теперь, ради Бога, хлопочите где можете, чтоб. нас отсюда вывезти. Мы думаем проехать в Кисловодск, чтоб постараться раздобыть хоть немного деньжонок, но едва ли удастся отсюда выбраться. Надо ехать лошадьми, т. к. путь во многих местах испорчен, а денег на подводы у нас конечно нет. Ну, ради Бога, если вы еще все любите меня и не позабыли, то вывозите меня отсюда. Хлопочите о решении. Надо просить у самых главных представителей Совнаркома. Мож. б. сюда могут дать телеграмму о том, чтоб. нас не задерживали на тех станциях, которые нам надо проезжать. Хлопочите ради Бога. Мама».

Никаких документов, объясняющих мотивы ее переезда из своего дома в Кисловодске в чужой угол в Туапсе, а также зачем ехали через воюющую и полыхающую Россию на юг Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна, нет. Нет и объяснения тому, что потом они разделились. Мария Петровна с Георгием выехала с Кавказа не в Москву, а в Саратов к сыну Ивану, перебравшемуся туда в начале 1919 года с женой и тремя детьми. Они надеялись, вывезя детей из голодной Москвы, пережить там трудное время, но попали в поволжский голод и тиф и похоронили там двух сыновей Ивана — Михалка и Ванечку — и младшего сына И. Н. и М. П. Сахаровых Георгия. Там же в августе 1920 г. млеболела тифом и Мария Петровна. Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна оставались в Туапсе до середины 1920 года, когда им с большими трудностями удалось вернуться в Москву...

Андрей Сахаров неточно изложил в «Воспоминаниях» историю арестов своего любимого дяди И. И. Сахарова.

И опять Кузнецкий мост, д. 22. Первый раз Иван Иванович был арестован в мае 1930 г. По делу было арестовано еще 14 человек, многие из них были приговорены к трем годам ссылки. Но Иван Иванович был 12 июля освобожден без предъявления обвинения. Он не возвратился на прежнюю работу (м. б. был уволен?) и поступил в Машметиздат на должность художника, которая давала возможность приработка и большей свободы. Второй арест был 1 января 1934 г. Дело № Н-9086 по обвинению группы из 8 человек по ст. 58—10, 11 УК. Группа обвинялась «в к. р. деятельности и в подготовке побега за границу одного из своих членов для связи с меньшевистским Центром». Среди арестованных был и тот, кто должен был бежать — некто Оболенский, и его жена. Оболенского с женой задержали где-то на южной границе вблизи Ташкента с паспортом Ивана Ивановича. Связь с Центром явно была надумана следствием. Видимо, просто Оболенский хотел таким способом покинуть СССР. Приговор был по отечественным меркам удивительно мягким. Одного из обвиняемых освободили (Комаровский). Остальных участников «группы» приговорили к высылке в Казахстан на три года. Ивану Ивановичу сразу же изменили место высылки на г. Казань. Видимо, именно по этому делу его жена Евгения Александровна (ур. Олигер) обращалась к Ягоде (о чем пишет Андрей Сахаров), и ее заступничество сказалось на судьбе не только мужа, но и всех участников «заговора».

В Казани с лета 1934 г. Иван Иванович работал экономистом на алебастровом заводе и жил около Волги. В 1936 году выполнял временно работы на гидрологической станции в г. Тетюши, жил у бакенщика, с ним рыбачил, но сам бакенщиком не был. Весной 1937 года кончился срок высылки, но он потерял право жить в Москве. Поступил работать в управление гидрометслужбы и работал начальником гидрологической станции на Оке под Рязанью, потом в Тамбове и Козьмодемьянске. Оттуда он приезжал на похороны своей матери Марии Петровны в марте 1941 года. Весной 1943 года он был уволен и уехал в экспедицию с астрономо-геодезическим отрядом в Западную Сибирь. Там заболел и умер в больнице в г. Тобольске в апреле 1944 года. В связи с ссылкой и вынужденной жизнью на два дома семья его жила очень стесненно. Мотоцикла у дяди Вани никогда не было — первый мотоцикл был казенный, второй принадлежал его знакомому, одинокому чудаку, вкладывавшему деньги в разные вещи, которые сам не мог освоить. Иван Иванович был у него вроде шофера, не зарабатывая на этом, а только получая возможность возиться с техникой, которая была

его стихией. И одной из его крупных трат (во всяком случае, запомнившейся семье) была покупка трехколесного велосипеда в подарок на день рождения маленькому племяннику Аде (Андрею Дмитриевичу Сахарову), к которому он был очень привязан и у которого несомненно пользовался взаимностью. Его внук Иван назван Иваном не в честь Ивана Николаевича Сахарова (деда Андрея Сахарова), а в память своего деда Ивана Ивановича Сахарова.

Отец Андрея Сахарова, Дмитрий Иванович, окончив гимназию в 1907 году, поступил на Медицинский факультет Московского Университета, но в мае 1908 года подал прошение о переводе на Естественное отделение Физико-математического факультета по специальности «Физико-химия», где и продолжил образование. В марте 1911 года он был исключен из Университета за участие в студенческих сходках, но, видимо, «участие» не было значительным, т. к. в мае был восстановлен. Он окончил Университет весной 1912 года и начал учительскую деятельность. Однако, ощутив недостаточность педагогической подготовки, поступил в Педагогический институт им. Павла Григорьевича Шелапутина, основанный на средства Шелапутина специально для подготовки к педагогической деятельности выпускников Университетов, и через два года закончил его.

Дмитрий Иванович много лет работал в Педагогическом ин-те им. Ленина, но 15 апреля 1948 года уволился по собственному желанию. Причина была глубоко личная, интимная, чего Андрей Сахаров мог не знать. И руководство факультета и все на кафедре сожалели о его уходе. Вначале он поступил на работу в Горный институт, где кафедрой физики руководил Николай Владимирович Кашин, у которого Дмитрий Иванович был студентом в Шелапутинском институте.

Позже он перешел на работу в Областной педагогический институт им. Крупской.

Весной 1956 года кафедра физики этого института ходатайствовала перед Высшей Аттестационной Комиссией Министерства Высшего Образования СССР о присуждении доценту, кандидату педагогических наук Д. И. Сахарову ученой степени доктора педагогических наук без защиты диссертации. Это ходатайство было поддержано доктором пед. наук Н. В. Кашиным, доктором физ.-мат. наук, чл.-корр. АПН Д. Д. Галаниным и доктором пед. наук И. И. Соколовым, которые писали в ВАК 17 апреля 1956 года:

«(...) Более тридцати лет Д. И. Сахаров успешно разрабатывает наиболее трудные и сложные проблемы методики преподавания физики. В многочисленных статьях, помещаемых в методических журналах, Д. И. подвергал тонкому анализу многие традиционные трактовки программных тем, вскрывая их неполноту, неточность, а иногда и ошибочность и устанавливая новые, вполне научные подходы к объяснению и изложению (...) вопросов курса физики, как в средней школе, так и в ВУЗах (...). Каждый из составленных Д. И. учебников отличается свойственной Д. И. как оригинальному методисту особенностью в краткой форме, отчетливо, ясно, доходчиво излагать идеи современной науки (...). Мы считаем Д. И. вполне достойным получения ученой степени доктора педагогических наук без защиты диссертации».

Мне остается добавить к этому только слова, которые Андрей Дмитриевич Сахаров не написал, но неоднократно повторял: «Физиком меня сделал папа, а то Бог знает куда бы меня занесло!»

Мария Петровна Сахарова (1859? 1860? 1861? 1862? — 1941) похоронена в Москве на Немецком (Введенском) кладбище. Там же похоронены Дмитрий Иванович Сахаров (1889—1961), Сергей Иванович Сахаров (1885—1956), Николай Иванович Сахаров (1891—1971), Евгения Александровна Сахарова (ур. Олигер; 1891—1974), Татьяна Ивановна Якушкина (ур. Сахарова; 1883—1977) и Екатерина Ивановна Сахарова (1913—1993).

Евгений Стариков

АНТИПОДЫ

КОМПРАДОРСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БУРЖУАЗИЯ В РОССИИ

1

Компрадорский финансовый и торговый капитал, неразрывно связанный с аппаратом и «бандократией», криминальный по самой своей природе, является ныне главным генератором и распределителем богатства в нашей стране. Непременное условие его могущества — основанная на долларе экономика, постоянно обесценивающая рубль и позволяющая, ничего не производя, делать деньги с помощью валютных махинаций и демпингового экспорта сырья, горючего, наркотиков, старинных икон и красивых рабынь для зарубежных борделей, а также импорта «огненной воды», побрякушек и подержанных автомобилей (в том числе ворованных).

Либерализация января 1992 г. привела к ориентации на плавающий биржевой курс рубля и к соответствующей перестройке структуры цен. Искусственно заниженный курс рубля явился ключевым элементом в механизме неэквивалентного перераспределения ресурсов между секторами экономики и связанными с ними группами населения. Именно на курс доллара ориентируется ценообразование в российской экономике, то есть девальвация дала толчок инфляции, а не наоборот.

Сегодняшний курс доллара — грабительский, многократно завышенный. Реальная цена доллара, вытекающая из сравнения покупательных способностей валют, оказывается в 20—30 раз ниже цены, образующейся на валютной бирже. Например, «сырьевой» курс рубля в феврале 1993 г. должен был быть около 30 рублей за доллар. Искусственное занижение курса рубля привело к скачку инфляции до 2500% в год. «Это давно уже гиперинфляция», — считает министр финансов Б. Федоров.

Гиперинфляция разделила страну на две неравные части: выигравших и проигравших. Кто же и как выигрывает от гиперинфляции?

Финансовый компрадорский капитал, неестественно разбухший на фактически безрисковых манипуляциях с валютой. Наиболее простая операция — так называемый «процентный арбитраж» — заключается в следующем: берется рублевый кредит, затем рубли обмениваются на доллары, а вслед за очередным скачком курса доллара — вновь обмен на рубли. Кредит с процентами возвращается, при этом остается еще и «навар». Эта нехитрая операция повторяется без конца. Чем быстрее «оборачиваемость оборотных средств» и чем сильнее падение курса рубля, тем больше «навар». Деньги из воздуха. И никакого риска. Естественно, что все коммерческие банки ударились в подобную деятельность, а многие предприниматели ушли оттуда, где деньги зарабатываются за счет производства товаров, туда, где они делаются из воздуха. Как пишет «Файнэншл таймс», «большие темпы инфляции и нестабильность ведут к тому, что даже крупнейшие банки предлагают только краткосрочное финансирование вместо инвестиционных кредитов, необходимых для вытягивания экономики из кризиса... Уродливая структура цен и падающий курс рубля дают возможность коммерческим банкам получать большие прибыли на иностранной валюте и за счет финансирования экспорта сырья...»

Торговый компрадорский капитал. Колоссальные денежные ресурсы, аккумулированные финансовой мафией, вкладываются в экспортно-импортные махинации. Торговцев-компрадоров можно чисто условно подразделить на «легальных» и криминальных. К «легальным» относятся около семисот номенклатурных спецэкспортеров вроде «Разноэкспорта», получивших от аппарата особые права и привилегии на экспорт. Наряду с «легальными» экспортерами, действующими на основе полученных за взятки незаконных лицензий и привилегий, процветает и откровенная контрабанда — цветными и редкоземельными металлами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами, антиквариатом. По признанию главы МВЭС, его ведомство «практически не имело возможности контролировать экспорт товаров на территории СНГ... На таможенных пунктах милиция пропускала все. Даже к концу 1992 г. органы МВД не имели списка организаций, уполномоченных давать разрешение на вывоз в ближнее зарубежье. Был полный хаос, и Россия потеряла существенную часть доходов».

Когда производство практически всех сырьевых товаров продолжает падать, невозполнимые ресурсы текут за кордон, а на внутреннем рынке обостряется дефицит, внутренние цены тянутся к мировым, курс рубля падает. Прибыль не реинвестируется, а оседает в зарубежных банках. И даже не столько в банках, сколько в акциях зарубежных фирм и недвижимости. Так, за три последних года ушло 70 миллиардов долларов.

Следует отметить, что представители торгово-компрадорской буржуазии выработали особую субкультуру, укрепление которой делает несбыточными надежды многих наших экономистов и публицистов на то, что аккумулированные денежные средства будут затем инвестированы в производство. Не будет этого никогда. Нет ни знаний, ни навыков производственной деятельности, в наличии лишь тупая ориентация именно на торгово-посреднические операции. Компрадорская буржуазия распространяет вокруг себя «аромат» собственной «деловой этики». В 1992 г. невозврат кредитов по Российской Федерации составил 80%. Все более широкой становится практика невыполнения взаимных обязательств, взаимного надувательства и недоверия. Нет закона против ложных банкротств, а посему мошенники могут безнаказанно грабить пайщиков и вкладчиков, выдавая огромные «кредиты» сообщникам и объявляя себя разоренными. Урегулирование деловых споров все чаще осуществляется не благодаря арбитражу и суду, а при помощи «разборок» с участием вооруженных банд и наемных убийц. Грязные деньги, полученные, к примеру, от торговли наркотиками, отмываются под крышей созданных крупными мафиозными группировками в Германии, Австрии и Люксембурге торговых и посреднических фирм.

Сейчас стало уже практически невозможно провести хотя бы в абстракции разграничительную черту между компрадорским и криминальным бизнесом. Компрадоры все более криминализируются, а преступники уже давно и успешно осваивают легальный бизнес. Для начала ими были поставлены под контроль казино, шоу-бизнес, продажа автомобилей.

Тотальная криминализация общества и государства была предсказана еще пять лет назад Александром Гуровым и Владимиром Соколовым. Последний писал: «Но пирамида мафии не просто растет, она монтирует себя во всем объеме пирамиды государственной власти». Сейчас этот процесс полностью завершен. Государственный аппарат, финансово-торговая компрадорская буржуазия и «бандократия» составили нерасторжимый симбиоз. В колоссально расширенном и гораздо более гнилостном варианте повторен путь, пройденный в свое время французской термидорианской буржуазией и завершившийся образованием паразитарной финансовой олигархии. Как писал по ее поводу К. Маркс, «финансовая аристократия как по способу своего обогащения, так и по характеру своих наслаждений есть не что иное, как возрождение люмпен-пролетариата на верхах буржуазного общества». Социальная материя России оказалась скрепленной не узами гражданского общества, а вдоль и поперек «простегнутой» паразитарной структурой, живущей за счет анемично-беспомощного, аморфного общества и действующей как фермент его ускоренного разложения. Россией овладели деструктивные силы, распространяющие вокруг себя энтропию — эко-

номический, социальный, политический и правовой хаос, ибо только такая среда является условием существования этих сил. «На этом историческом этапе практически невозможно провести различие между обложением налогом, конфискацией, вымогательством и ограблением». Писано не про нас, а про Англию XII века — как раз накануне принятия «Великой хартии вольностей». Но как похоже! Чудовищная путаница и мешанина в российской административной, налоговой и банковской системах — порождение не русской безалаберности и неорганизованности, а сознательное творение захватившей власть мафии, ее питательная среда. Каждый очередной «провал» рубля делает все более выгодной продажу за рубеж энергоносителей, цветных и редкоземельных металлов, прочих богатств России. В таких условиях антиинфляционная гигантомахия российского руководства есть не что иное, как «борьба нанайских мальчиков».

Наивны параллели, проводимые некоторыми публицистами между американскими «баронами-разбойниками» конца XIX века и нашими нынешними нуворишами. «Дикий капитализм» в США был довольно некрасивой, но всего лишь фазой поступательного движения американской экономики, трансформировавшись затем во вполне производительный и легальный бизнес. Но не надо забывать о культурно-историческом контексте. Одно дело — англосаксонская протестантская предпринимательская этика, которая сумела адаптировать к себе и «переварить» второе и третье поколения бывших «баронов-разбойников». У нас такого культурно-исторического контекста нет и в помине. Поэтому никогда наш криминальный капитал не трансформируется в производительный. В лучшем случае деньги будут вложены в рестораны, гостиницы, торговые точки, «бытовку», земельную собственность и недвижимость, даже в кладбища — но не в промышленное производство, в котором мафиози ничего не смыслят. Но более предпочтителен для компраторов так называемый «латиноамериканский вариант»: ни в коем случае не связывать свое будущее с ограбляемой ими страной, ибо благодаря их усилиям она катится в пропасть.

Прогнозы, даваемые экспертами, несут апокалипсический характер. Егор Гайдар: «Два-три месяца инфляции свыше 60% повлекут вторичную бартеризацию экономики, ее долларизацию, замыкание на себя региональных рынков, перебой в производственном снабжении крупных городов и рецидивы карточного снабжения. Совершенно неизбежно резкое ослабление эффективности контроля центральных органов власти над ситуацией в России (основные финансовые рычаги перестают действовать), мощный удар по производству из-за расстройств хозяйственных связей, особенно тех, которые плохо переводятся на бартерную основу. И, естественно, утрата смысла инвестиционной деятельности, да и вообще какой-либо осмысленной производственной деятельности с циклом свыше 2 месяцев; прекращение активности на чисто спекулятивные операции и дальнейшее бегство от денег». Специалисты из «Коммерсанта» считают, что гиперинфляция — это вовсе не какая-то конкретная цифра, а скорее качественная черта экономики, некое «состояние духа», при котором «бувальню за несколько месяцев страна оказывается на грани катастрофы, выход из которой не может не быть связан с кардинальной сменой политического курса, а от предпринимательской активности в нынешнем ее понимании останутся лишь воспоминания, навеваемые подпольно хранящимися подшивками «Ъ». Примерно то же самое говорит и директор Экспертного института Российского Союза промышленников и предпринимателей Евгений Ясин: «Тут уж будет не до институциональных преобразований ни в центре, ни на местах, в полной мере проявится эффект «черной дыры». Целостность страны окажется под вопросом. И Бог знает, какие политические чудовища полезут к власти».

Российская национальная буржуазия пока не стала ни «классом для себя», ни «классом в себе», то есть не только субъективно не осознает себя единым целым, но и объективно таковым не является.

Однако что же такое «национальная буржуазия», каковы ее выделяющие

признаки? Кроме социального происхождения, противопоставляющего ее «бизнес-номенклатуре» (из ИТР, ученых, частично — бывших комсомольских функционеров), национальная буржуазия отличается происхождением своих капиталов: частные и кредитные ресурсы versus наворованная госсобственность у «бизнес-номенклатуры» и компрадоров. Соответственно различаются и размеры самих капиталов: мелкие и средние versus крупные. Однако главное — не происхождение и размер капиталов, а способ их функционирования: как правило, малый и средний производительный капитал противостоит крупному спекулятивному. Соответственно диаметрально противоположно и отношение к внутреннему и внешнему рынкам, твердой валюте и процессу повышения ее рублевого эквивалента (то есть инфляции). Для компрадоров ориентация на внешний рынок означает демпинговую торговлю энергоресурсами и антиквариатом, а ориентация на внутренний — ввоз предметов потребления, душащий их местное производство. Таким образом, компрадоры, что следует из самого этого понятия, являются не конкурентами, а младшими партнерами зарубежного капитала в его противостоянии отечественным производителям и как таковые ориентированы на вытеснение рубля иностранной валютой и на его обесценивание.

Для национальной буржуазии внешний рынок — сфера ожесточенной борьбы с иностранными производителями за возможность реализации своей продукции, прежде всего — высокотехнологичной, а рынок внутренних — сфера импортзамещения, то есть борьбы за вытеснение иностранного импортера и его компрадорских «поделщиков». Естественно, падение курса рубля способствует экспорту отечественной продукции, но в целом «полезный» эффект этого явления для национальной буржуазии многократно ниже его отрицательных последствий: инфляция бьет и по их конкурентоспособности на внутреннем рынке, и по возможностям долгосрочного инвестирования вообще и получения долгосрочных кредитов в частности, способствует общей нестабильности и повышению рискованности предпринимательской деятельности. Различно у компрадоров и национальной буржуазии отношение к инвестициям: компрадоры не реинвестируют прибыль, а вывозят ее из страны или вкладывают в недвижимость, игорный и шоу-бизнес, в прочую «непроизводительную сферу», для национальной же буржуазии проблема инвестиций — одна из ключевых.

Обобщенно говоря, речь идет о формировании в нашей стране двух диаметрально противоположных предпринимательских субкультур. Субкультура национальной буржуазии, ее этос — это явление западного, европейского типа. Компрадорская субкультура свойственна бывшим колониальным и зависимым странам третьего мира. У компрадоров, воров номенклатурных и просто воров, в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на основе которой может быть построен отнюдь не рынок, а лишь купечко-азиатский базар. От обычного, нормального рынка (то есть рынка по-европейски) его отличают такие родимые пятна, как неконкурентный тип поведения и стремление к торговой монополии путем сговора или внеэкономического уничтожения конкурента; ставка на спекулятивную сверхприбыль, то есть максимизация прибыли путем создания дефицита товаров при завышенных ценах; упор не на производственную деятельность, а на торговоростовщические и спекулятивно-посреднические операции; тесная зависимость от коррумпированной власти — феномен «бюрократической буржуазии», хорошо известный на примере стран третьего мира; отсутствие рыночной культуры и деловой этики, а также всякой культуры и этики вообще.

Известно, что первые годы жизни ребенка определяют тип его характера и поведения на всю оставшуюся жизнь. Точно так же самые первые шаги зарождающегося рынка задают исходную матрицу, парадигму его дальнейшего развития, определяют, быть ли ему полноценным или ущербным. Если все вышеперечисленные хамско-базарные черты компрадорской субкультуры сейчас утвердятся в нашей экономической жизни, то никакого благостно-цивилизованного «потом» уже не будет. Иллюстрацией может послужить пример Латинской Америки: вот уже двести лет там — «рынок» и двести лет — слаборазвитость, нищета, дикие социальные антагонизмы и субкриминальный капитализм. Одним словом, «пылающий континент».

Советский тоталитаризм во многом базировался на «превращенных формах» традиционно-патриархального уклада с его аскетическо-антиутилитаристскими ценностями. С развалом этого уклада на смену антиутилитаризму приходит то, что историк А. С. Ахиезер назвал «умеренным утилитаризмом», Э. Ю. Соловьев — «торгашеским феодализмом», а в просторечии именуется рвачеством.

Согласно Ахиезеру, умеренный утилитаризм «характеризуется стремлением увеличить получение благ путем их уравнительного перераспределения, путем кражи, захвата, нищенства, социального и ж д и в е н ч е с т в а, нажима на правительство, общественность и т. д.».

«Торгашеский феодализм» — это атмосфера паразитарного стяжательства, основанного на ростовщичестве, спекулятивной торговле, открытом грабеже общества, силовой монополии. В этой атмосфере гибнут любые ростки капиталистического предпринимательства, ибо последнее основано на идеях «честного» дохода, умеренности, трудолюбия и нерушимости договорных обязательств, на определенных правилах и этике конкурентной борьбы. «Торгашеский феодализм» — явление до- и антикапиталистическое. В его атмосфере задохнулись североитальянские мануфактуры XIV века и бюргерский капитал в Германии XV—XVI веков, именно он загубил промышленность Испании шальными деньгами, награбленными в завоеванной конкистадорами Америке. Современная российская «блатная экономика», хамский разгул нуворишей, разбогатевших на воровстве и спекуляции, повторяет этот тупиковый зигзаг западноевропейской истории.

«Развитый утилитаризм, — продолжаю цитировать Ахиезера, — характеризуется осознанием связи роста благ и личных усилий по их добыванию, производству. Развитый утилитаризм с его ориентацией на прогресс производства требует развития личности с высокой оценкой своего Я. Он в конечном итоге подготавливает почву для либерализма с его растущей оценкой духовных ценностей, идеалов свободы, саморазвития законности, диалога и т. д. ...»

Следует с сожалением отметить, что некоторые особенности нашей культуры затрудняют переход от умеренного к развитому утилитаризму: в рамках распространенной у нас ментальности не прослеживается связь между трудом и его материальным результатом, отсутствует установка на перспективное планирование и расчет трудовых усилий, поскольку слишком большое количество случайных факторов, могущих перемешать все карты, делает такие расчеты весьма проблематичными; богатство рассматривается как результат чего угодно — воровства или везения, но только не собственных трудовых усилий. Поэтому «развитый утилитаризм, несмотря на свой творческий характер, подвергается гораздо большему остракизму, чем умеренный, хотя последний тяготеет к ж д и в е н ч е с т в у». За годы советской власти умеренный утилитаризм свои позиции усилил, тогда как носители развитого утилитаризма были заклеены и уничтожены. Сейчас страна оказалась перед выбором между двумя диаметрально противоположными типами рынка, бизнеса и предпринимательской субкультуры: или идущее «снизу», «демократическое» предпринимательство, в значительной степени в сфере производства, осуществляемое талантливыми изобретателями, носителями новых перспективных идей — национальная буржуазия, порождающая многочисленный средний класс и одновременно сама являющаяся детищем этого «класса» (первый вариант); или идущая «сверху» — путем разворовывания госсобственности и создания липовых «СП», «НПО» и тому подобных «корпораций», «холдингов» — «приватизация», главный метод которой — административный (или бандитский, или оба вместе) кулак, клановые связи, нелегальный сговор и физический террор против всех, кто встает на пути. При такой капитализации государственных фондов мы получаем не средний класс, а термидорианскую буржуазию, сословие «жирных котлов» (как называли подобных нуворишей в саатовском Египте). Этот путь проторен уже такими странами третьего мира, как Парагвай, Колумбия, Бангладеш, Нигерия (да и прочие государства Тропической Африки).

Олицетворением противоположного пути является венчурный бизнес, опирающийся на перспективные, но очень необычные, рискованные исследования и научные поиски. В США венчурный сектор пользуется особой поддержкой государства, ибо является не только главным двигателем научно-технического прогресса

и основным мотором экономики, но и наиболее прибыльной сферой деятельности. В США венчурные фирмы (это, как правило, мелкие и средние предприятия) на первых порах существования вообще освобождаются от налогов и получают льготные кредиты. У нас же для них, естественно, нет ни того, ни другого.

И вообще условия существования малого производственного, в том числе венчурного, бизнеса в России настолько неблагоприятны, что некоторые исследователи даже ставят под сомнение сам факт его существования. Например, профессор Нью-Йоркского университета Джон Макфулл считает, что поскольку «сегодня в России для малого бизнеса практически нет условий», то «практически нет и частных предприятий, занимающихся производством продукции».

По этому поводу уместным будет привести следующее высказывание Марка Масарского: «Этот вопрос я часто слышу в правительственных кругах: как на вас, собственников, опираться — сколько вас? Можно ответить, что, по экспертным оценкам, вместе с семьями нас 15 миллионов. Но не хочется прибегать к подсчетам. Это все равно, что сравнивать существовавших миллионы лет гигантских бронтозавров с только что появившимися млекопитающими. Они были маленькими, беззащитными, но со временем завоевали планету. Потому что были теплокровны и не зависели от перепада внешних температур. Сегодня нарождающийся класс, за которым будущее, старается выжить под тяжестью распадающихся допотопных структур».

Всего к началу апреля 1993 г. в России в частные руки перешло более 60 тысяч предприятий и создано более 100 тысяч новых в разных отраслях экономики. Но это, так сказать, общий количественный показатель бизнеса «по валу», без различения компрадорских фирм и номенклатурно-«прихватизированной» государственности от предприятий собственно национальной буржуазии. Исходя из суммы всех приведенных выше «валовых показателей» и с учетом большого количества незарегистрированных фирм производственного «андеграунда», цифра в районе 80—100 тысяч малых и средних предприятий — по всей видимости, максимально возможная на настоящий момент для весьма и весьма приблизительной количественной оценки национальной буржуазии.

По малому производственному бизнесу в России бьет слишком многое и прежде всего — отсутствие порядка. Порядка — в самом широком смысле этого слова: стихийно-непредсказуемые колебания цен и валютного курса, волюнтаристское распределение кредита, отсутствие свободного рынка производственных площадей, коррупция чиновничества, неравноправное положение по отношению к государству, постоянное террористическое давление со стороны «бандократии». Ставшее всеобщим несоблюдение договорных обязательств более всего бьет опять-таки по «мелкоте», не обладающей необходимой ликвидностью. Безалаберно и бестолково действующий фискальный механизм, постоянно «недобирающий» за счет ухода от налогообложения компрадорской торгово-финансовой мафии, отыгрывается на малых предприятиях, буквально душа высокими налоговыми ставками тех производителей, которые не имеют возможности уклониться от финансового контроля. Налогообложение, забирающее 85% прибыли, совершенно не позволяет предприятию развиваться. Можно еще как-то терпеть 50%, дальше уже начинается угнетение производства. Инструкции по налогообложению выходят задним числом — можно квартал проработать, а в конце квартала получить инструкцию, которая фактически прикрывает ваше предприятие как неплатежеспособное.

В своих спорах с государством предприниматель лишен судебной защиты. Несмотря на то, что Конституционный суд прямо указал «на необходимость непосредственного применения ст. 63 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод», фактически до сих пор действует противоречащий Конституции Закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомερных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан», принятый в 1989 году. Этот Закон существенно ограничивает право на судебную защиту; в частности, не могут быть обжалованы в суде действия следственных органов, накладывающих арест на имущество.

Правительство Гайдара в свое время как-то забыло, что налоги во всем мире выполняют не только фискальную функцию, но и стимулирующую. До сих пор

существующая в России система налогообложения не стимулирует, а душит производителя. И в первую очередь это относится к налогообложению предприятий с наукоемким производством. А ведь именно эти (венчурные) производства больше всего нуждаются в стимулирующем воздействии гибкой налоговой политики, в государственном протекционизме, выражающемся в налоговой передышке на период становления предприятий, в освобождении от налога на добавленную стоимость.

Но именно за период с начала 1992 г. вновь нарождающимся предприятиям все труднее и труднее встать на ноги и не погибнуть. «К сожалению, за год деятельности правительства Е. Гайдара число предпринимателей скорее сократилось, нежели увеличилось», — констатирует генеральный директор Международной ассоциации руководителей предприятий Константин Затулин.

«Государство строит свои финансы на расходах, частный бизнес — на доходах». В этих словах экономиста Георгия Матюхина — суть диаметрально противоположного отношения к проблеме финансов со стороны частного бизнеса и опекаемого государством директората. Для последнего высокий уровень инфляции в условиях постоянного льготного государственного кредитования и системы дотаций — наиболее простой способ избавления от долгов. Частный же бизнес государственных льгот, кредитов и дотаций не имеет, а, наоборот, является главным «донором», из тела которого все эти соки перекачиваются в карман убыточного госсектора. В условиях высокого уровня инфляции страдает именно производственный сектор, нуждающийся в долгосрочных инвестициях. Предельный уровень инфляции, при которой возможно здоровое предпринимательство, производство и инвестиции, — не более 7—9% в месяц. Инфляция делает невозможными коммерческие инвестиции в проекты со сроком более одного года. Как пишет Ирина Никонова из Фонда «Реформа», «в тяжелом положении при этом (несмотря на огромное количество всевозможных фондов поддержки малого бизнеса) находятся малые частные предприятия производственной и научно-производственной сферы, которые не вписываются в государственные программы и в силу небольших размеров потребных инвестиций неинтересны для частного капитала банков и других потенциальных инвесторов. Если поставить на пути предложений по программам и проектам только коммерческий фактор, то многие проекты, связанные со структурной перестройкой экономики, нельзя будет осуществить».

Вынужденный постоянно находиться в субкриминальной среде нашего бизнеса, «офлажкованный» со всех сторон множеством взаимоисключающих правовых актов, российский предприниматель весьма уязвим для властей, которые в любой момент могут подвести его под самую грязную уголовную статью. А посему российский предприниматель пуглив, политически очень осторожен и старается лишним раз не сердить власти, а борьбу за свои интересы предпочитает вести не путем политического объединения с себе подобными, а в одиночку — путем незаконного сговора с чиновниками ради получения ресурсов и льгот для себя лично. Не коллективное обеспечение благоприятного для всех предпринимателей политико-экономического климата и единых для всех норм конкуренции, а персональное выживание каждого в отдельности — вот, к сожалению, главная линия поведения большинства бизнесменов.

Тем не менее недовольство национальной буржуазии нынешним руководством страны начинает все чаще приобретать чисто политические формы. Еще 7 февраля 1992 г. состоялся съезд предпринимателей, на котором 117 представителей мелкого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга образовали Независимое гражданское движение в поддержку предпринимательства в России. По сообщению газеты «Коммерсантъ», участники съезда «резко критиковали руководство страны за засилье бюрократии и покровительство крупному капиталу в ущерб мелкому, иностранному в ущерб отечественному, спекулятивному в ущерб производственному... Организаторы нового движения решительно встали в оппозицию к руководству страны, подчеркивая разницу между независимым предпринимательством и но-

вой «капиталистической номенклатурой», в интересах которой, по их мнению, действует нынешняя власть. Съезд заявил о создании политического движения, призванного защищать интересы «пролетариев от коммерции» — деловых людей, не связанных с монополистическими структурами и правительственными кругами». С тех пор автор нигде больше не встречал упоминания об этом движении. Характерно и то, что на фото, сделанном корреспондентом «Ъ» в зале съезда, сидящий на первом плане представитель малого бизнеса предпочел закрыть свое лицо от фотообъектива газетой — еще одно наглядное свидетельство осторожности даже наиболее «революционных» «пролетариев от коммерции».

Политическая нестабильность создает неблагоприятный для предпринимательства климат. Для поддержания своей харизмы Ельцин, по словам политолога Эдварда Ожиганова, «постоянно нуждается в подпитке своего режима через какие-то выходы нерационального свойства. Этот режим в принципе противоположен рациональной демократии. Это антиподы. Ему постоянно нужны какие-то перевороты, скандалы, плебисциты, обращения к народу, чудеса и пр.». В этой связи Марк Масарский выражает, по-видимому, мнение большинства представителей национальной буржуазии, когда говорит: «...Мы могли бы договориться со значительно большим числом людей из оппозиции, чем это удается нашему Президенту и правительству. Потому что они профессиональные герои. Им нужен враг. А нам главное — сговориться». На пленарном заседании Конституционного совещания 10 июня 1993 г. представитель секции товаропроизводителей и предпринимателей Иван Кивелиди призвал поскорее «покончить с сексуальным противостоянием властей». Товаропроизводители и предприниматели выступили на Конституционном совещании против Федеративного договора, узаконивающего особые привилегии республик и в перспективе ведущего к развалу России. Начиная с сентября 1991 г. в среде национальной буржуазии сначала зародилось недоумение по поводу политики Ельцина, затем стало нарастать раздражение, вслед за чем начался сначала постепенный, а затем набирающий все большее ускорение дрейф вправо. Симпатии предпринимателей, может быть, и на стороне «демократов», но практический интерес заставляет прислушиваться к «патриотам», которые обещают поддержку, гарантируют защиту единства страны, финансирование науки, протекционистское прикрытие отечественного предпринимательства.

Если еще в начале 1992 г. делегаты съезда предпринимателей Петербурга предпочитали прикрывать свои лица от фотообъективов, то годом позже по всей стране пошел такой мощный процесс «кучкования» предпринимателей, что в глазах зарябило от обилия названий новых союзов и объединений. Вполне естественно, что прежде всего этот процесс пошел на региональном уровне и по отраслям деятельности. Промелькнуло и название Ассоциации малых инновационных предприятий, объединяющей предприятия, занятые научными разработками, иными словами — венчурный сектор. Выражает интересы этого сектора и Союз предпринимателей России.

С середины 1993 г. в России начался процесс формирования предвыборных политических блоков, которые скорее всего явятся основой будущей многопартийной системы. (Карликовые «партии», существующие уже несколько лет, эту роль явно сыграть не смогли.) Предприниматели приняли активное участие в этом процессе, стремясь к политической консолидации на классовой основе. Здесь роль главных консолидирующих центров начали играть две организации: одна — во главе с Е. Гайдаром, другая — под руководством К. Затулина и Г. Явлинского. Гайдаровская Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий (ВАПЧП), зарегистрированная в начале июня, на момент своего создания уже объединяла около двух тысяч предприятий в более чем 60 регионах России и быстро увеличивает количество своих участников. Гайдар заявил, что целью его организации является цивилизованное давление на законодательную власть в интересах возрождающегося класса собственников. Но в то же время Егор Тимурович остался верен себе, добавив, что ассоциация будет выражать и защищать интересы всего народа. В пику ему Г. Явлинский тут же объявил, что его организация — Всероссийское объединение «Предприниматели за новую Россию» — будет защищать интересы именно частного предпринимательства. Хотя гайдаровс-

кая ассоциация открыта для всех приватизируемых и частных предприятий, независимо от их масштаба, в среде участников недосыгаемыми по высоте утесами громоздятся Уралмаш, Магнитка, Ижорский завод... Учитывая сохраненное Гайдаром сильное влияние на директорский корпус и нарастающий процесс превращения гигантов госсобственности в «холдинги», складывается впечатление, что именно эти громоздкие объединения во главе с бывшими директорами, а ныне — президентами акционерных компаний станут главной силой в ВАПЧП.

В отличие от этой ассоциации вокруг Константина Затулина и Григория Явлинского группируются силы «низового», «демократического» капитала. Организаторы нового объединения не маскируют классовый характер своей организации флером рассуждений об общенациональных интересах, открыто действуя по старому принципу: «Что хорошо для «Дженерал Моторс», то хорошо и для США». Применительно к нашим реалиям это речение могло бы звучать так: «Национальная буржуазия — главная социальная группа, способная вытащить Россию из кризиса. Действуя в ее интересах, мы тем самым действуем в интересах России».

Наметился процесс перехода на платформу национальной буржуазии других групп предпринимателей — банкиров и даже представителей ТЭК.

«Недавний съезд Ассоциации российских банков (АРБ) стал, наверное, первым форумом, на котором представители ведущих финансовых и биржевых структур РФ открыто заявили о необходимости защищать интересы национального капитала, стимулировании создания российских транснациональных корпораций (ТНК).

В такой постановке вопроса нет ничего удивительного. Налицо симптом важных качественных перемен в менталитете отечественных банкиров, негосударственных финансовых институтов. Попытка перейти от простого депозитно-ссудного обслуживания к более сложным операциям по мобилизации, перераспределению и управлению капитальными потоками — так пишет эксперт Федерации фондовых бирж Лев Макаревич.

Гиперинфляция не позволяет коммерческим банкам (КБ) осуществлять долгосрочное инвестирование, что «перечеркивает шансы быстрого накопления капитала для структурной перестройки, модернизации производства, широкомасштабного внедрения созданных научно-технических заделов». Государство уже не в состоянии решать эти проблемы. Выход из создавшейся ситуации — в формировании на основе коммерческих банков мощных финансово-промышленных групп, российских ТНК. Но если на Западе стимулом к появлению ТНК явился переизбыток мощностей и капиталов, то в России роль такого стимула должна сыграть «именно нехватка мощностей и капиталов, точнее — неспособность государства их мобилизовать для структурной, научно-технической и технологической перестройки экономики. Такими аккумуляторами должны стать КБ. Для этого им требуется соответствующее правовое, административное и хозяйственное прикрытие». Как считает Лев Макаревич, «организация различных видов ТНК не только ускорила бы процесс капиталообразования, повысила бы прямую заинтересованность всех участников холдинга в долгосрочном инвестировании, но и быстро сконцентрировала бы необходимую критическую массу ресурсов для сырьевых и добывающих отраслей с большим экспортным потенциалом (нефть, газ, золото, редкоземельные металлы, лес, лен) для прорыва в передовых производствах (авиация, космос, информатика, нефтехимия, автомобилестроение, металлургия, средства коммуникаций, ВПК) и НТР (вычислительная техника, новые материалы, лазеры и проч.)».

Главную свою задачу Ассоциация российских банков видит в организации сотрудничества между отечественными ТНК, средним и мелким бизнесом с целью «сславить воедино инициативу, гибкость, мобильность малого предпринимательства, мощь и влияние — крупного».

Ту же ориентацию на сотрудничество с национальной буржуазией приняли и коммерческие структуры, оперирующие в ТЭК. Председатель Совета директоров многопрофильного концерна «Гермес» Валерий Неверов считает, что единственный способ вывести ТЭК из кризиса — акционирование «нефтянки», которое идет чрезвычайно медленно. «Без него кардинальная реформа невозможна. И это хорошо понимают сами отраслевники. Я знаю многих руководителей крупных пред-

приятий и комплексов, которые еще с конца 1992-го прекратили отношения с государством. Потому что оно денег не платит. Почему нефтяники, хорошо понимая необходимость модернизации многих технологий, не спешат выкладывать деньги на нее? Потому что тогда основные фонды возрастут в цене, а их предстоит выкупать. Вот почему они просто затихли и ждут приватизации, накапливая деньги».

В. Неверов считает, что после акционирования предприятий ТЭК прекратится бегство валюты за рубеж, начнется процесс ее реинвестирования и соответственно бурного развития отрасли, но за счет не увеличения добычи, а более глубокой переработки нефти, производства из нее лекарств, одежды, мебели, объединения с химиками и машиностроителями, с владельцами бензоколонок.

Консолидация национальной буржуазии, коммерческих банков, директората ВПК и наиболее дальновидных представителей руководства ТЭК происходит на платформе экономического национализма. Ущемление интересов отечественных производителей как внутри государства со стороны аппаратно-компрдорско-«бандократического» блока, так и со стороны западных, прежде всего американских, конкурентов породило мощную ответную реакцию, которая в рамках российской социокультурной парадигмы не могла не приобрести патриотическо-державнической окраски. Но это не старый обскурантистско-черносотенный «патриотизм» дотоварно-дорыночного, фундаменталистского типа, а нечто новое. Идея территориальной экспансии отброшена и заменена идеей экспансии торговой, русский идеологический мессианизм заменен «мессианизмом» научно-техническим. Державничество вдруг начинает светиться совершенно новым, «рыночным» светом, работать на рынок, причем работать яростно (какой-то державник в телеинтервью энергично высказался за такое возрождение России, когда русский рынок на голову превзойдет американский и вместо ларьков, торгующих западным ширпотребом в Москве, на улицах Нью-Йорка «вырастут бронированные русские киоски, торгующие русскими товарами». Если отбросить несколько экстравагантное — но вполне простительное для мышления с рудиментами «оборонного сознания» — смещение киосков с танками, то сама идея экономической экспансии России вполне укладывается в рыночную культурную парадигму). Высокие технологии, разработанные в недрах ВПК, — гораздо лучший товар для исконно русского мессианизма, нежели пресловутая «русская идея».

Консолидация в единый блок национальных производителей, коммерческих банков и научно-технических организаций — это таран, который на мировых рынках «позволит, — по словам Л. Макаревича, — пробивать самые неприступные барьеры на пути к любым высокоприбыльным, емким «нишам», мобилизовывать на международном уровне капиталы, необходимые для нашей экономики».

4

Российские производители уже ничего не ждут от нынешнего руководства — слишком явственным стало за период с августа 1991-го, что оно крепко завязано на обслуживание интересов аппаратно-компрдорского блока и директората госпредприятий. В. Неверов говорит об этом откровенно: «Я уверен, что наше нынешнее правительство не способно заметно улучшить нашу жизнь. Думаю, что скоро к власти придет правый центр. И тогда, в конце 1994-го, думаю, начнется бурный рост нашей экономики, такой, какой мировая цивилизация еще не знала...»

«Непримиримая оппозиция» чутко уловила дрейф настроений национальной буржуазии вправо. И тут же модернизировала свои политические программы. Если ранее при всем своем примитивизме программы эти отличались концептуальной целостностью, ориентируясь на интересы люмпен-номенклатуры и люмпен-пролетариата, а стало быть, горой стояли за госсобственность и планово-перераспределительную экономику, то где-то с середины 1992 г. национал-коммунистическая оппозиция обогатила свои политические святыцы призывами к защите российского предпринимательства. В результате программные документы как «патриотов», так и некоммунистов приобрели явно эклектический характер. Так, на съезде Русского национального собрания 12—13 июня 1992 г. его участники пре-

голосовали за возврат к плановому хозяйству и одновременно — за развитие русского национального предпринимательства. Прошедший весной 1993 г. «XXIX съезд КПСС» принял программу вновь образованной организации «Союз компартий — КПСС», в которой ратовал за национализацию приватизированных предприятий и за запрет частной собственности на землю. И одновременно оргкомитет съезда отдельное «спасибо» адресовал «нашим друзьям из предпринимательских структур»...

Оппоненты нынешней власти на полтора года опередили «демократов» в борьбе за голоса буржуазии на будущих выборах. Именно тогда, за середины 1992 г., начинается усиленное ухаживание национал-коммунистов за российскими бизнесменами, которым сулят после прихода оппозиции к власти протекционистские меры в деле защиты от иностранных конкурентов. Как писала еще в октябре 1992 г. «Комсомольская правда», «...оппозиция, взяв в качестве лозунга идею национального возрождения, обещает твердую защиту интересов национальной буржуазии, которым угрожает иностранный капитал. И предприниматели, отчаявшись искать поддержку у правительства, видимо, обратили внимание на его противников». Тогда же началось обильное финансирование ими Фронта национального спасения и других подобных организаций. Выросло целое поколение бизнесменов-«патриотов», причем даже не совсем ясно, что для них первично, а что вторично: то ли «патриотизм» произрастает на почве озабоченности судьбами своего бизнеса, то ли сам бизнес является всего лишь финансовым подспорьем в главном, «патриотическом» деле.

Так, например, лидеры крайне правой экстремистской организации НСП («Народно-социальная партия») Алексей Андреев, Юрий Беляев и их духовный наставник — издатель и распространитель (за цену на четверть ниже стоимости!) книги «Майн кампф» Виктор Безверхий — все бизнесмены. Руководители неонацистских групп и штурмовых отрядов сплошь да рядом оказываются главами фирм, кооперативов и прочих частных предприятий. Короче говоря, за каждой крайне правой группировкой стоит финансовая поддержка не только добровольных «спонсоров», но и собственной коммерческой структуры.

Но скорее всего бизнес «патриотов» по своему размаху в подметки не годится подпольному бизнесу КПСС. На партийные деньги, по некоторым оценкам, созданы и активно работают от 600 до 1000 фирм и компаний в СНГ, от 300 до 500 — за рубежом. Следовательно Прокуратуры России Сергей Аристов свидетельствует: «Летом 1991 года в подполье ушла гигантская, хорошо отлаженная, а следовательно, в должной мере коррумпированная с нынешней властью, «невидимая» партийная экономика. На начало 1991 г. только видимая часть этого айсберга составляла почти 8 миллиардов рублей. А сколько удалось скрыть?» Под расписку с определенными политическими и финансовыми обязательствами гигантские деньги партии были переданы в руки «доверенных лиц». С тех пор эти деньги «крутятся» в экономике по обычным рыночным правилам. Но расписки — в руках тайных структур, могущих в любой момент использовать гигантскую коммерческую сеть. По этому поводу Лев Тимофеев пишет, что «дело «приватизации с благословения» каждый раз оказывается настолько выгодным, что вокруг такого рода бизнеса разворачиваются сражения, которые имеют общеполитическое значение, — то есть именно в прямую влияют на решения исполнительных и законодательных властей страны...»

Завершая разговор о национал-коммунистических «симпатиях» российской буржуазии, следует все же отметить тот факт, что всецело и сознательно на силы непримиримой оппозиции ориентируются «доверенные лица» КПСС, предприятия, являющиеся дочерними структурами партий этого политического спектра, и относительно небольшой (по сравнению со всей массой предпринимателей) круг идеологических фанатиков. Вообще же национальный капитал хитер и старается «подстелить соломки» на все случаи жизни, а посему оказывает финансовую поддержку одновременно широкому спектру самых разных, в том числе и противоположных, сил. Естественно, что объем финансовых вливаний, приходящихся на долю той или иной силы, прямо пропорционален ее политическим возможностям. Видно, шансы национал-коммунистов в глазах российских бизнесменов сильно возросли,

если оказываемая им финансовая помощь явственно растет в своих абсолютных и относительных масштабах. Вместе с тем само понятие «национал-коммунисты» в значительной мере условно, ибо между «патриотами» и неокommунистами разногласия достаточно велики и говорить о двух этих силах как о чем-то едином стоит лишь тогда, когда они противостоят «демократам». Бизнесмены достаточно квалифицированно разбираются во всех этих различиях и оказывают поддержку не «национал-коммунистам» вообще, а конкретным организациям — опять-таки в зависимости от их удельного веса и политических потенций. В этой связи весьма интересна исповедь российского бизнесмена — «друга КПСС», владельца нескольких фирм и магазинов, представившегося обозревателю «Мегаполис-экспресса» как «миллионер Жора»: «Нам, предпринимателям, объективно нужна сила, способная остановить развал всего и вся, стабилизировать ситуацию. И объединить, восстановить Союз — единое хозяйственное пространство. Глупо кому-то отдавать наши рынки, наши ресурсы. Я пробовал наладить контакт и с Русским национальным собором, и с ФНС, но убедился, что это недееспособные организации. В парламенте — болтуны. Единственная реальная сила — это коммунисты. Другой такой массовой партии с такой структурой нет и в ближайшем будущем не просматривается».

Есть о чем задуматься...

Елена Иваницкая

ДЕДУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛ

(К ПРОБЛЕМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МИФОЛОГЕМ
В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ)

«ЭМБЛЕМА РОССИИ»

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Ф. М. Достоевский размышлял о подвиге унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, который был захвачен в плен кипчаками, но и под жесточайшими пытками не отрекся от православия и отказался перейти в мусульманство. Вернувшись в романе «Братья Карамазовы» к этому жуткому эпизоду среднеазиатских походов, Достоевский пишет, что с несчастного содрали кожу. То есть «с несчастного» — это формулировка не Достоевского, это перевод ситуации на язык наших (моих) сегодняшних представлений. Писатель использует совсем другие характеристики — «подвиг, герой, дело всенародной правды, свобода духа» — и делает вывод: «Да ведь это, так сказать, — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее...» Россия даст содрать с себя кожу, но не отречется от высшего своего идеала, от веры, от «миссии»... «Знаете что, господа, — обращался Достоевский к современному ему интеллигентам-западникам, либералам-прогрессистам, — ведь из нас никто бы этого не сделал».

А ведь и не сделали бы. Сочли бы, что жизнь дороже Идеи и Веры. Речь ведь идет здесь только об этом: ничья больше жизнь не подвергалась опасности в случае словесного отречения перед палачами и крючьями. А если вынужденный компромисс тяготит честь и совесть, то впереди вся жизнь, чтобы «искупить малодушие». Для Достоевского такое решение — смердяковщина. Это Смердяков так рассудил: «Если этого похвального солдата подвиг был и очень велик-с, то никакого, опять-таки, по моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие».

Итак, подлинный образ России — человек, с которого сдирают кожу.

Коммунистическая (социалистическая, тоталитарная, большевицкая, как ни назвать) идеология и практика эту эмблему полностью принимала — утверждала и внедряла. В том числе в самом прямом смысле: во всех «цивилизованных» обществах давно пришли к убеждению, что пыток выдержать нельзя, а у нас категорически считалось, что можно. И должно.

Л. З. Копелев в воспоминаниях «Утоли моя печали» рассказывает о своем «соузнике» по Марфинской шарашке, Игоре Кривошеине, борце французского Сопротивления, который прошел гестаповские застенки, но не назвал ни явок, ни паролей, ни имен. На воле его оплакивали как погибшего, ибо, по принятому условию, схваченный должен был продержаться одни сутки, чтобы дать товарищам время скрыться, а потом для избавления от мук и спасения жизни мог говорить — выдавать. Поскольку на срочно оставленные явки гестаповцы не пришли, поскольку срочно сменными паролями никто не пытался воспользоваться, то оставалось думать, что его нет в живых. Той непостижимой стойкости, которую этот человек свободно выбрал (зная, что не подвел бы товарищей и признанием), этой стойкости никто от него не ждал и не требовал. Но ведь мы и сейчас разделяем то насто-

женное недоумение, которое испытал мемуарист в конце сороковых годов. Как это — имеет право выдавать? Как это — ради спасения жизни?

Уже в наши времена «гласности» при обсуждении сталинских репрессий достаточно отчетливо звучала мысль о нравственной вине тех, кто дал показания под пыткой. Кажется, только Л. Разгон решился со всей твердостью сказать, что эти люди по-человечески не виновны и морально не ответственны, а виновны палачи — и только палачи.

В наших мифо-идеологических установках нормы должного и необходимого в одном страшно занижены (жизнь ничего не стоит), в другом безумно, зловеще завышены: нам внушали, что с переломанными костями, с отбитыми почками, под виселицей, да хоть на костре, — гражданской и моральной нормой является верность, стойкость, молчание и т. д. Отступление же от этой нормы есть предательство и смердяковщина.

...Подлинный образ России — человек, с которого сдирают кожу...

А теперь с другой стороны.

«Сегодня русская культура переживает дни позора и унижений. ...Сегодня как никогда грустна наша Россия» (В. Непомнящий. — Новый мир, 1993, № 6). Подобных приговоров, сетований, проклятий можно выписать сколько угодно. Разрешите ограничиться приведенными и задать абсурдный на первый взгляд вопрос — почему же? Нет, что культура переживает тяжелые дни, так это безусловно. Но легких у культуры и не бывает. Что наша российская жизнь грустна, тоже несомненно, но жизнь и вообще грустное занятие. Суть ее такова. Почему «позор»? Почему «как никогда»? Разве сегодня идет процесс Синявского и Даниэля? Разве сегодня на границе «изымают» Евангелие? Разве сегодня запрещен Чаадаев? Разве сегодня «Одобрят весь советский народ!» («Правда», 26 ноября 1983 г.) — «одобрят» заявление сатрапа (Андропова) об отказе от участия в переговорах по ограничению ядерных вооружений? Так. Не сегодня. Но что же происходит сегодня, что вызывает — такое «страшное», что перед ним отступают все унижения и ужасы прошлых десятилетий?

А происходит то, что эмблема меняется. Люди склоняются к тому (о, еще только склоняются!), что «нет в мире ценности большей, чем человеческая жизнь, и что «дар напрасный, дар случайный» дан нам лишь затем, чтобы жить по собственному разумению» (С. Чупринин). И достаточно мощные пласты современной культуры в этом решении человека поддерживают.

Вот это и оказывается самым страшным. Не только патриоты-государственники, но и православные демократы признавать высшую ценность за человеческой жизнью отказываются и боятся, что люди сами, в обход их запретов, эту ценность выберут.

Чрезвычайно откровенна Наталия Нарочницкая («Осознать свою миссию». — «Наш современник», 1993, № 2): она прямо заявляет, что общечеловеческие ценности — химеры и только на Западе считается, что человеческая жизнь дороже всего. На Востоке же честь дороже, долг дороже, «в России, может быть, пока еще добавят «Россия дороже жизни». Это опасливое «пока еще» чрезвычайно знаменательно. А в самом деле, сограждане и соотечественники, сестры и братья, что дороже — наша с вами жизнь или Россия? Вы скажете прежде всего, что человек вообще-то недорого себя ценит — «судьба — индейка, а жизнь — копейка». Кому каприз дороже жизни, кому рюмка, большинству «авось» гораздо дороже своей и чужой жизни. Я полностью соглашусь; именно так. Потом вы, наверное, спросите — чьей именно жизни дороже Россия, как ее понимает Наталия Нарочницкая? Если ее представления о России ей дороже собственной жизни, на то ее добрая воля и таков ее свободный выбор. Но если Россия ей дороже нашей жизни — это извините! Ну, и, наконец, главное — в действительности такого выбора — жизнь или Россия — просто не существует. Повторяю, не существует. Никогда и ни перед кем не появится фортуна с весами в руках, на одной чаше которых лежит ваша жизнь, а на другой — Россия. Но стоит только признать, что такая постановка вопроса правомерна и такой выбор «имеет место», как задающие этот вопрос и предлагающие этот выбор сразу получают огромную власть над теми, кто согласился отвечать и выбирать. Каждый шаг будет вознесен

(хотя правильнее сказать — «редуцирован») на уровень выбора с заранее известным результатом: твоя ничтожная жизнь или великая, прекрасная, ну, например, социалистическая, или имперская, или православная Россия? Вы, может быть, захотите Рильке и Гессе почитать, но у вас книжку тут же из рук вырвут, ибо «от восторгов по поводу Р.-М. Рильке и Г. Гессе легко прокладывается прешпект к демократизму, плюрализму, открытости общества... и всему прочему в этом роде», что составляет страшную трагедию русского государства. (Это, конечно, Э. Володин пишет.)

А если и Наталия Нарочницкая чего не договорила, укрывшись за именем «Россия» (а Россию можно и не уступить тоталитарно-имперскому пониманию), то в том же номере журнала Сергей Дунаев в статье «Варианты будущего» договаривает все до конца, требуя гибели «за империю» и обвиняя «либералов» в том, что они не понимают «категории жизненного», ибо их концепции гибели за империю не предусматривают. Да, прямо так и пишет, не краснея: «За империю погибали. ...Человек осознавал себя в масштабах государственной территории, границы которой были для него незбылемыми гранями Опыта, за которыми тьма и неизвестность... Пространство это в конечном итоге совпадает с правом на уникальность!» Уникальность, огражденная железным занавесом и колючей проволокой! Да за нее еще и погибать! — действительно, такие откровенности не часто услышишь. Но по крайней мере ясно, какой вариант будущего нам готовят.

Если сегодня наша Россия грустна «как никогда», то где тот «золотой век», на который мы должны ориентироваться? Когда Россия была радостнее, благолепнее? Для В. Непомнящего это, по-видимому, пушкинская эпоха — не в ее реально-историческом, а в ее духовном измерении, в ее основанности на Православии. Но, поскольку первая треть XIX века вряд ли была временем торжества Православия, то гораздо последовательнее, боюсь, точка зрения высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, который указывает на время Ивана Грозного: «Середина XVI века стала эпохой величайшего церковно-государственного торжества на Руси. ...Вся русская жизнь проходила под знаком благоговейной церковности и внутренней религиозной сосредоточенности. Неудивительно поэтому, что именно в царствование Иоанна IV Васильевича был создан грандиозный летописный свод, отразивший новое понимание русской судьбы и ее сокровенного смысла. ...Известна любовь Иоанна Грозного к подвижникам благочестия» и т. д. Сомнение у меня вызывает вот только этот последний пункт, о любви к подвижникам благочестия: как-то сразу вспоминается и мученичество Кольчуга, и то, что Иван Грозный казнил Никиту Казаринова Голохвастова, который постригся в монахи и принял схиму («ангельский чин»), — казнил и посмеялся: ангелу-де «подобает на небо взлетети». В остальном же не спорю, а принимаю к сведению: воплощения сверхисторического идеала (в том числе и Православного), эпохи «церковно-государственного торжества» к живым людям чрезвычайно жестоки. Палачества Малюты «торжеству» не противоречат, а признание человеческой жизни высшей ценностью — противоречит. И если мы склоняемся все же не к Малюте, а к собственной жизни, то

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

В идейном смысле из признания вот этой, конкретной, вашей и моей жизни высшей ценностью следует пересмотр под новым углом зрения, с новой расстановкой акцентов нашей культурно-философской традиции. Поддерживает ли она нас в этом выборе? Ценит ли человеческую жизнь превыше всего?

Безусловно, да. И, безусловно, нет.

Вообще можно заметить, что мы отличаемся неким идейным «отставанием» от своей эпохи, или, может быть, этот феномен лучше назвать «возведением к вечному». Наши проблемы мы переводим на язык то Достоевского, то Маркса, то религиозно-философского ренессанса. Понятно, конечно, что «вечных спутников» мы при этом модернизируем, но оказываемся все же в заданных ими парадигмах.

Философская антропология «золотого» и «серебряного» века характеризуется на сегодняшний взгляд отчетливо двойственным отношением к личности. С одной стороны, личность утверждается абсолютно, основывается на Абсолюте, то есть на первичном и основном факте ее связи с Богом. Соответственно секулярные, либеральные теории получают тот упрек, что они не способны абсолютно утвердить ценность личности и вынуждены довольствоваться относительными и частными формами такого утверждения — то избирая личность мериллом всего, то прибегая к помощи общественного договора, законов или иных «искусственных ассоциаций». Отсутствие абсолютного обоснования оставляет человеческое «я» над бездной: либо «Богочеловек — истина», пишет Вяч. Иванов, либо «я — тень сна и вовсе не реальность, пока вишу в собственной пустоте, хотя и держу в себе весь мир и всех, подобных мне, призрачных богов» («Достоевский и роман-трагедия»).

С другой стороны, абсолютное, то есть религиозное, утверждение ценности личности так же абсолютно требует от личности самоотречения, самоограничения, жертвы.

Высшую степень свободы и сознания личности в ее самоотречении и подчинении «общине» страстно проповедовали славянофилы. «Личность поглощена в общине только своей эгоистической стороной, но свободна в ней, как в хоре», — пишет Н. С. Аксаков. «Общинный строй... основан не на отсутствии личности, а на ее свободном и сознательном отречении от своего полновластия», — вторит Ю. Ф. Самарин. «Христианство, — подытоживает воззрения славянофилов о. Василий Зеньковский, — зовет к отречению от своей личности и к безусловному ее подчинению целому».

Ф. М. Достоевский в моральном утилитаризме, в теории разумного эгоизма, в химере Хрустального дворца (всеобщего благополучия) видел прежде всего непонимание истинной глубины и сложности личности, которая не расчисляется никаким благополучием, никакой выгодой. Полнота и красота личного начала адекватно воплощаются в религиозном братстве, когда человек свободно жертвует «всем» и даже мысли не допускает, что ему будет дано что-либо «взамен». Обыкновенная мирная повседневность, оппозиционная и «хрустальному» раю, и теократическому братству, все это мельтешение индивидуалистических страстей — «человеческое, слишком человеческое» — вызвало однажды у Достоевского потрясающий приговор: «Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять».

Короткий всплеск индивидуализма на заре «серебряного века» до сих пор делает эту эпоху уникальной в этическом плане — и пугающе-подозрительной. Как относилась к этой духовной волне советская идеология, можно не распространяться — это еще на памяти: сыпались обвинения в «буржуазности», «аполитичности», «прзрении к народу», вплоть до соображения, что «изучающим историю возникновения фашистской идеологии безусловно придется поставить вопрос о роли символизма в этом возникновении» (В. Асмус). Но не успели мы спокойно и беспристрастно, без цензурных изъятий и идейного пресса перечитать Блока и Сологуба, Розанова и Мережковского, Вяч. Иванова и А. Белого, как началась атака на «серебряный век» с другой стороны. Вдумчивый исследователь В. Непомнящий в «Новом мире» и поверхностный публицист Г. Митин в «Российской газете» высказались в унисон: «Серебряный век хорошо удобрил почву для буйного восхода плелев безверия», расчистил «духовные пути буйству стихии социальной», «поэзия серебряного века отливалась чернотой там, где за словом чернела сама душа поэта», «падение, принятое за полет», «без Христа и без креста» и т. д. Вы и не различите, какие упреки предъявляет культурнейший пушкинист, а какие — Г. Митин, воображающий, что в трилогии Д. Мережковского «Христос и Антихрист» «последний явился в образе... демократа, прогрессиста и даже революционера».

Между тем бунт во имя самоценной индивидуальности, бунт не против века золотого, а против того, что в его проповеди окостенело, окаменело и одеревенело,

этот бунт остался в символизме достаточно коротким эпизодом, перейдя в поиск «нового пути» религиозного осознания личности и общества.

О. Иоанн Кронштадтский заклеил «новый путь» (и религиозно-философский журнал «Новый путь») как путь «сатанинский»: «Сбившись с истинного пути, находят путь заблуждения, отвержения Христа; ...отвергают Церковь, таинство, руководство священнослужителей и даже выдумали журнал «Новый путь». Николай Минский, один из «отцов» русского символизма, от имени журнала поспешил разъяснить, в чем заключается печальное недоразумение: «...о. Иоанн, как видно из его речи, разумел новый путь в религии, в христианстве, идущий вразрез со старым Христовым, евангельским путем, и, назвав этот путь сатанинским, был, конечно, прав», но журнал ставил своей целью повернуть и т е л л и г е н ц и ю на путь религиозной истины: «Мы старым путем называли путь позитивизма, духовной неосвященности, и этому старому пути противопоставляем новый путь религиозной глубины и внутреннего откровения».

(Совершенно ту же цель ставит себе сейчас журнал «Новый мир», так что символика «нового» мира и пути оказывается тождественной, но если при этом в «мире» отвергают «путь» и вслед за о. Иоанном Кронштадтским толкуют его как «падение» и «антиправославие», то не говорит ли это о том, что на «пути» все же видели в «духовном освящении» глубокую и сложную проблему, а в «мире» считают необходимым и возможным однозначный «возврат» к православию XIX века?)

Когда Вяч. Иванов пишет, что «личность провозглашена самоцелью, и провозглашены права личности на значение самоцели», то он вовсе не этический принцип символизма формулирует, а фиксирует представления уже отошедшего, по его мнению, духовно-исторического этапа, выдвигая взамен идеал «сборности»: «Индивидуализм — аристократизм; но аристократия отжила. ...Мы же стоим под знаком соборности». Соборное самоотречение неодолимо притягивает А. Блока: «Есть священная формула...: «Отрекись от себя для себя, но не для России» (Гоголь)..., «Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма» (Вл. Соловьев). Эту формулу повторяет решительно каждый человек; он неизменно наталкивается на нее, если живет сколько-нибудь сильной духовной жизнью» («Ирония»). На пути «соборного» утверждения личности Н. Бердяев допускает даже аскетизм, оговариваясь только, что аскетизм не является целью («О новом религиозном сознании»).

Так что не плевели беззверья, а чистейшие ростки веры, самоотречения и покаяния толкали Александра Блока к самоубийственному решению, что он «может и обязан» работать с большевиками: «...но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать лучшие».

А лежат ли на «нас» грехи отцов? С точки зрения соборного и общинного понимания личности ответ может быть только положительный.

Идеи коллективной ответственности, соборного покаяния в наши дни отстаивает А. И. Солженицын. Собственно, мыслитель даже не оперирует понятием «личности», предпочитая говорить о «нации»: «Мистически спаянная в общности вины, нация направлена и к неизбежности общего раскаяния» — или: «Без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделенной и неущербно-правой, — в какое-то время несомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности».

На пути к новому, освобожденному пониманию личности мысль о коллективной ответственности мне представляется самой трагической преградой. И самой труднопреодолимой. Просто язык не поворачивается сказать, что коллективной, соборной, национальной ответственности — нет. Есть только индивидуальная ответственность и индивидуальная вина. За грехи отцов, за национальные или государственные прегрешения на историческом пути каждый из нас — ужасно это или прекрасно — не отвечает. Каждый отвечает за себя и решает сам: если какой-то трагический этап далекого или близкого прошлого ложится на сердце, то только индивидуальной свободной совести решать, что с этим делать. Обязательства нет. Но сказать это просто страшно. Слишком давняя и могучая традиция стоит за

идеей общей вины, слишком тяжелые пласты психологических (и даже психопатологических) страхов, тревог, тоски поддерживают ее. Но не забудем, что исторически идея коллективной ответственности никогда не реализовалась как «новая национальная жизнь», но в практическом своем применении всегда была воплощенным кошмаром. От коллективной ответственности рабов в Древнем Риме, когда в случае убийства господина уничтожались все рабы, находившиеся в доме, через трагическое для еврейского народа толкование стиха из Евангелия «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мат., 27:25), через взаимную ответственность воспеваемой славянофилами общины, утверждавшей «бесправие лица перед миром» (как писал М. Бакунин) и до коллективной ответственности узников лагерей в страшной реальности XX века...

Размышлениям о том, какие крайности как и почему сходятся, в последнее время способствовала Валерия Новодворская: ее бескомпромиссный радикализм истощающе совпал с фундаментализмом национально-государственного характера. Не ссылаясь на Солженицына, она повторяет за ним почти дословно: «Религиозный характер идеологии останется навсегда. Это национальный комплекс. Это было и это будет. Значит, нужно на государственном уровне создать сильное сакральное поле. (...) Мы должны создать сакральное поле великой и в грехах и в искуплении страны. Да, мы грешили. Мы каемся. Никто не способен на такое покаяние. (...) Меньше чем на неслыханное Россия ставку делать не может».

Но отвечать за себя и только за себя (и за своих детей, пока они малы), оказывается, не легче, а труднее. Как это ни парадоксально, но революция и до сих пор соблазняет человека тем, что «была идея. Была цель в жизни, было за что умирать. Теперь же умирать не за что». Казалось бы, если есть жажда идеала, за который стоит умереть, то избери его себе — и «твори, выдумывай, пробуй», умирай в конце концов, если хочется умереть. Так нет же: надо обязательно «со всеми сообща и заодно с правопорядком».

Именно этот соборный соблазн подстерг и Александра Блока, когда он захотел поверить, что «революция — это: я не один, а мы».

В наследство от Достоевского и «пост-достоевской» моральной философии мы получили и оппозицию Богочеловека и Человекобога, которая сейчас активно восстанавливается в своих правах, несмотря на ее очевидную несозвучность сегодняшним проблемам и исканиям. Нам заново объясняют, что берущий свое начало в Ренессансе гуманизм слепо переоценивает человека, в пределе — обожествляет, не замечая, что зло коренится в человеческой природе глубже, чем думают все социальные врачеватели. Религия же Человекобожества заставляет служить либо страшному Молоху, либо гнусному Мамоне, и только истинная религия Богочеловека открывает выход, освобождает человека и от Мамоны, и от Молоха. Мне кажется, именно в этой оппозиции особенно явственно наше «идейное отставание», ибо ни о каком обожествлении Человека речь давно уже не идет, и есть все основания согласиться с Б. Парамоновым, что «нынешняя демократия — при мощной поддержке психоанализа — отнюдь не обольщается человеком. Она перестала строить гуманистический миф, что не мешает ей принимать человека таким, каков он есть».

Каков человек есть — с предельной грубостью, но без всякой горечи — заявил недавно Л. Радиховский: «Люди хотят — дышать, есть, заниматься сексом, находиться в безопасности, ездить на Запад, покупать дома и автомобили и плевать на всякую вообще идеологию. ...Человек — животное, которое хочет получше приспособиться к суровым условиям внешней среды и приспособить к ним свое ближнее потомство».

Подобный взгляд на человека, снимая упрек в обожествлении, в еще большей мере вызывает на себя огонь «классической», максималистской антропологии, которая менее всего собиралась принимать человека таким, каков он есть, примиряться с его «мещанским счастьем» и вообще устраивать жизнь, облегчать страдания «этого малого, короткого, узкого, призрачного в своей бессмысленности бытия» (Н. Бердяев).

КТО ОБЕЩАЕТ «РАЙ»?

В «Дневнике писателя» Достоевский рисует страшную картину того, что произойдет с человечеством, если настанет «вдруг» материальный рай, явятся «баснословные урожаи», всяческое изобилие, свободное преодоление пространства, фантастические успехи науки: «И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за камни, обращенные в хлебы». Как блестяще, как сильно сказано! Впечатывается в память — «кусать языки свои в муках»... Не сразу напомнишь себе, что это говорилось ввиду реальной нищеты, голода, переутомления, когда никакого материального рая и не предвиделось. И тогда в этих поразительных словах слышится не предсказание, а заклинание, словно Достоевский знает, что не будет человечество кусать в муках языки и не покроется язвами, избавившись от язв нищеты и тяжелейших «материальных» страданий, а будет жить себе дальше, может быть, даже более достойно, со своими проблемами и страданиями, конечно, но — иными... Но Достоевскому слишком жалко тех, кто прошел свой жизненный путь, действительно кусая языки в муках голода, действительно покрываясь язвами в нищете и скученности, действительно влача «скотский образ раба».

Вослед Достоевскому против Хрустального дворца всемирной сытости, против «успокоенности и счастья», против «избавления от страданий», против, наконец, «удобного устройства в этой темной, греховной и смертной жизни» (С. Булгаков) так страстно, так упорно восставал русский религиозный ренессанс, словно... словно у него был реальный противник и все эти ужасы человечеству хоть на кончик мизинца грозили.

В русской духовной традиции к счастью и страданию отношение такое же двойственное, как к ценности личности. Благом, безусловно высшим, чем счастье, оказывается «духовный рост». А поскольку считается, что страдание вернее ведет к духовному росту, то и страдание оказывается истинным благом. Даже лагерь может быть признан «высшим уроком жизни и мудрости» («Оба Зубовы принадлежали к той лучшей половине эков, кто уже до смерти не забудет своего лагерного сидения и считает его высшим уроком жизни и мудрости» — «Бодался теленок с дубом»). Но тут на новом повороте мысли достигнутая страданием духовность приравняется к счастью — и получают свое настоящее содержание слова отца Зосимы из романа «Братья Карамазовы»: «Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были счастливы».

Счастье — в страдании. В страдании — счастье.

Может быть, я прискорбнейшим образом ошибаюсь, но мне не раз казалось, что если духовный наследник «классической» христианской этики сталкивается с человеком, счастливым и без тяжких страданий, то... то разрушение его счастья он встречает не без внутреннего удовлетворения. Борис Шергин в записках «Живая жизнь» вспоминает, как «один добрый человек, умный, ученый, образцовый семьянин, два сына у него было — надежда и утешение родительское», высказал сомнение в том, что монашеское умиление выше, чем его отцовская радость. «Это было пять лет назад, — продолжает Б. Шергин. — Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. ...Он стал мертвый». Нет, не сострадание слышится мне в этих словах, а нечто вроде вывода: теперь понятно, что выше?

Понятно. Индивидуальному счастью и благополучию вообще не повезло в русской традиции. Но ведь исключительно повезло счастью народному. Настолько, что можно вывести формулу: счастье народа отменяет саму возможность радости и довольства каждого из его представителей.

Сейчас мысль о том, что социализм стремился к народному счастью и строил рай на земле, похоронена так бесповоротно, что даже удивительным кажется, как глубокие умы могли воспринимать ее всерьез. И в споре с ней клеймить уже не только и даже не столько корыстные иллюзии и демагогию социализма, а прямо стремление людей к безопасной, богатой, радостной жизни. «Христианство не толь-

ко не верит в то, чтобы страдание в человеке могло быть побеждено социализмом, но и не видит в том ничего желательного», — заявляет С. Булгаков и гневно отметаает саму возможность лучшей жизни на земле: как! восклицает он, будущие поколения в земном раю «будут предаваться тупому своему блаженству, эгоистически и кощунственно забывая о цене этого рая, о тех бесчисленных трудах и жертвах, которые понесены для его создания!»

Сегодня «демократизм, плюрализм и открытость общества» никакого рая не обещают, но зато от имени «рая» пытаются говорить те, кто по поводу социалистического рая наверняка присоединился бы к приведенным суждениям С. Булгакова.

От имени «рая» (имперского или допетровско-русского) либеральный демократизм — «система, подавляющая человеческое естество, со всей его грязью и со всем его светом, в гораздо меньшей степени, чем любая другая, из числа нам известных» (как пишет Л. Радзиховский) — получает разом два упрека: и в том, что относится к человеку недопустимо «мягко», предоставляя ему свободу разнуждаться, и в том, что слишком «жестко», бросая в водоворот нестабильности. Подобный сдвоенный упрек (внутренняя противоречивость преодолевается уверенным тоном) предоставляет массу преимуществ, обольщая к тому же надеждой, что в «раю»-то нашли необходимый и достаточный баланс мягкости и строгости. И если спросить, в чем он заключается, то вот, например, исключительно серьезно и торжественно в качестве жизнеспособного образца предлагается «Домострой»: «В «Домострое» есть все. Упорядоченность становится почти обрядовой... послушание достигает монастырской строгости...» (преосвященнейший Иоанн).

Как это ни печально, но на страдание, стеснение, на понимание жизни как «искусства умирать» мы имеем высокодуховную санкцию, а на чью санкцию мы можем опереться в своем стремлении жить спокойно и радостно? Наверное, в какой-то мере на «западническую» традицию XIX века. «Западники выше всего ценили человеческую личность, индивидуальность, не поющую в общем «хоре» с народным коллективом, как этого хотели славянофилы, а наоборот, независимую, автономную, суверенную, — пишет в своей интереснейшей статье «Культурный мир русского западничества» В. Г. Щукин («Вопросы философии», 1992, № 5). — Западники видели в удовлетворении разумных потребностей отдельной, конкретной личности конечную цель истории. Точка зрения обособленного, рационально мыслящего «я» служила критерием добра и зла». Против надежд и притязаний в самом себе укорененного «я» аскетически-моралистическая традиция выдвигает неотразимый аргумент — смерть.

Поразительный спор вспыхнул над смертной постелью Василия Боткина, западника-вольнодумца, талантливого дилетанта. Зная, что дни его сочтены, Боткин, жуир и бонвиван, мучительно страдающий полуслепой старик, окружил себя роскошью, вплоть до того, что нанял музыкантов, и — с удобствами и комфортом, с выдержкой и стойкостью — умирал. По свидетельству А. Фета, лицо покойного «по выражению полного примирения и светлой мысли было поистине прекрасно». Лев Толстой нашел такую кончину ужасной. Но спросишь себя, только ли потому, что не усматривал в ней глубокой духовности? Может быть, и потому, что Боткин своим гротескным мужеством опровергал убеждение, будто у подобных ему людей стойкости перед лицом смерти быть не может? Что светлое примирение не им суждено?

Рассмотрение жизни под знаком смерти все-таки свойственно «золотой традиции». В этом смысле всякий пир — во время чумы. Едва лишь «запирусь на просторе», как следует напоминание, что чума — смерть — вот она. И, пожалуй, не только щедринский персонаж и тоталитарное воспитание признают истинными праздниками воспоминания о бывших бедствиях и приготовления к бедствиям будущим.

Пушкин среди своих бесчисленных нам даров оставил и разрешение: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Аскетизм, не имея все же сил спорить с Пушкиным, ограничил его разрешение сугубо прямым смыслом, и произошло нечто головокружительно странное: единственно допустимая «краса ногтей» воздвиглась над бесконечными «нельзя» и «грешно», которые (в духовном

смысле) мертвой хваткой держат каждый шаг человеческой повседневности; над «нельзя и грешно», над мучениями и нищетой... «Совершенная брачная любовь, испрашиваемая в чине обручения, есть любовь мученическая...» (С. Троицкий). «Блаженны нищие в смысле имущества... но блаженны и не имеющие здоровья и молодости, блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники — они не имеют главного врага — гордости» (о. Александр Ельчанинов).

Но не кажется ли вам, что гордиться талантами, богатством, успехом достаточно трудно? И дарования, и достижения, и имущество требуют сил и времени, которых на «гордость» просто не остается (или остается очень мало). Нищета же и неудача, поражения и «грехи» раскармливают неслыханную гордость, которая услаждает и в неслыханных страданиях и в неслыханном покаянии.

Макс Вебер еще в начале века замечал, что логически и психологически опосредованные выводы из определенного комплекса идей могут расходиться до прямой противоположности. Логическим следствием аскетически-самопожертвенного идеала, вероятно, и в самом деле будет сдержанно-суровая, иерархически строгая, высоконравственная и «соборная» организация общества, в котором каждый человек бескорыстно приносит свою «самость» в жертву на алтарь великой России. Но, по-моему, мы имели достаточно времени убедиться, что реальным психологическим следствием будут болезненная гордость, высокомерные мессианские претензии, практическое пренебрежение к личности при невероятных требованиях к ней, редкостное умение преступать всяческие запреты и полное неумение жить-себе-поживать спокойно и благоразумно. И надо признать, что подобный «рай» настолько привычен нам, что кажется и стройным, и гармоничным, а хаотическое и неопытное обустройство повседневности, первые попытки освобождения индивидуальности просто пугают. Но «пировать» тоже надо учиться. И может быть, под знаменами, на которых впервые не будет написано «самоотречение, страдание и покаяние», мы наконец-то найдем процветающую Россию?

Андрей Немзер

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЗАКАТА

О том, что народ обманули, не твердит нынче только ленивый. Правые и левые, бывшие и будущие, красные и белые, партийные и приватные, порядочные и бессовестные, искренние и лицемерные, ненавидящие друг друга, готовые о чем угодно спорить до хрипоты, если не до мордобоя, — временами, словно забыв о всегдашней принципиальной вражде, сливаются в экстатическом хоре: народ обманули, мы обманули. Нам сулили сытую жизнь, а в двери стучится голод. Нам обещали правовое государство, а на улицу выйти страшно. Нам клялись покончить с бытовым национализмом, а страна разорвана в клочья, и конца дроблению не видно. Нас манили духовным возрождением, а театры, музеи, издательства, журналы, библиотеки и киностудии дышат на ладан. И даже церкви, оказывается, было гораздо лучше при неусыпном советском догляде.

Разумеется, полного унисона не выходит. Кто злорадствует, кто скорбит, кто укоряет, кто констатирует. Иные даже не боятся поменять синтаксический (а с ним и смысловой) рисунок плача: **мы** обещали, **мы** сулили, **мы** обманули... Обычно, впрочем, за такого рода признанием следуют оговорки, несколько ослабляющие покаянную интонацию: не додумали, мол, не доглядели; хотели хорошего, но... Это вызывает понятную реакцию: если «не знали», зачем же совались, если обманули (пусть невольно), извольте платить по счетам, мы же вас предупреджали, — тут показавшийся на миг единым хором плакальщиков распадается, и его участники возвращаются к отработанной стилистике выяснения отношений.

В данном случае меня занимают не конфликты среди идеологов и даже не мера обоснованности всеобщего плача. Затруднительно доказать, что живем мы нынче припеваючи, но трудноато, и убедить всех и вся в том, что наступила в отдельно взятой стране вселенская тьма. Не мне судить о макроэкономических и геополитических процессах — к счастью или несчастью, толкователей (и достаточно оперативных) нам хватает. Я знаю, что живу сейчас хуже (с мате-

риальной точки зрения), чем в 1984 году, но точно так же я знаю, что положение мое (и не только мое лично) отнюдь не аховое. Можно списать мою приверженность дню сегодняшнему (со всеми его изгибами и ухабами) на ангажированность, фанатизм или недомыслие. Но перед тем, как аттестовать вашего покорного слугу «наймитом капитала», «оголтелым трубадуром пустого слова «свобода» или попросту «дураком», оппоненту моему стоит принять во внимание одно обстоятельство. Когда во второй половине восьмидесятых мажорная перестроечная эйфория переменялась тревогой от многочисленных «окоротов», я знал (или скорее чувствовал): даже при самом лучшем развитии событий (а развивались они — и по вине власти, и по вине интеллигенции — далеко не самым разумным образом), мне, среднему гуманитарии «советского разлива», будет жить трудно. Во всяком случае, труднее, чем в комфортном ужасе позднего застоя, с «твердой» зарплатой (и вечной благодарностью тем, кто соглашались тебя на работу взять и в любой момент может вышвырнуть), репетиторским приработком (существенно зарплату превышающим, обеспечивающим репутацию «рвача» в глазах осведомленного, снисходительного начальства и пригодным — коли потребуется — для изготовления уголовного дела), вечной болтовней под возлияния, доступным тамиздатом и легким душком провокации, приятно озонирующим волшебную московскую атмосферу. Будет труднее, но, во-первых, не так тошнотворно, а во-вторых...

Во-вторых, иначе быть не могло. Партия вольна была утешать себя тем, что она, дескать, сама начала перестройку. Оппоненты Горбачева могли намекать (а позднее кричать во весь голос), что он погубил страну при помощи Шеварднадзе и Яковлева. Но при некотором мыслительном усилии можно было уразуметь: эта партия хорошего с бухты-барухты не сделает (если уж крутанули они исторический «мартовский» пленум, так, значит, приперло); погубить (проборазить) Россию не под силу ни хитроумному генсеку, ни масонской ложе, ни ЦРУ.

То, что было названо «перестройкой», явилось мероприятием вынужденным. Альтернативой тогдашним «процессам» могло бы служить лишь закручивание гаек (кстати, начальство, потянувшееся к разрушающемуся механизму, поначалу и само-то не слишком понимало, в какую сторону оно вертит гаечным ключом), но никак не сохранение status quo. Ибо как раз мнимое спокойствие брежневской эпохи внутри себя таило то, что кажется ныне исключительно плодами разрушений, бездарной или коварной политики, опротивевости идеологов etc. Помпезная тяжесть «застоя» была обречена на саморазложение.

И здесь пора оставить в стороне мою скромную особу, поскольку давнего трепа к статье не приложишь, да и не так важно, что ощущал пять-шесть лет назад автор этих строк. Гораздо любопытнее то, что в «вершинные» годы перестройки вполне отчетливо прозвучало предсказание будущих неприятностей. И вовсе не из лагеря противников «всего живого и прогрессивного».

* * *

Лишь продукты пропитанья
вкус наш радуют подчас..
Но готовься жить заранее
без ветчин и без колбас!

Без кондитерских изделий!
Без капусты! Без грибов!
Без лапши! Без вермишели!
Все проходит! Будь готов.

«Послание Л. С. Рубинштейну» было напечатано рижской «Атмодой» летом 1989 года (без процитированного фрагмента), гулять по рукам оно начало несколько раньше, а осенью (после залпа «Правды», поддержанного имитацией залпа «Литературной газеты») не было прочитано опять-таки разве что ленивым (тут и 26 номер «Синтаксиса» подоспел, а с множительной техникой дело обстояло совсем неплохо). Послание, как, впрочем, и стихи Кибирова вообще, публика встретила приветливо, если не восторженно, однако мрачные (и вполне серьезные) прогнозы остались словно бы незамеченными. Не случайно и начало с его темой энтропии, осенней обреченности, решительно контрастирующей с «весенними» настроениями московских реформаторов и их многочисленных сочувственников, и конец со странными пасхальными мотивами, вовсе не похожими ни на призывы к партийному «очищению», ни на национал-возрожденческую риторику, не попали в публикацию «Атмоды». Какое там «без ветчин и без колбас», когда главное в «середке», в ее крутых переборах и беспощадных приговорах! Между тем и в центральной части поэмы можно (и должно!) было расслышать две то сливающиеся, то расходящиеся мелодии. Переходя на язык суровой прозы, заметим: Кибиров писал, во-первых, о процессе умирания того

мира, в котором возросли и он, и его читатели, во-вторых же, поэт прямо выводил это самое умирание из прежнего, якобы крепкого существования системы:

Энтропия, ускоренье,
разложение основ,
не движенье, а гниенье,
обнажение мослов.

Небольшой интеллектуальный эксперимент, легкое усилие, сметающее контекст, — и стихи эти покажутся обличительной речью из «Нашего современника» (той, разумеется, поры). Однако эксперимент хорош тем, что просто завершается: продолжив цитату, мы увидим мучения советской власти, что происходит «словно с белых яблонь дым».

Все проходит. Все конечно.
Дым зловеющий. Волчий ров.
Как Черненко, быстроточно
и нелепо, как Хрущев.

Как Ильич, бесплодно, Лёва,
и, как Крупская, страшно!
Распадаются основы.
Расползается говно.

Череда сравнений отсылает к незыблемому (?) советскому иконостасу. Узнавая страшные знакомые маски, ощущая неслучайность их появления, читатель постигал суть всевластной энтропии. Кибировское сострадание к задыхающейся больной не было издевкой, но оттого Советская власть не становилась милее.

Юной свежестью сияла
тетя с гипсовым веслом
и, как мы, она не знала,
что обречена на слом.

Ужас и шарм парковой скульптуры, прежде мелькнувшей в осеннем дожде энтропийного зачина, становятся эмблемой шарма и ужаса уходящей в небытие эпохи.

В поэме «Сквозь прощальные слезы» Кибиров пропел отходную едва ли не всем «этапам большого пути», постоянно (единством метра и цитатной техникой) не давая читателю забыть: это единый путь, увиденный с **одной**, исторически фиксированной точки зрения, — из того момента, когда не началось, но обнаружилось «обнажение мослов». Двадцатые, тридцатые, шестидесятые годы даны связью призыва «застойного» опыта, сочетающего несомненный вкус к истории, иронию и сознание конца — либо схождения на нет в удашающем советском мареве, либо обрыва, за которым «неведомая даль». Только проговорив «Пахнет дело мое керосином...» (вступление к «Сквозь прощальные слезы» — кажется, наиболее популярный текст Кибирова), поэт может соединить лагерную песню, советский шлягер и строки Мандельштама в главе о тридцатых годах.

Годы кибировской молодости (как, впрочем, и моей) совпали с «брежневской эпохой», изо всех сил старавшейся представить себя «царством вечности». Не имея собственного содержания, мыс-

ля себя «концом истории» (ясно, что «коммунизма» не будет, но зато социализм уж такой развитой, что дальше некуда), время это отличалось своеобразной ностальгической всеядностью. Официоз по-своему, противостоящие ему духовные силы по-своему пребывали в грезах о былом, старательно выискивая в далеком или близком прошлом нечто привлекательное и в то же время схожее с днем сегодняшним. В «вечности по-советски» должно было найтись место всему: мистифицированной Древней Руси и мистифицированной эпохе революции, вымышленному XIX веку и вымышленным «шестидесятым» годам. Вкус к серьезной истории, очевидный в исканиях многих замечательных писателей, постоянно «испытывался на прочность» аудиторией, искавшей в прошлом не движения и противоречий, на удобного антиквариата. Проблема заключалась не в том, что Пикуль вытеснял Эйдельмана, а в том, что публика была готова читать Эйдельмана (или Трифонова, или Юрия Давыдова), так сказать, «по-пикулевски». Зримая «идеологическая борьба» внутри официальной культуры часто казалась борьбой за приоритет той или иной мифологемы, за включение в «пантеон» той или иной культурной традиции, исторического явления, престижного имени. Пафос сытости и экстенсивности (известно, как обеспечивалось витринное благоденствие столиц и чем оно обернулось уже в начале 80-х, до воякой «перестройки») по-своему сказывался и в культурной политике, беспринципной и конъюнктурной по самой своей сути. В «материальной» сфере шла дележка быстро тающего (а почитаемого бесконечным) пирога; в сфере официальной культуры шло всасывание в обескровленную советскую плоть соков чужой традиции. Булгаков к концу «застоя» был уже почти официальным советским классиком (этому не мешало то «малозначительное» обстоятельство, что «Собаچه сердце» или «Багровый остров» оставались запрещенными сочинениями, за хранение которых можно было и срок схлопотать — особенно в провинции); «Доктор Живаго» уже не поливался грязью, он просто не упоминался; obstructуанное наследие Мандельштама и Цветаевой, оркестрованное удобными лживыми предисловиями, подавалось как часть советской культуры. Малотиражные издания прежде «закрытых» писателей служили контрпропагандистским оружием в последнюю очередь: показать Западу, что у нас печатаются Клоев или Вячеслав Иванов, — как будто кто-то из разумных советологов мог воспринять эту игру всерьез! Противопоставить «правильные» издания зловредным книгам «Посева» и «ИМКА-пресс» — как будто читатели тамиздата могли «перевоспитаться» от статей Ю. Андреева и Вас. Новикова! Главное их назначение было иным: официоз чаровался собственной

добротой, преисполнялся уважением к себе, такому умному и либеральному. Тогдашние посетители московских книжных магазинов, вероятно, помнят рекламные плакатики, славящие четырехтомник академика М. Б. Хрпаченко, — предлагались «новаторские» истолкования Гоголя, Толстого и... «полузапретных» («дефицитных») писателей XX века, «семиотика» и «структурализм» по-советски. Одним словом — «часы, тапечрича, наши»!

* * *

Этот дух «культурной экспансии», неотрывной от позднейимперской торжественности, великолепно передан в стихотворении Кибирова с длинным «цитатным» названием: «Речь товарища К. У. Черненко на юбилейном пленуме правления Союза писателей СССР 25 сентября 1984 года». Было бы неверным видеть в нем лишь неприязнь поэта «подпольного» к советской официальной словесности во всем ее объеме (от Михалкова и Маркова до Самойлова). В том зале, где произносит историческую речь предпоследний генсек, мертвые смешались с живыми (оба слова оказываются двусмысленными), овацией суконные олwesа юбилейного бреда встречают не только Пастернак и Блок, которых можно, формально рассуждая, «притянуть к ответу» за «советизацию» словесности, но и те, кто заведомо к многолетней фальши не причастен: «А там и Пушкин! Там и Ломоносов! // И Кантемир! И Данте! И Гомер!..»

Поэт ощущает ужас от вампирического экстаза эпохи, обладающей Мидасовыми свойствами — все, к чему оно прикасается, превращается в пошлость, в блестящий и мертвый хлам, пугающий и обреченный, в «литературную секцию» (пользуясь заглавием более поздней поэмы Кибирова), в «литературу», если вспомнить, несомненно, очень значимую для Кибирова «Четвертую прозу» Мандельштама.

Сочиняя «Речь...» Черненко, Кибиров, вероятно, не знал о существовании «серьезного» аналога своей «шуту-трагедии»: тот был предан тиснению позднее, хотя и написан гораздо раньше. К очередному юбилею члена-корреспондента Академии наук СССР Д. Д. Благого (одна из самых зловещих фигур советского литературоведения, филолог безусловно одаренный и столь же безусловно сервильный и циничный) его сослуживец по Институту мировой литературы доктор филологических наук З. С. Паперный сочинил приличествующее случаю поздравление в прозе и стихах. Исчислив заслуги выдающегося пушкиниста (не гнушавшегося прямым плагиатом у коллег, лишенных права голоса, а то и свободы) и особо подчеркнув замечательный стиль Благого (писал он и впрямь складно; по сравнению с типовым литначальником даже и неплохо), Паперный

переходит с прозы на шуточные стихи: слогом Благого восхищаются... Ломоносов, Державин, Фет, Блок, Маяковский, дабы затем главный поздравитель мог побить итог в незабываемом четверостишии: «Вот почему литература // Глядит на некоторых хмура: // Она Благому отдана // И будет век ему верна». Предоставим просвещенному читателю возможность увязать характеристику Благого в «Четвертой прозе», Мандельштамово использование слова «литература», деятельное участие Паперного в комиссии по наследии Мандельштама и факт публикации давней поделки для стенгазеты в разгар «гласности». Поразительна «встреча» ласково-усмешливой официальности с ее гротескным отражением: невольное Паперный подтвердил высокую правоту Кибирова, — правоту, от которой самому поэту волком выть хочется.

«Волчий вой» — не совсем метафора, скорее это попытка суммарно охарактеризовать тональность некоторых вещей Кибирова, эпохи «ранней перестройки»*. Превенная историческая смазь, проглядывание одной эпохи сквозь маску другой, захламенение памяти, перенасыщение, ведущее к энтропии, вовсе не исчезают с приходом «гласности» — остается тот же диковинный простор, пришедший в движение, по «вневременному пространству» России несется шутовской и зловещий хоровод, «новое» кажется лишь перекрасившимся старым, по сути дела — вечным. Отсюда — фольклорные мотивы и обращение к стихотворным метрам, ассоциирующимся с фольклором, к условным формулам, отсылающим к «образу» народной словесности, в поэмах «Лесная школа» и «Буран». Слитность разновременных реалий, беснование высвободившихся стихий до поры до времени не сулят ничего доброго. Когда герой «Бурана» умирает — засыпает под страшное пение вьюги (традиционная метафора смуты и революции, окончательно канонизированная поэмой Блока, к которой дается прямая отсылка: «Вьюга, вьюга, вот так вьюга! // Не видать друг друга! // И идут, идут Двенадцать // С Катькой разбираться!»), попадает он в частливое «летнее» пространство стихиков из «Родной речи», матушкиной колыбельной, народных и псевдонародных песен.

Сам по себе сюжетный ход отчетливо цитатен — отсылает нас Кибиров к финальным главам поэмы «Мороз, Красный Нос», где «свадьба» замерзающей Дарьи с Морозом (ср. у Кибирова этот мотив, преломленный сквозь приемы Блока и Цветаевой: «Головою-вою-вою // во сугробы-гробы // с непорочною женою, // смертью молодою») переносит ее в «жаркое лето», частливое прошлое крепкой крестьянской семьи. (Некрасовский подтекст подчеркнут игровой цитатой из

«Кому на Руси жить хорошо», возникающей в «райских сновидениях» героя: «и мужик с базара прет // Гоголя, Белинского».) Сам Некрасов «оборачивал» устойчивый мотив, наиболее памятный по «Мцыри» Лермонтова: герою, томимому полднемным зноем, кажется, будто он лежит на «влажном дне», — это сладостное пространство небытия (сон, тень, влага, пение) возникает и в финале поэмы (смерть Мцыри), и в целом ряде лермонтовских стихотворений, включенных в общеевропейскую традицию «русалочьей поэзии» с ее контрастом раскаленной земли-жизни и прохладной воды-смерти. Сложная и богатая родословная заставляет пристальнее взглядеться в особенности кибировского текста.

Во-первых, здесь и во сне идиллия соседствует с кошмаром, точнее они проникают друг друга в «теплом» пространстве, как проникали друг друга в пространстве вьюжном. Так во сне появляется Ленин, похожий и на Ленина хрестоматий, и на Ленина анекдотов, и на того Ленина, о котором знает не до конца умерший герой (и читатель): «Ленин дедушка рукой // глядит по головке. // Ишь вы гаденьки какой, // да какой неловкий!» Подчеркнутые мной слова напоминают, что Ленину из горьковского очерка хотелось всех гладить по головке по прослушивании Бетховена, однако он тут же одергивал себя, вспоминая, что надо не гладить, а бить (ср. «гаденький», тоже вызывающее набор ленинских ассоциаций). Превращение «дедушки Ленина» в «настоящего деду» кладет конец цитатной игре — далее следует «нормальный» сон о детстве, счастливый, яркий, многоцветный и не скрывающий своей природы. Здесь второе отличие Кибирова от предшественников: обворожительные видения у Лермонтова и Некрасова были снами, соснальзывающими в смерть, включающими пробуждение. Между тем именно это слово закрывает поэму Кибирова: «Зелень-зелень, зелень-синь, // воскресенный дедушка. // Сон не сон и жизнь не жизнь, // просто пробуждение».

Пробуждается поэт не только от «теплого» сна, но и от сна «буранного» — страшный и ласкающий бред составляли единство, недаром живой зайчишка, которого герой спал от вьюги, в «добром» сне стал игрушечным одноухим зайкой. Прошлое и настоящее слиты и спаяны, подчинены одной и той же «морочащей» воле, но (и это относится и к прошлому, и к настоящему) вовсе не окончательно: герой может спастись, отделить сусального Ленина от реального (хоть и умершего) дедушки, проснуться. Точно так же фантазмагория «Лесной школы», где взаимодействие балладных, былинных и блатных мотивов создает атмосферу глухого внеисторического ужаса, обреченного кружения по беспросветной чаще, досягнув самой, казалось бы, безнадёжной «лагерной» ноты, разрешается двумя строками, решительно перечеркивающими все неизбежные страхи: «И валежник

* Беспорядочность хода ознакомления с поэзией Кибирова, отсутствие «академических» изданий и личных контактов автора статьи с автором стихов вынуждают к осторожности при выдвижении датировок.

лежит, и Джульбарс сторожит, // вертолет все кружит да кружит. // Но соленые уши, пермяк-простота // из полена строгает Христа». Строки эти заставляют двинуться от конца поэмы к ее началу: «дурак» из уличного присловья, тот, что «курит табак, спички ворует, дома не ночует», становится фольклорным Иваном-дураком, одолевающим напасти и нежить; постоянные повторения («Где тут водка у вас продается, пацан? // До чего ж ты похож на отца!» и «Улялюм, твою мать, не увидишь конца! // До чего ж я похож на отца!») означают теперь не дурную закольцованность, но реальную преемственность живого начала, а само двоящееся название («Лесная школа» — школа леса, звериной жизни, где правит «Царь лесной, председатель тайги! // С ним медведь-прокурор да комар-адвокат, // и гадюки им славу свистят»; «Лесная школа» — колония для умственно отсталых, «школа для дураков», по-своему воспетая апологом мифологического безвремения Сашей Соколовым) обретает многомерный, но единый смысл: школа бытия, сумрачный лес, в котором оказываешься на переломе земной жизни.

* * *

Вера Кибирова в грядущее воскресенье, отчетливо окрашивающая финалы «Лесной школы», «Бурана» и «Послания Л. С. Рубинштейну»*, соседствует в его поэтической вселенной с тревогой, приступами безысходности. По-своему такие настроения проявились в поэме «Воскресенье», где картина летнего выходного дня, гулянки в парке постепенно превращается в картину конца света, гибели без покаяния; по-своему — в послании «Серее Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации», где, пожалуй, единственный раз недавнему прошлому напрямую отдается предпочтение сравнительно с мутноватым настоящим («И в общем-целом, как ни странно, // в бараке мы уместней были, // чем в этом баре разлитванном, // на конкурсе мисс Чернобыля...»); по-своему — в посвященном Денису Новикову «Заговоре»:

Он не сможет простить, Он не сможет простить,
если Бог — Он не может простить
эту кровь, эту вонь, эту кровь, этот стыд.
Нас с тобой Он не может простить.

Почти точное повторение ритмикосинтаксической структуры строк баллады Жуковского «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» («Я не властен прийти, я не должен прийти, // Я не смею прийти

* Речь идет о смысловых итогах поэм, которым вовсе не противоречит решительная неприязнь поэта к пустословию — истеричному, пьяному и невежественному «богоискательству, блестяще выраженной в «Послании Ленке», где ошалевший от водки «усатый мелиоратор», сосед поэта по гостинице, пережегает свои заверения в «вере» матерной бранью и отказами «стоять на коленях».

ти (был ответ)») здесь не вызывает обычной при подобных кибировских шутках улыбки. Может быть, потому, что, перефразируя Жуковского, Кибиров спорит с собой — когда-то он уверял усопшего Черненко:

Константин мой Устинович, всяческих
всяческих скверн скверн
был исполнен ты, но Он простит и спасет
тебя все жел
Константин мой Устиныч, поверь,
Брат мой бедный, поверь —
Он иным быть не может,
и нам Он обоим поможет.

Тогда безмерное милосердие Бога противопоставлялось человеческой неспособностью простить, однако само сознание Божьей милости поднимало поэта и помогло ему признать в умершем генсеке не карьериста-чиновника, не гротескный символ-сгусток заживо сгнившей советчины, но брата. Теперь: «если Бог — Он не может простить». Не сможет простить меня, Тот, Кто простил Черненко. Ночная тишина «Заговора» полна больными, случайными, зловещими звуками; ночной бред, пуанция сна и яви, попытки самоуспокоения («Не война еще, Диня, еще не война») не могут совладать с предельной ясностью вины, очевидной с самого начала маленькой поэмы:

Слышишь, капает кровь?
Кап-кап.
Спать. Спать. Спать.

А перед этим зачином — эпитафия из «Капитанской дочки», где «яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных». Висельников-пугачевцев, на которых «гребцы смотрели равнодушно».

Отчаяние Кибирова вырастает из чувства сопричастности прошлому злу, обрачающемуся злом нынешним. «Воскресенье» начинается с празднично-мажорных нот. «Мрак, бардак и перетак» России в «Послании Л. С. Рубинштейну» не отрицание, а продолжение того чудесного «анакреонтического» сна, где «так красиво, так красиво! // Так невинно, вкусно так!..» В конечном счете сегодняшняя «неуместность» автора и адресата послания Гандлевскому (а равно и их верных читателей, среди которых числит себя и автор этой статьи) обусловлена тем очевидным обстоятельством, что «мы с понтом дела слишком много // взрывали, воровали, врали // и веровали...» И если в этой поэме делается попытка выйти за пределы контура «новой эпохи», востребовать «свою» нишу, то сам тон Кибирова (не говоря уж о контексте) свидетельствует об иллюзорности (понятной автору раньше, чем его критике) такого решения. Воспевая красоту и достоинство «приватного» существования, прелесть домашнего уюта, гастрономии и «метафизику влажной уборки» («Послание Ленке»), Кибиров не забывает сделать важную оговорку: «если ж не станет продуктов — // хлебушек черненый будем жевать, кипя-

ток с сахаринчиком». Можно и должно встать над — нет, не житейской обыденностью — над пошлыми «требованиями», выдвигаемыми новой эпохой, как это и делает Кибиров в последней (из известных мне) поэм «Летние размышления о судьбах российской словесности», — но твердо зная, на что идешь и за что пла-тишь:

Свобода! — как сказал Касторский Буба. Верь, товарищ, верь — Она взойшла! Она прекрасна! Ужасен лик ее. И жалобы напрасны. Все справедливо, все! Коль хочешь рыбку ^{съесть,} оставь и панску спесь, и выпендрей, и честь.

Бежать некуда, а проклятья тем, кто пытается «варить пищу», стоят коммерческой словесности, потребной толпе и отторгнутой Кибировым. «Неучастие» в новом празднике парадоксальным образом оказывается расплатой за праздники застоя-застолья, но, кроме памяти о «минутном шуме пиров», о выпитом фалерне и увядших розах (это не Кибиров, а Батюшков), есть долгая память о назначении поэта, назначении человека:

И все же — для того ли Уж полтора ста лет твердят — Покой и воля! — пииты русские — Свобода и Покой! — чтоб я теперь их предал? За душой, есть золотой запас, незыблемая скала... И в наш жестокий век, нам, право,

не пристало ^{Кремнистый путь} скулить и кукситься. Пойдем. все так же светел.

Заветная формула Пушкина (напомини о ее выстраданности; еще летом 1831 года Пушкин доверил своему — вопреки модному мнению — сердечно близкому герою обратный тезис: «Я думал: воляность и покой // Замена счастью. Боже мой! // Как я ошибся, как наказан!») восходит к любимой мысли Жуковского (постоянно варьируемой в его стихах и эссеях) о невысокой цене «счастья», отсутствие которого вовсе не лишает жизнь смысла и даже радости. Чуть сдвигая (но не отменяя!) суть речи Пушкина, Кибиров связывает его с цитатами из Мандельштама: всплывают два стихотворения 1931 года («Не хныкать — для того ли разночинцы // Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?» из «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето» и «довольно кукситься» из стихотворения, так и начинающегося). Пушкинский «жестокий век» отражается в «жестокоем веке» Мандельштама, в свою очередь, обрачивающегося в прошлое столетие: «незыблемая скала» — цитата из стихов о великом ушедшем: «И для меня явление Озерова — // Последний луч классической зари». Наконец, «кремнистый путь» заставляет вспомнить не одного Лермонтова: он сам цитировал Дениса Давыдова («А я? — мой жребий: пасть в боях // Мечом победы пораженным; // И, может быть, врагом влеченным на полях, // Чертить кремнистый путь челом окровавленным» — наблюденне А. А. Ильи-

на-Томича), дабы возникнуть в «Грифельной оде» все того же Мандельштама: «Звезда с звездой — могучий стук, // Кремнистый путь из старой песни...»

Кибиров вслушивается в «старую песню», улавливая ее общий строй, и все становится на свои места. Аморфная рыхлая масса подчиняется «незыблемой скале» ценностей; история не перестает быть тяжелой, но теряет черты дурного наваждения; сегодняшняя мерзость и дрянь не застит горизонта, а главное — встает в осмысленный ряд: это не ведомая напасть, а результат долгого процесса, ответственность за который ложится на плечи поэта; клевета на Волюность терпит поражение, а конец света перестает напрямую выводиться из чудовищных, но вполне земных событий.

Кибировская «апокалиптика» коренным образом отличается и от антиутопических развлекательных страшилок, и от истерической квазирелигиозной публицистики. В сущности, все очень просто: конец всегда рядом и ты всегда к нему не готов, как не готов к свиданию со смертью фольклорный Аника-воин, тщетно вымаливающий у неумолимой судьбы и минутки. Ограниченность всякой человеческой жизни сама собой подводит к идее конечности истории. Эпоха социальных словом с неизбежностью акцентирует эту от века сущую «смысловую рифму», столь вятную в творчестве Кибирова. Социально-исторические и метафизические проблемы сплетаются в замысловатый клубок; очень легко проигнорировать его изначальную двусоставность: тогда-то и возникает слепой страх, сопряженный с абсолютной внутренней безответственностью испуганного. Ликвидируется личная вина, мифологизируется счастливое (и никак с настоящим не связанное) прошлое и обесмысливается «только страшное» сегодня («никогда хуже не было»).

Что противопоставляет Кибиров такому умонастроению, смею предположить, — ныне господствующему, хотя и не всегда додуманному до конца? Пожалуй, важнее всего здесь две уже зафиксированные смысловые линии: чувство личной ответственности за то, что натворили, условно говоря, Черненко и его компания, и чувство неразрывной связи «бури» и вчерашнего «покоя». Именно эти идеи (их взаимообусловленность особых доказательств не требует), как мне кажется, органически присущи творчеству писателя, пока далеко не столь популярного, как Кибиров, хотя и не менее яркого. Я имею в виду прозаика Алексея Слаповского, и в первую очередь его романы «Я — не я» («Волга», 1992, №№ 2—5/6) и «Первое второе пришествие» («Волга», 1993, №№ 8—9).

* * *

Если Кибиров кажется поначалу одним из мастеров иронико-цитатной игры, то Слаповский видится (опять же попер-

ву) крепким беллетристом, мастером легкого авантюрного сюжета. Ни в коей мере не отрицая этого первого впечатления (действительно, семантическая многомерность и даже лирическая энергия Кибирова вырастают из работы с «чужим словом»; действительно, романы Слаповского обладают выраженной «тягой», их попросту «интересно читать»), следует все же обратить внимание на то, что не так резко бросается в глаза, но не менее важно для наших сочинителей. Со стихами Кибирова такая работа проделана (о нем писали блистательные филологи и критики, и писали хорошо); со Слаповским дело обстоит куда хуже. Роман «Я — не я» пока не вызвал подобного критического резонанса. А жаль.

Авантюрное повествование Слаповского начинается в благостное позднережневское время, а заканчивается в годы ранней перестройки, первого подъема «кооперативного» бизнеса. Исторических примет в книге не так уж много, хотя одним из ее героев оказывается тот, кого Кибиров именует «мразью густобровой», а автор «Я — не я» — Самый Главный. Так вышло потому, что центральный герой романа, скромный технарь Неделин, случайно поменялся с верховным старцем душами, вселился в его дряхлое тело, отправив хозяина сверхдержавы в тело бывшего мафиози. Мафиози же еще раньше стал Неделиным, вовсе не имея подобных намерений. Собственно и сам Неделин не собирался путешествовать по чужим телам и судьбам, но вдруг прорезался в нем такой странный дар, вдруг позавидовал он удачливому и хитрому жулику, встретился с ним взглядом и... пошло-поехало. Дело в том, что роскошный уголовник в тот момент не ждал от жизни ничего хорошего, он устал от своей стези, от постоянного «бега», преследований и разборок. И в ту секунду, когда глаза его встретились с глазами потертого интеллигента, он, не отдавая себе отчета, всей душой пожелал оказаться на его месте. Так и случилось, и все дальнейшие волшебные метаморфозы происходят в романе по той же схеме — все устало от своих судеб, все хотят «другой» жизни, все «эмигрируют из себя». Благодаря чудесной способности, проявившейся в тихом созерцателе Неделине, выстроилась странная цепочка: жулик — Самый Главный — модный певец-эстрадник — запойный божж — курица, — во всех этих ипостасях довелось побывать герою, что, в отличие от своих партнеров, никогда не мог до конца проникнуться заглавным тезисом романа.

Неделин (без которого не было бы никаких превращений и приключений) легко входит в чужую жизнь (собственно говоря, его дар — продолжение страстного интереса к «чужой жизни», что заставлял героя бродить по улицам и всматриваться в освещенные окна). Оказавшись на месте очередного персонажа,

Неделин не перестает быть собой и одновременно ощущает ответственность за свою новую роль. Он изо всех сил старается «навести порядок» в жизненном пространстве своих невольных напарников: иногда это удается лучше, иногда хуже, иногда сулит доброе продолжение, иногда сходит на нет. Неделин самым фактом своего существования свидетельствует о психологической близости других разнокалиберных персонажей — их беды, вины, радости, преступления становятся какой-то общей бедой, виной, радостью, преступлением. Те, кто рванул из своей оболочки, весело забывают (точнее — вычеркивают из памяти, уводят в подсознание) собственное прошлое, иногда после недолгих колебаний — им хорошо не быть собой.

Так, Самый Главный, оказавшись в психушке (ибо у «молодого человека» обнаружилась явная мания величия, он «выдавал себя» за Самого Главного), с удовольствием читает книги для детей и юношества, открывает в них истинную мудрость и настоящее благородство и с высокой иронией глядит на своего дряхлого двойника, правящего дряхлой страной. Более того, он радостно предвкушает комедию собственных похорон и предполагаемую смену мелодий в риторико-идеологической шарманке. Тому, кто прочел «Урфина Джюса», советский миф смешон. Вообще-то в Самом Главном и прежде таились подобные предположения. Однажды он, зачитавшись предназначенной для внука книгой про похожих принца и нищего, произвел грандиозный сумбур в высших эшелонах власти и в конечном итоге заставил стоять на ухах весь мир, почуявший дыхание ядерной войны. Грандиозные следствия миниатюрной причины заметили все (включая авторского двойника — возникающего в нескольких романских эпизодах «Алексея Слаповского», что в тот самый день, напившись в дым, сообщил ошеломленной жене: «я — не я») — они оказались несуществующими только для старика-властелина, увлеченного чтением Марка Твена. Точно так же в дурдоме читает он другие книги, что, разумеется, гораздо человечнее его «нормальных» деяний.

Тут-то и обнаруживаются подлинное изящество и глубина художественного мышления Слаповского. Лучше-то оно лучше, но куда девать все, что уже натворил державный простотфиля, усталый людоед, впавший в детство (вспомним бесконечную серию «брежневских» анекдотов) Начальник? Детство (маразм) — отдушина, раковина, в которую Самый Главный прячется от надоевших обязанностей и ритуалов (отсюда рифмованного обычного чтения Марка Твена и «фантастического» пребывания в чужой плоти).

Этого счастливого легкомыслия, этой освобождающей от груза злодейств безответственности и не знает Неделин, ставший Самым Главным. Разумеется, ему не удастся выйти из границ крем-

левской системы. Максимальный успех Неделина — это снятый на важном заседании пиджак (его примеру тут же последовала приближенная братия, и «смелое решение» едва не было истолковано как знак серьезных перемен). Он не может даже выйти в город: в собственном обличье — нельзя, так как всенародный восторг, по мнению охраны, грозит толчеей и беспорядком; нельзя и в замаскированном виде — останавливает тот же начальник охраны, ибо неведомо кому не положено шастать вблизи резиденции Главного. «Святой» порыв Неделина-Главного резануть правду-матку с высокой трибуны, сказать наконец-то, что и без него всем известно, — о катастрофе, до которой доехала страна, разбивается вдребезги. Восторженная овация вызывает волнение, дабы успокоиться, первые слова произносятся по бумажке, а дальше приходит в голову понятная мысль: всем хорошо, все радуются, ну что я их буду огорчать, да ведь и есть же за что меня любить. Это не только разоблачение общественного лицемерия — Слаповский показывает (как и в случае с детскими книжками, что и впрямь выше любой политики) нерасторжимую связь добрых чувств и откровенного злодейства, чувствительности и цинизма, беспомощности и страшной власти. Видя срыв Неделина-реформатора, невольно думаешь о том, сколько раз точно так же срывался Самый Главный в своем «настоящем виде».

А следующим встает вопрос: существует ли этот самый «настоящий вид»? Или человек полностью определен социальными функциями, системой ритуалов и норм, ближайшей средой и неведомо как сложившейся эпохой? Подойдя к «положительному» ответу вроде бы очень близко, Слаповский всегда «успевает» сделать крутой поворот. Опыты Неделина по обустройству чужих миров неудачны, но его поведенческая стратегия (в любом воплощении) в корне отлична от радостного подчинения обстоятельствам у других персонажей. Они, убежав от себя, — кайфуют. В одном только случае переживают некоторые неприятности, о которых легко забыть потом. Для алкаша Фуфачева все чудеса, с ним свершившиеся, — какое-то дурацкое наваждение. Вернувшись в свой истинный образ, он радуется тому, что в руках у него деньги и флакон лосьона (пребывая в фуфачевской ипостаси, Неделин успел «завязать» и наладить порядок в разваливающейся семье), а детородный орган вернулся на свое место (по некоторым причинам, для объяснения которых пришлось бы пересказывать слишком большое количество сюжетных поворотов, сей важный член у иных персонажей отсутствует). Остальным участникам перевоплощения приносят только радости.

Мир, описанный Слаповским, — это мир неустойчивый, мерцающий, бликующий, аморфный. Если «сладкий» эстрад-

ный певец легко становится (без всяких чудес) певцом «роковым» (в обоих смыслах слова), то что мешает алкашу стать генсеком, а жулику — курицей-наседкой? Избавившись от обрыдлой роли, люди на какой-то миг становятся лучше, но это мнимое улучшение — изначально эгоизм сохраняется, «высветляющей» энергии, которой словно бы наделяет партнеров Неделин, хватает ненадолго.

Мафиози Запальцев, попавший в недельскую шукуру, семью, судьбу, приобрел пристойный имидж, но сохранил свои волчьи повадки. Пока Неделин странствовал по городам и душам, тот преуспевал, рос на службе, заводил бизнес, обрстал материальными благами и радовал недельскую жену, не устающую дивиться вдруг явившейся оборотистости прежде недотепистого мужа. Ее устраивал Неделин-Запальцев — не устроит ее «натуральный» Неделин. Возвращение мужа будет ею воспринято как его помешательство: жена готова слушать басни про «я — не я», готова даже терпеть свою судьбу, но любви ко все потерявшему бедолаге у нее нет. Возвращение Неделина домой, столь долго им чаемое, совсем не похоже на возвращение Одиссея: Итака обернулась еще одним незнакомым и враждебным островом.

Странствующий Неделин испытал многое — одного не было в его приключениях: интимной близости с женщиной. Хотя женщин он встречал изрядное количество, но всегда что-то мешало: то внешние силы, то каприз избранницы, то позаимствованные у партнеров физические недостатки (дряхлость Главного, алкоголизм Фуфачева, специфический недуг певца Субтеева). Женщины оставались тенью одной, недостижимой: недаром все они (а также и жена романного «беллетриста Алексея Слаповского») соименницы Елены Прекрасной. Неделин не может «воплотиться» — и в этом его роковое отличие от остальных персонажей, которым свойственна выраженная, агрессивная плотскость, чья жизнь так или иначе сводится к «вечному кайфу» (жизнелюбие плюс безответственность), характернейшей примете того времени, что мнило себя вечностью. И покамест, как мы видим это на каждом шагу, время это не кончилось. Все нынешние напасти России растут из тогда сформировавшегося сознания общества, каждый сочлен которого по своему был Королем-Солнцем и твердо знал: после меня хоть потоп.

Потому-то возвращение Неделина обернулось его предпоследним поражением: он смирился с давним сереньким существованием, придумал о нем ласковую сказку с уютной бессмысленной конторой, с пустыми вечерами, с мнимой (случайной) семьей. Так герой повести Зуфары Гареева «Аллергия Александра Петровича», волей вышних сил выброшенный в мороз и одиночество, мечтает

о прежней благодати службы, где «чаечек-кофеечек, мармеладик-сервिलाдик». (Кстати уж, заметим, что поэтическая проза Гареева — «Парк», «Мультипроза», «Аллергия...» — густо насыщенная фольклорно-игровыми мотивами, бликующими реминисценциями, трухой «советских» штампов, пародийными ходами, мифологизированными картинными-символами советского бытия, вроде «парка» в одноименной повести, «конторы» в «Аллергии...», «гастронома» и «молочного комбината» в «Мультипрозе» могла бы послужить связующим звеном между поэзией Кибирова и романами Слаповского.)

Неделинская сказка пожухла — внешне все изменилось (контора «перестроилась», жена привыкла к большему довольству). Старую мерзость герой надеялся одухотворить. Новой (сохранившей суть, но поменявшей форму) он не выносит. Отсюда разрыв с женой, психушка, одиночество — все тот же поиск своего «я», что может быть обнаружено только благодаря любви, благодаря тому, что его найдет в тебе другой человек — женщина.

И счастье наметилось. Неделин встретил женщину, не являющуюся тезкой Елены Прекрасной, готовую его полюбить. Но на это теперь уже нет сил у героя. Здесь стоит задуматься над его фамилией: в романе устами одной из Лен дано ее парадоксальное истолкование — неделность, цельность (и это, при кажущейся нелепости, в какой-то мере соответствует истине); прямой смысл тоже значим: неделя вершится воскресеньем, жизнь Неделина — актом, полярным воскресению, самоубийством.

* * *

Если роман «Я — не я» открывался взглядом в чужие освещенные окна, то новая книга Слаповского закрывается освещенными окнами, у которых застыли в ожидании многочисленные персонажи. Они ждут (даже когда о том не ведают), ждут возвращения... скажем, дабы избежать соблазна, героя. Началось же все с того, что житель маленького городка при железной дороге, сумасшедший местного значения, привыкший со страхом и трепетом ждать «Последних известий» по радио, прочитал в перестроившейся газете «Гудок» (а какую еще газету должно читать в железнодорожном городке?) о том, что Библия — книга замечательная. Он купил эту книгу. И тут стало ясно, что известия-то действительно «последние» (тихий безумец и раньше боялся этого слова: «последние» значит «других не будет»), что «Гудок» — это гудок, труба архангела, — ибо звали безумца Иваном Захаровичем, а счел он себя Иоанном Предтечей (сыном Захарии). Разумеется, Иван Захарович начал искать Христа. И нашел в своем же городке: у женщины по имени Мария был сын; при этом получалось

так, что муж Марии (пропойный пьяница) никак не мог быть отцом мальчика, а заподозрить Марию в грехе никому и в голову не приходило. Иван Захарович открыл Сына Божьего в молодом человеке по имени Петр, который вполне сошелся бы на плакатного героя из социалистического романа, если бы не очевидная его любвеобильность и привычная для жителей городка (но не чрезмерная) приверженность вшивке.

Дальнейшее в пересказе моем может показаться кощунством (в том-то и сила Слаповского, что он решает крайне рискованную задачу, продумывая всю серьезность вымышленной им ситуации и находя верные слова, интонации, сюжетные повороты): Иван Захарович делится с Петром своим открытием. Тот, натурально, не верит, спорит, сердится, но, дабы отыскать аргументы, начинает читать Писание. Дальше же все происходит согласно Евангелию: есть и пост в пустыне, и искушение, и претворение воды в вино, и хождение по водам, и призвание апостолов, и моление о чаше, и... Поначалу кажется, что Слаповский играет и шутит: совпадения, которые радостно фиксирует Иван Захарович (а его, кстати, ждет усекновение главы по наущению местной Иродиады — правда, весьма неожиданным способом), выглядят натянутыми. Не верит своему наставнику и герой. Но уже сцена искушения (за неимением Сатаны Иван Захарович берет на себя его роль) вызывает оторопь: Петр отказывается шагнуть с колокольни по вполне объяснимой причине — можно разбиться, но эта-то обыденность и оказывается смыслом ответа Христа: «не искушай Господа Бога твоего» (Мат. 4, 7). Чем дальше, тем ближе сюжет к евангельскому, тем (несмотря на скандально-современный контекст) крепче читательское недоумение (да неужели автор хочет нас и впрямь убедить? неужели хотя бы в романе такое возможно?) и тем мучительнее и страшнее Петру, то пытающемуся уклониться от своей стези, то приближающемуся к... (своей судьбе? своему страшному заблуждению?).

Кем бы ни был Петр, но в нем растет и растет любовь ко всему миру, тревога за него, жажда прощения и жертвенного искупления. То, что брезжило в Неделине, в Петре становится волей, он хочет спасти мир и на этом пути доходит до веры в то, что... действительно, все так и есть. Не останавливает его сознание прежней греховной жизни и даже «непредусмотренность» «первого второго пришествия». В разговоре с умным и искренним священником из интеллигентов (тот станет одним из «апостолов») Петр пытается на человеческом языке выразить суть происходящего: род людской погряз в грехе, и Господь решил на «последнее предупреждение». Отчетливый комизм этого объяснения не должен затмевать его смысла: что может знать человек о воле Бога? По-

чему мы рискуем (по слову поэта) Богу «предписывать приемы». Во всяком случае, «апостолы» (вопреки своему опыту, а это люди разного социального статуса, от вора до «ответственного работника», которых роднит одно: они вовсе не ждали избранничества) верят в Петра (трагикомические их споры вполне советского толка тому не помеха — а все ли так гладко было тогда, у рыбаков и мытаря?). Верят иначе, чем он сам, до последнего часа мучимый сознанием крестного пути: они-то ждут чуда и торжества, как ждали его некогда в Гефсиманском саду. Все же свершается почти по Евангелию, и это почти, вроде бы отводящее от соответствия, особенно сильно: разве глубинное родство событий не важнее расхождения в деталях, что обусловлены совсем другими, если угодно, социокультурными ситуацией и средой?

Здесь не место для детального анализа (к тому же статья пишется, когда номера «Волги» еще находятся в типографии и, вероятно, выйдут в свет почти одновременно с романом Слаповского). Подчеркну лишь три обстоятельства.

Во-первых, если Петр страдает, проделывая путь от неверия к вере (и посвоему его мука отображает ту муку, через которую, вероятно, проходит всякий человек, стараясь обрести веру, прийти к Богу), то совершенно иначе ведут себя кандидаты на роль антихриста. Их в романе аж два: оба с азартом занимаются числовой игрой со своими именами, пытаются доказать свой приоритет; страстно спорят друг с другом о том, кто же из них будет владеть миром, что приводит к достойному финалу: один антихрист мочит другого. Зло легко и соблазнительно: век как бы готов стать антихристовым царством. Не готов он к иному.

И это во-вторых. Никто не ждет второго пришествия. Огромное количество лже-мессий, «пророков» и «целителей», подвизающихся на эстраде (эта роль навязывается Петру и даже какое-то время им исполняется), в сущности, не воспринимается всерьез. Это полезно, это щекочет нервы, это улучшает моральный облик общества, которое знает: делу время — потехе час. Более того, тот просвещенный батюшка, которому довелось стать спутником Петра, встретившись с ним и почувствовав возможность того, что Христос и вправду пришел, испытывает странное чувство дискомфорта. Он всегда знал, что час пришествия — тайна и что к нему должно готовиться. Он никогда до конца не верил, что такое случится с ним. Он полагал, что на его век хватит, хотя и не смел себе в том признаться. (Ясно, что и здесь речь идет не о герое, а о сути веры, о всегдашней проблеме, лишь «проигранной» в современных интерьерах и ритмах.)

Наконец, в-третьих. Голгофа, распятие, позорная и страшная смерть насти-

гают Петра. Настигают, когда он думает, что еще целый год впереди (ему тридцать два). И тут важна не только уже обговоренная мною поэтика «неполных совпадений» — не менее важно глобальное расхождение с Евангелием: «первое второе пришествие» лишено воскресения. Петр ошибся. Он был только человеком, возлюбившим Бога и ближнего своего. Но он был в этом самом сгубившем его мире, среди этого зла и мрака, среди этого забвения о высшем. И те, кто с ним соприкоснулся, те, кто ему поверил (или не поверил), те, кто его гнал и предавал, не могут забыть о Петре. Как известно, князь Мышкин тоже потерпел поражение.

Параллель с романом Достоевского (в котором, кстати, Лебедев толкует Апокалипсис) вполне очевидна. Кроме ожидания второго пришествия — «о дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13, 32), — точнее сливаясь с этим чувством, живет в человеческом сознании и иное: обостренное внимание к своей эпохе как к «последнему времени», с одновременной надеждой, что все же пронесет. Этого-то сознания и лишен был «князь-Христос» Достоевского и совсем непохожий на него (но и похожий, ибо оба они стремятся к Богу) герой Слаповского: еще один несостоявшийся (но верно ли до конца это определение?) испугитель.

Герой Слаповского существовал «здесь и сейчас». И его появление более закономерное, чем парад ложных двойников (романных и жизненных). Бессмысленно спорить о том, бывают (и бывали ли) эпохи «страшнее», «подлее», «растлениее» и т. п., чем девятые годы XX века в России. От нашей боли и нашего стыда нам никуда не деться: пробуждение от страшных и приторных снов — долгий процесс. Никто не отменит нашей тревоги и не избавит нас от чувства вины за то, что было вчера и есть сегодня.

Вопрос о «втором пришествии» — внутреннее дело каждого, кто этим вопросом задается (вольно и не задаваясь). Есть, однако, разница между христианской готовностью к концу и суверенным переживанием своей эпохи как «перманентного апокалипсиса». Преодоление этого состояния неотделимо как от внутренней духовной работы, так и от усилий по очеловечиванию общественных отношений, житейских, гражданских и политических норм. Стихи Кибирова и проза Слаповского симптоматичны для нынешней ситуации, это попытки (на мой взгляд, редкостно счастливые) художественного осмысления того «пограничного» бытия, что выпало на нашу долю, это попытки вернуться в историю из сумрачного леса, где оказались, увя, не только те, кто подобно поэту и прозаику ныне достигли середины странствия земного. Смысловая напряженность вчерашнего, сегодняшнего

и гадательного завтрашнего в их созданиях; свет, что не гаснет в окнах их героев; напряженное чередование вполне «созвучного» общему настроению чувства исчерпанности, конца, обрыва (возможны варианты в ключе ненормативной лексики) и надежды на человека, слитой с доверием к большой духовной традиции; наконец, но не в последнюю очередь, странное единство юмора (лишь кажущегося циничным) и пафоса, отсутствия того, что Набоков называл (а Кибилов слова эти цитировал с полным чувством) «банальной боязнью банального» подвели меня к идее этой статьи — «двойного портрета» на фоне заката. Для того, чтобы встретить утреннюю зарю, надо взглянуться в вечернюю, взглянуться, помня, что солнце — одно. Чувство истории вовсе не равно антикварному смакованию ушедших радостей-гадостей. Скорее уж оно было присуще алкашу из вечно актуального анекдота, что может служить лучшим изображением нынешней «экономической» (а, может, и не только экономической) жизни.

Пьянчуга, вернувшись домой на бровях, ошарашил жену ответом на ее причитания о том, что, дескать, чего ты водку пьешь — все равно всей не выла-

каешь. Муженек возразил: «Выпью. Вернее выпьем», — а когда его дражайшая половина потянулась к телефону, дабы вызвать психовозку, пояснил: «Помнишь, была водка по два восемьдесят семь — выпили, по три шестьдесят две — выпили, по четыре двенадцать...» Далее читатель может предложить сам. Финал — «вот и эту по... допиваем» — оставляю с отточием, ибо к моменту публикации цена водки явно вырастет, а насколько — не мне судить.

Та водка выпита. Та колбаса съедена. Но жизнь от этого не кончилась и судьба не захлебнулась. И, как написал Кибилов в поэме «Литературная секция» (после всех глумлений над «вакансией поэта» и всех признаний в ее бесконечной высоте, после крика отчаянья и свидетельства об обреченности слову), как написал он, соединяя несоединимое и затрудняя положение цитирующего:

А там над рекой
посмотри же, вверху, над Коньково,
над балхашскою теплой волной,
над булуноскою тундрой суровой,
надо мной, над женой, над страной,

над морями, над сенежским лесом,
где идет в самоволку солдат,
там, над фабрикой имени Лепсе,
о...тельный стынет закат!

Евгения Кацева

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ БОРЬБЫ

(ФРАНЦ КАФКА — ПО-РУССКИ)

Специалистам известно, что первое произведение, которое Кафка читал своему другу, будущему душеприказчику, издателю и биографу Максу Броду, было написано в 1903 или 1904 году и называлось «Описание одной борьбы». Вспомнив титул этой незаконченной, как то часто бывало у Кафки, повести, я хочу совершить маленький плагиат и так назвать свою невеселую историю.

Прошу прощения у возможного читателя за то, что по ходу повествования мне придется довольно часто прибегать к личному местоимению. Но я исхожу из того, что наряду с чрезвычайно важными теоретическими исследованиями, анализами и размышлениями некоторый интерес может представить и рассказ «от первого лица», посвященный истории появления — или непоявления — произведений Кафки в бывшем Советском Союзе, точнее говоря — некоторым «этапам» двадцатилетней борьбы за внедрение их в круг чтения на русском языке.

В последние годы советские читатели, как известно, получили возможность легально читать из отечественной и зарубежной литературы то, о чем раньше и мечтать нельзя было. Теперь же, как необратимый результат давно испарившейся и ставшей ругательным словом перестройки, все, ну решительно все, может быть даже и больше, чем было бы полезно пробуждающемуся сознанию, широко печатается и читается.

Наряду с хранившимися в письменных столах и других местах рукописями, книгами добровольных и вынужденных эмигрантов, мощным потоком хлынула и зарубежная литература. И хотя с нею-то у нас дело всегда обстояло лучше, чем с родной, она раньше тоже должна была выдерживать идеологическую проверку: не антисоветская ли это книга, или таковой может быть воспринята, не высказывался ли автор не подходящим для нас образом, не содержит ли она чего-то, что может прийтись не по вкусу нашим зарубежным друзьям. (Примечательный пример: в романе Генриха Белля «Глазами клоуна» была страница, содержащая критические впечатления автора о поездке в ГДР, — для того, чтобы книга у нас вышла, пришлось сделать купюру.) Можно сказать, теперь к нам пришло все, что «имеет имя», — мы усердно восполняли пропущенное. Даже роман Оруэлла «1984», который однажды на страницах «Литературной газеты» чья-то хитроумная голова назвала «антиамериканским» (уж не с благим ли намерением снять с него запрет?!), увидел свет на русском языке.

И один лишь Франц Кафка оставался неприступным бастионом, приближаться к которому, не говоря уж о взятии его, считалось «нецелесообразным».

...Начиналось знакомство с Кафкой довольно нормально. Правда, с привычным опозданием, сперва с упоминаний, в сопровождении обычных негативных определений, как, например, «больной талант», «декадент», «модернист»

(это, пожалуй, не относится только к первой статье — Льва Копелева в его книге «Сердце всегда слева», глава «В бездне одиночества», 1960).

Но — как бы то ни было — началось.

Первая, так сказать, личная встреча советского читателя с Кафкой состоялась в 1964 году, когда журнал «Иностранная литература» опубликовал, в великолепном переводе С. Алта, несколько новелл («Превращение», «В исправительной колонии» и несколько небольших), с предисловием Евгении Книпович. Потом была большая статья Дмитрия Затонского в журнале «Вопросы литературы», где я тогда работала. (Статья эта потом выросла в книгу «Франц Кафка и проблемы модернизма», 1965.) В 1965 году издательство «Прогресс» выпустило солидный том — роман «Процесс» и большую часть новелл и притч. С обстоятельным предисловием Бориса Сучкова.

Зарубежному читателю, почти полвека имевшему возможность в несчетных изданиях, в разных комбинациях вдоволь читать Кафку, неисчислимые статьи и книги о нем, такое тщательное перечисление показалось бы странным. Но поскольку список «вторжений» в Кафку у нас этим почти исчерпывается, придется бережно обращаться с таким достоянием.

Было бы несправедливо сегодня, а тем более вчера, пренебрежительно отмахнуться от первых работ о Кафке. Они были обусловлены не только временем, но и тогдашним уровнем литературоведения, но и идеологическим постулатом — бороться против всего и разоблачать все, что не утверждает социалистические ценности. Без такого предисловия Б. Сучкова знаменитый «черный том» наверняка не появился бы. Словом «такого» я вовсе не хочу охаять первые статьи. В них были интересные и важные мысли, наблюдения, да попросту они были информативны. Свою просветительскую задачу статьи эти выполнили. А пропагандистские и контрпропагандистские черты с них легко соскоблить. Что, например, видно по последующим работам Д. Затонского. Б. Сучкову же эта возможность, к сожалению, не была дана. Но он многое сделал для издания зарубежной литературы, не только Кафки, но и других «трэфных» авторов.

Список публикаций самих произведений Кафки требует еще более бережного отношения, так как, при всей краткости, он дает — на фарсовый, можно сказать, кафкианский лад — представление о целой системе культурно-политической практики.

В начале 1967 года издательство «Искусство» заключило со мной договор: составить и перевести книгу из дневников и писем Кафки. Издательство проявляло такой нетерпеливый интерес к книге, что еще за две недели до наступления срока сдачи рукописи напомнило «Глубокоуважаемой Евгении Александровне» о необходимости своевременно представить ее. Разумеется, день в день это было сделано. Издательство заказало две «внутренние» рецензии, кстати Б. Сучкову и Д. Затонскому. Они, так же разумеется, точно в срок были представлены, и рукопись украсила заветная виза «В набор». Оформление (художник Борис Алимов) тоже было готово.

И тут началось. В чем была причина — я не знаю, — но кто уж может сказать, в чем причина ареста Иозефа К. (роман «Процесс»)? Как бы то ни было, в сентябре 1967 года я получила письмо, подписанное директором издательства Е. Савостьяновым и обращенное уже просто к «Уважаемой Е. А.», в котором меня извещали, что «Главная редакция художественной литературы Комитета по печати при Совете Министров СССР предложила исключить из своих планов все непрофильные работы» и потому договор со мной аннулируется, за что издательство приносит свои извинения.

Подобное принять спокойно я, естественно, не могла. Накалила телефон, и через два месяца пришло новое письмо из издательства, снова от директора и снова «Глубокоуважаемой Е. А.», что издательство все же считает целесообразным издать книгу, договор восстанавливается, а предыдущее письмо аннулирует-

ся. Рецензия Д. Затонского должна быть расширена и статья пред- или послесловием. Ладно, сделано. Потом — новое условие: увеличить объем книги за счет 4-х (четырёх!) статей именитых специалистов, которые я сама должна организовать. Выглядело это комично и походило на усиленный конвой. Но — было сделано. Все вовремя поступило в издательство, после чего с авторами были заключены договоры.

В радостном ожидании я в начале 1968 года опубликовала в «Вопросах литературы» обширную подборку из «Дневников» (для чего потребовалось представить в Отдел культуры ЦК отзывы всех членов редколлегии и нескольких внештатных специалистов — ни мало ни много: девять отзывов). В том же 1968 году, причем в августе — в том самом августе! — ленинградская «Звезда» опубликовала знаменитое «Письмо отцу». Но август «свершился», и секретарь ЦК СЕПГ публицист Альфред Курелла (АДР) назвал, т. е. обругал, Кафку «духовным отцом Пражской весны». Подоплекой послужила известная конференция в Лидице (ЧССР) в 1963 году, посвященная 80-летию со дня рождения и 40-летию со дня смерти Кафки, которая в большей части Восточной Европы была сочтена пробой сил международного ревизионизма, породившей Пражскую весну. Определение Куреллы и стало неопровержимой оценкой Кафки и непреложным аргументом в борьбе против него.

В издательстве все застопорилось. Все запросы оставались безответными, никто не мог сказать, как обстоит дело и в какие двери стучаться. Пока наконец не пришло новое письмо от директора (и опять я была всего лишь «Уважаемой...»), что в связи с дефицитом бумаги план изданий сокращен, книга исключена, договор со мною, а также со всеми авторами статей аннулирован. Окончательно. Два экземпляра рукописи, в том числе подписанный «В набор», пропали (кстати, они до сих пор не найдены. И еще кстати: в вышедшей некоторое время спустя, в 1970 году, книжке Е. Савостьянова «Изобразительность и выразительность в искусстве» приводятся цитаты из рукописи перевода «Дневников» Кафки — конечно, без указания переводчика, зато с той же ошибкой, что содержалась в рукописи).

Наступили 70-е — начало 80-х годов. Несмотря на неблагоприятные времена, называемые сейчас «застоем», стали появляться книги, ранее читателю недоступные. Воодушевляемая каждой такой книгой, я то и дело предпринимала попытки «продвинуть» и Кафку. Тем более что и роман «Замок» был переведен той же блистательной Ритой Райт-Ковалевой, что в свое время перевела «Процесс». Журнал «Новый мир» его даже несколько раз анонсировал, но всякий раз вмешивались какие-то таинственные силы — в полном созвучии с Кафкой! — и рукопись пролежала еще семнадцать лет.

Еще один «этап». В 1972 году мою рукопись (к счастью, после «Искусства» остался третий экземпляр, было с чего перепечатывать) передал непосредственно директору издательства «Прогресс» человек, которого я непременно хочу упомянуть здесь добрым словом, — как ни странно, работник аппарата ЦК, куратор «Вопросов литературы» Юрий Борисович Кузьменко (он буквально до конца жизни целенаправленно давал ее читать кому только мог из влиятельных лиц, в том числе и в отдел пропаганды — Н. Биккенин и А. Гаврилов были «за», но они не вправе были решить вопрос; и в сектор издательств — здесь дело обстояло хуже, но и «нет» не говорили; и почему-то директору ВААП Б. Панкину, который позднее передал ее новому Председателю Комитета по печати Б. Стукалину и многократно напоминал ему о рукописи). «Прогресс» — издательство иностранной литературы, здесь уж на «непрофильность» не сошлешься.

Все началось с начала, по той же схеме. Снова «внутренние рецензии» специалистов, на сей раз уже пяти. Снова рукопись была подписана «В набор», несколько раз книга анонсировалась в печатных издательских планах, и ровно столько же раз (ни одним разом меньше!) вычеркнута. Гротескность ситуации

заклучалась еще в том, что в целом ряде книг известных литературоведов (Б. Бурсова, Г. Куницына, Ю. Суровцева и др.) приводились цитаты из рукописи, со сноской, где выражалась мне благодарность за возможность ознакомиться с ней и воспользоваться цитатами. Еще более кафкиански это выглядело, когда после смерти Б. Сучкова была опубликована книга с работами из его наследия, среди них — его рецензия на мою рукопись для издательства «Искусство» с указанием в примечаниях, для какой цели она была написана.

В 1977 году дело взял в свои руки Константин Симонов, чьей могучей энергии и «пробивной» силе мы обязаны опубликованием произведений Михаила Булгакова, Осипа Мандельштама, Ильи Ильфа и Евгения Петрова и многих, многих других. В феврале 1977 года он написал новому директору издательства «Прогресс» В. Седых письмо. Вот отрывки из него:

«Многоуважаемый Вольф Николаевич!

Хочу обратить Ваше личное внимание на рукопись, которая еще несколько лет назад была подготовлена в «Прогрессе» к набору, но до сих пор не издается. Это — «Дневники» Франца Кафки (составление, перевод и комментарии Е. Кацевой).

...Я сам не специалист, но просто, как писатель, прочитавший эту очень интересную рукопись, думаю, что издание «Дневников», кроме всего прочего, будет и немалым подспорьем для нас в различных международных литературно-идеологических дискуссиях. Особенно для тех из нас, кто, увы, не владеет иностранными языками и не может ссылаться на «Дневники» ни в подлиннике, ни в переводах на другие языки. Думаю, что и сам факт издания этой книги на русском — тоже немаловажен в кругу многих проблем, существующих вокруг так называемой третьей корзины.

...Прошу Вас поддержать сторонников издания книги и помочь включить в повестку дня вопрос о выпуске ее в свет в 1978 году».

Вот так: ни больше, ни меньше — «третья корзина» Хельсинкского соглашения!

Книгу снова вставили в издательский план. Для верности К. Симонов перед длительной поездкой написал Председателю Комитета по печати Б. Стукалину письмо с просьбой лично проследить, чтобы план снова не изменился:

«Дорогой Борис Иванович!

Чтобы не отнять у Вас лишнее время, прошу об одном — прочтите прилагаемую страничку — копию моего письма в «Прогресс», В. Н. Седых. Если оно покажется Вам убедительным, очень прошу посодействовать тому, чтобы упомянутая рукопись, включенная издательством после моего письма в проект плана, не вылетела из него при окончательной утряске.

Извините, что беспокою Вас, но вопрос этот кажется мне существенным.

Уважающий Вас

Константин Симонов».

7.VIII.77

После возвращения в Москву ничего не забывавший Симонов справился в ЦК о состоянии дел. Там его Г. Шахназаров заверил: подождем, как пройдет 10-я годовщина августа-68, а потом... А потом Симонов умер. По свидетельству его вдовы, Ларисы Жадовой, и присутствовавшего при разговоре его помощника Марка Келлермана, Симонов за два дня до смерти сказал: «А обещание Жене я не выполнил. Дело с изданием Кафки так и не довел до конца».

И снова вокруг Кафки наступила тишина. Лишь время от времени я безрезультатно стучалась в различные высокие двери... Трудно поверить, но и в «Прогрессе» подписанный «В набор» экземпляр пропал. А приведенные выше письма К. Симонова были после его смерти опубликованы в 12-м томе его собрания сочинений, с уже знакомым объяснением в примечаниях, для какой цели они были написаны.

Столетие со дня рождения Кафки чуть-чуть помогло. Кое-что удалось напечатать в «Литературной газете», «Иностранной литературе» и даже в альманахе «Современная драматургия». Несколько позже журнал «Октябрь» хотел опубликовать большую подборку из «Дневников», готова была уже верстка. И тут — из чистого «Нетерпения сердца» — я совершила крупную ошибку. Решила, что настала пора снова попытаться «двинуть» книгу. Позвонила бывшему Председателю Комитета по делам печати Б. Стукалину, ставшему к этому времени Заведующим отделом пропаганды ЦК (кстати, уходя с прежнего поста, он поручил своему первому заместителю по Комитету, И. Чхиквишвили, позвонить мне и сказать, что он помнит свое обещание покойному К. Симонову и непременно выполнит его). Б. Стукалин направил меня к соответствующему референту (В. Викторову), который принял меня почему-то не в своем кабинете, а в каком-то специальном, «ничейном». Беседа длилась около двух часов. Он рассказывал мне о важности для страны его собственного труда, — не помню, чему посвященного, кажется, что-то по гидротехнике, но, возможно, и другое. Хорошо запомнила я лишь то, что относилось к моему «делу».

Он: Ну вот, мы издали Булгакова, и что?..

Я: Да, и что? Советский Союз не пострадал.

Он: Мы издали Мандельштама, и что?..

Я: Да, Советский Союз стоит непоколебимо¹.

Он: Я хочу сказать, кому это нужно? Точно так же, как и ваш Кафка.

И так далее в таком же духе. В ответ я не нашла лучшего аргумента, чем запальчиво заявить, что нужен, нужен Кафка, раз в «Октябре» радуются своей предстоящей публикации.

Короче говоря, в тот момент, когда я, вне себя, почти бегом проделав путь до редакции «Вопросов литературы», влетела в свой кабинет, зазвонил, как в плохом романе, телефон: из редакции «Октября» мне сообщили, что только что «сверху» приказали снять публикацию Кафки... Экземпляр выправленной верстки у меня остался на память.

Это только некоторые «этапы». Были еще и «вешки». Как, например, инсценировка «Письма отцу», осуществленная Марком Розовским на Малой сцене МХАТа, с Андреем Поповым в роли отца. Моей главной заботой после премьеры было отговорить д-ра Марте, тогдашнего советника по культуре австрийского посольства в СССР, присутствовавшего на спектакле вместе с несколькими корреспондентами, от публикаций рецензий за границей. Но театр был менее терпелив. На один из спектаклей пригласили министра культуры, кандидата в члены Политбюро П. Демичева. Он ответил: «Этот труп гальванизировать незачем». Фраза эта, само собой разумеется, послужила смертным приговором инсценировке, которая лишь спустя годы, когда М. Розовский получил собственный театр, была возобновлена на сцене, но, увы, уже без Попова.

Или, скажем, дискуссия в комиссии по творческому наследию Симонова: нужно или не нужно продолжить его усилия по осуществлению изданий других авторов (Булгаков, Мандельштам, Кафка), т. е. считать это своего рода завещанием и довести дело до конца. Каждый член комиссии представил свое мнение в письменном виде. Мнения, увы, были различны...

В позапрошлом году я побывала в Австралии, и там мне подарили книгу на русском языке, изданную в 1981 году в Тель-Авиве издательством «Три богатыря». Это был... мой перевод «Дневников» и «Письма отцу» Кафки. Ни на титуле, ни в содержании моей фамилии как составителя, переводчика и комментатора не значилось (лишь внутри книги). Сперва я возмутилась: пираты, без моего согласия, даже без уведомления, не говоря уж о присылке книги, тем более гонорара, три ловкача, наверное из Одессы, втихую обделали

¹ Каким же никудышным провидцем я оказалась...

дельце! Потом радостно засмеялась: слава Богу, что я не знала, что книга не дошла до нас! Ведь из чистой боязни, что могут потребовать отчет, каким образом моя работа издана за рубежом, да еще в Израиле, я бы вообще ничего больше не предпринимала, долгие годы сидела бы тихо, как мышка.

Задумываясь над всем этим «процессом», невольно задаешься вопросом: из-за чего все это, все эти волнения, война нервов? Кто боится... Франца Кафки?

Артикулированный ответ «инстанций» обычно гласил: «Чешские товарищи нас не поймут». И тут не помогали никакие доводы, ни то, что Кафка умер за 44 года до Пражской весны, ни то, что жил он в Какании (Королевско-Кайзеровской Австро-Венгерской монархии) и если что и отражал, то никак не социалистическую действительность, а совсем наоборот, даже более того: о социализме он высказывался довольно нейтрально, послушайте, что он говорил о русской революции, как ему хотелось, чтобы Горький когда-нибудь написал воспоминания о Ленине, ведь о Льве Толстом он так замечательно написал... Тщетно.

Логично было бы предположить, что причина в другом. По всем привычным канонам, по принципу аллюзии Кафка, автор романа, первая строчка которого гласит: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест», — должен быть опасным для страны, где миллионы и миллионы людей, «не сделав ничего дурного», были арестованы и уничтожены. Кафка должен быть опасным для бюрократической машины, делающей человека беспомощным и беззащитным перед мощью ее маховиков, — вспомним роман «Замок». Или его высказывание: «Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги».

Но подобные аллюзии вряд ли приходили в голову «инстанциям» — они ведь Кафку попросту не читали. Иначе столь тонкое самозащитное чутье заслуживало бы восхищения.

Нет, истинная причина в другом. Ее недавно четко сформулировал профессор Эдуард Гольдштюккер на международном симпозиуме, проходившем в июне в честь 110-летия со дня рождения Кафки в небольшом городке под Веной, в Кlostернойбурге. Он сказал: в том, что в Восточной Европе Кафка был под запретом, виноват... Запад. Это на Западе кричали, что Кафка пророк, что его «Исправительная колония», «Процесс» и другие произведения — прообраз тоталитарной системы с ее механизмами уничтожения. Вот и испугались... Но и это, наверное, не все. Как каждый большой художник, Кафка был, не мог не быть, пророком, он открыл то, что относилось и к Какании, и к гитлеровской Германии, и к странам соцлагеря.

А теперь — о некоторых «победах».

В начале 1988 года, после множества сегодня — «да», завтра — «нет», при энергичном вмешательстве академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, все эти годы интересовавшегося перипетиями «борьбы», было разрешено, после предоставления двух новых рецензий, издать в приложении к «Иностранной литературе» томик с «Дневниками» и «Письмом отцу» — через двадцать три года после выхода в свет сучковского большого тома.

Это было как прорыв плотины: одновременно в двух журналах — «Иностранной литературе» и «Неве» — были опубликованы два перевода романа «Замок» — один, семнадцатилетней выдержки, перевод Р. Райт-Ковалевой (она еще успела увидеть свое детище), и другой — молодого ленинградца Г. Ноткина, который по собственному побуждению, зная, что по журналам и издательствам безуспешно мыкается перевод «самой» Р. Райт-Ковалевой, без надежды на опубликование сделал эту большую и очень нелегкую работу.

Начали шевелиться и издательства.

В 1989 году издательство «Радуга» — одна из половин разделившегося

«Прогресса», во главе с новым директором, кстати, германистом — Ниной Литвиной, выпустило в «престижной» серии «Мастера современной прозы» большой том, составленный мною из существовавших к тому времени переводов. 90-й же год был ознаменован почти судорожным стремлением чуть ли не всех издательств выпускать Кафку. Причем не только крупные издательства взялись за подготовку его книг, но и многие малые, которые в ту пору стали расти, как грибы, но и лопались, как пузыри. Оно и понятно: поток захватывающих дух доселе неведомых публикаций стал иссякать, Кафку же все еще окутывал флер запретного плода и сулил дивиденды. 91-й должен был вызвать настоящий бум: издательство ЦК КПСС «Правда» (!) подготовило однотомник; «Прогресс» — однотомник (в серии «Художественная публицистика»); Политиздат (!!) готовил двухтомник; Худлит — трехтомник; новое — коммерческое — издательство провело подписку на четырехтомник. Впору голове закружиться! Порой мне становилось не по себе — «закафкали», перекормим.

Напрасные страхи. Как только политические препоны и анонимные запреты отпали, на сцену выступили экономические факторы. Едва восстав из руин политической системы, Кафка стал жертвой нового монстра — рыночной экономики, с дичайшими гримасами ее начальной стадии.

Короче говоря, свет увидел только политиздатовский двухтомник. От «правдинского» однотомника у меня на память осталась сверка; равно как и часть сверки из «Прогресса». Что же касается подписного четырехтомника, то на нем я креста еще не ставлю. Но это уже другая история, не без детективных элементов. Задумавшее его издательство лопнуло, тайком передав (или перепродав) другому, а то — третьему, третье — частному лицу. Проводившие подписку магазины возвращали особенно настойчивым подписчикам (по требованию) аванс... Долго и мучительно я искала терявшиеся то тут, то там следы, пропадавшие тома рукописи, неизвестно куда девавшиеся пленки, макеты иллюстраций, наконец, подписи к иллюстрациям. Нашла. Все нашло. Привела в порядок, восполнила по копиям недостававшее. И вот оно готовится к выпуску, это издание, где полностью представлено все повествовательное наследие Кафки, письма к его главным корреспондентам, с огромным количеством фотографий, рисунков Кафки, иллюстраций на тему «Кафка в искусстве».

Неужто на этот раз?..

Надо ли утверждать либеральные ценности?

«Я художник, следственно, не либерал». Точнее, чем Блок, не скажешь. Однако в статье «Выбор» («Знамя», № 7) С. Чупринин подчеркивает, что намерен вести речь о рядовых либеральной гвардии. Поэтов, титанов и безумцев он сразу выносит за скобки — их единицы, да и слишком уж они наособицу. А В. Новиков в газете «Сегодня» (10.08.93) даже уточняет, какими видятся ему эти симпатичные рядовые: «простые, плохо одетые инженеры, учителя и мэнээсы, защищавшие Ельцина на митингах...» Все они, по мнению В. Новикова, уже располагают «стойкими навыками свободы», обретенными в ходе «вдохновенных занятий любимым делом».

Где, в какой стране это все происходит? В царской России? Но любимым делом там занимались разве что бомбисты-революционеры да граф Л. Н. Толстой, который, будучи гением, просто не мог не писать. Остальные, дабы прокормить семейство, тянули лямку постылой службы. В СССР? Но лучшие, жаждавшие свободы, шли в дворники, истопники, сторожа. Оставаться верными призванию им не давал режим. Кстати, они тоже имели детишек, а к тому же опасались закона о тунеядстве. В посттоталитарной России? Ввергнутые в мясорубку рынка, плохо одетые учителя и мэнээсы сейчас торгуют с лотков, пытаются промышлять бизнесом. Кое-как подрабатывают, бегая по совместительствам. Приобретают новые профессии. Свобода пришибла бедняг. А главное, посягнула на их святые нравственные устои, выражавшиеся в простеньком, но исчерпывающем тезисе: «Не в деньгах счастье». Оказалось — как раз в них. Вот и попробуй, обрети эту самую свободу в любимом деле!

Впрочем, кое-кто ее обрел. Преуспевшие нувориши, высшее чиновничество, все те же поэты-титаны. Единицы. Вернее, о д и н о ч к и. Трогательное их братание было продемонстрировано, в частности, на одном из пышных сабантуев в Доме кино, где роль почетных маршалов с блеском исполнили Гайдар и Бурбулис. Но что объединяет столь разношерстную публику? Успех, больше ничего. Тогда, может, само понятие «либерал», утратив первоначальный смысл, ныне лишь синоним индивидуала, человека вне всяких групп и объединений? Допустим. Но в таком случае зачем писать статьи, зачем издавать журнал соответствующего направления? Стоит ли, грубо говоря, огород городить?

Да, стоит. Хотя бы потому, что в былую пору либералы, сколь помнится, звались... диссидентами! Да-да, диссидентами, правозащитниками. Их мужеством втайне восхищались. «Безумству храбрых...» От народа эти подвижники-одиночки были так же далеки, как в свое время декабристы. Единицы читали сахаровскую Декларацию, но имя Великого Гражданина было свято, оно воплощало идеал жертвенности, столь почитаемый в православном сознании. А жертвенность есть высшая и безусловная нравственность. Как представлялось среднему человеку, обывателю, Сахаров хотел, чтобы перестали убивать в Афганистане, со временем бы улучшилось с колбасой и маслом, за чтение разных книжек не упрятывали бы в психушки. В общем, чтобы жить стало полегче. Борясь за себя (ибо либерализм, Чупринин прав, изначально эгоистичное «вероисповедание»), академик и его сторонники отстаивали интересы многих, б о л ь ш и н с т в а.

(Предвидя возражения, замечу: да, строго говоря, в рядах правозащитного движения находились не только либералы — в том понимании, какое вкладывает в это понятие автор «Выбора», — а и державники, демократы, христиане и прочие. Но, во-первых, окончательное размежевание между ними произошло лишь после 85-го года, а во-вторых, в глазах все того же обывателя именно либерализм, свободомыслие были неким символом противостояния власти.)

Но вот свершилось, режим пал. И что же? Нынешние либералы, вдруг утратив нравственные связи со своими предшественниками-диссидентами, превращаются едва ли не в апологетов твердой руки. Теперь они выражают интересы преуспевающего меньшинства. Они по-прежнему чувствуют себя героями-одиночками, но будто ослеплены свершившимися переменами. Для них вопроса: что выше — нравственность или свобода? — не существует. Выбор сделан.

Демократы, те раздумывают, громить ли оппозиционную прессу. Либералы требуют немедленного закрытия «Дня» и всевозможных «Правд». Долой Невзорова! Долой парламент! И да здравствуют телевизионные шоу: можно сжечь перед камерой свой партбилет, а можно во всеуслышание прокричать: мы с вами, господа реформаторы, не извольте беспокоиться!

Все бы ладно, да к чему такая поспешная смычка с сильными мира сего? С криминал-буржуазией? И все это прилюдно, по телевизору, на страницах газет и журналов. Где ваша бывалая гордость, господа? Постеснялись бы. Хотя бы собственного благополучия. Ему полагалось бы быть неброским, даже чуточку застенчивым. Под статью, если угодно, Андрею Дмитриевичу. Был бы он сейчас с вами? Не станем гадать. Но в память о человеке все-таки иной эпохи, иной формации, в память о право-з а щ и т н и к е — вспомните, господа, о сырых, убогих, просто о не-приспособившихся к рынку. Да вы, между прочим, тогда и не мечтали ни о каком рынке. Подновляли, исправляли социализм. Требовали исполнения законов социалистической конституции. А нынче?

Горько видеть сытость среди недоедания, вдвойне горько — сытость духовную. Да неужто две-три «этические, поведенческие и мировоззренческие аксиомы» (Чупринин) значимее основных христианских заповедей?

Ну, а если уже убивают? Если джинн выпущен из бутылки, зло «проартикулировано» (Чупринин) и кровь бывших сограждан по великой и неделимой льется рекой? Кстати, как мы теперь знаем, льется не без участия тех же либералов из числа интеллектуальной элиты (армянской, азербайджанской, абхазской и проч.), в свое время неразумно подогревавшей националистические страсти. Что в этом случае?

А ничего. Либеральная система ценностей табуирует любое насильственное вмешательство не только в частную, но и в общественную жизнь. Да, война, да несчастье, но коль уж произошло такое...

Хотя нет, в одном случае господа любители свободы безжалостны — когда речь идет о тех, кто выходит на улицы выразить несогласие с т. н. «демократическими» реформами. Тут призывается на помощь государство с его крепкой полицейско-омоновской дубинкой.

В остальных же ситуациях государство для либерала — всего лишь необходимое зло. Он терпит его, скрипя зубами. Солженицын? Да это же державник, апологет общинного духа, радатель за мощную православную Россию. Вот возьмет и запретит порнуху по телевидению, а вместо «Вестей» заставит слушать церковные проповеди. Нет, самому либералу порнуха без надобности, но не ущемлять же права ее поклонников. А то еще современное искусство чем-то не угодило мэтру из Вермонта. Видит он в нем сплошную власть тьмы. Да ничего подобного, нормальное искусство!

Каяться современному либералу, увы, не в чем. Он изначально прав, но это праваго одиночки-волка. Боль гражданина Башмачкина его не трогает. Зато ведома ему психология коммунистов, в особенности бывших. Те сильны, уверены в себе, хотя и привыкли к стадности. Последнее несколько шокирует глашатая индивидуальной свободы, ну да Бог их простит... И тут, чудится, пропасть между прежними заклятыми врагами не такая уж бездонная. Адепты всяческих революций и переворотов великолепно мимикрируют, так что, не исключено, ближайшее

пополнение в стан новых либералов будет происходить во многом за их счет. Если уже не происходит.

Пополнение? — удивится кое-кто. Но ведь либералы не собираются создавать свою партию, их вовсе не волнует, много ли у них единомышленников. В масонские ордена принимают. А тут — лишь дух, глубинное родство душ, которых, по Чупринину, наперечет.

И все-таки вольно или невольно одиночки ищут себе подобных. Вообще-то опыт показывает: свобода для себя часто оборачивается несвободой для других. Внутри своего круга нелиберал нетерпим к малейшим проявлениям инакомыслия. Он пишет разрыв-письма вчерашним собратям, тем, кто, по его мнению, преступил либеральную веру, он не прощает колебаний и слабостей в выборе пожизненных кумиров, а в словосочетании «мои Убеждения», само собой, подразумевает заглавную букву. Это — святое, руки прочь! И пусть при этом рухнет чья-то судьба (история с критиком Малухиным) — отлучение от тайного ордена неизбежно. Печатайся, но — у других. «Я оставляю за собой право быть неправым», — говорил один умный человек. В ответ на это наш ревнитель свободы только усмехнулся бы. Или отпарировал примерно так: либерал, как и сапер, ошибается раз в жизни.

Хотя, если честно, опыт сегодняшней жизни учит многому. Например, реализму. Он заставляет почитать любую иерархическую лестницу, а значит, и Его Величество Успех. Увы, приходится. Свобода, независимость — это прекрасно, да не по Сеньке шапка. Что позволено Юпитеру...

Надо заметить, список «олимпийцев-юпитеров» составлен Чуприниным достаточно произвольно. Но — дело вкуса. Все имена безусловно уважаемые. Только вот почему Масарский, а не Боровой или Ходарковский? Лишь потому, что учредитель фонда «Знамя»? Вообще-то с партией экономической свободы ссориться опасно... Но это шутка. Если же серьезно, то не худо было бы вспомнить и об А. Т. Твардовском, сделавшем для отечественного свободомыслия едва ли меньше Сахарова. Впрочем, и это ладно. Но вот то, что в списке отсутствует имя одного из главных застрельщиков современной нелиберальной идеи (если, конечно, таковая существует) — упущение принципиальное.

Чемпион мира по шахматам Г. Каспаров, если не по заслугам, то уж наверняка по громогласной истовости, чистоте своей «веры», должен был бы занять достойное место в чупрининском перечне. Идеальное воплощение жизненного успеха. Полная раскованность, отсутствие комплексов. Человек действительно ни от кого не зависимый, к тому же вроде бы оставивший попытки уйти во власть (то есть, по Чупринину и Новикову, — стать демократом). Цельный и яркий приверженец свободы. В будущем, думается, он заявит претензии на некое духовное, идейное лидерство. И тогда мы станем свидетелями беспрецедентного и тоже очень яркого пути, коим прошел российский либерализм во второй половине XX — начале XXI века. От Сахарова — до Каспарова! Сравнения и выводы делайте сами.

Что до «Знамени», то хорошо, если бы либеральная его направленность имела, так сказать, мемориальную окраску. В 20-е годы издавался журнал «Каторга и ссылка», на страницах которого старые политкаторжане воздавали должное своим товарищам по борьбе. Нечто подобное можно бы попытаться осуществить сейчас. Разумеется, в иных формах и масштабах. Знать, помнить историю противостояния тоталитаризму необходимо!

И тогда в руках простого, плохо одетого инженера, учителя или мэнэеса, торгующего с лотка джинсами, косметикой и прочим непотребством, мы непременно увидим журнал «Знамя». Как же истинному либералу без него?!

В. Левашов,
г. Ростов-на-Дону

В редакцию журнала

В 7 номере Вашего журнала за этот год опубликованы воспоминания Г. Померанца, названные «Гадкий утенок». Не давая оценки воспоминаниям как целому, хочу остановиться только на одном моменте. Г. Померанц пренебрежительно отзывается о выдающихся деятелях русской культуры, которые были учителями нашего поколения и которым все мы (я ровесник Г. Померанца) многим обязаны.

В 30-е годы существовала группа теоретиков, названная «течением» и возглавляемая выдающимся философом и писателем по вопросам эстетики Михаилом Лифшицем. Г. Померанц с уважением пишет об учениках Лифшица — В. Грибе и Л. Пинском, но при этом всячески стремится скомпрометировать самого Лифшица, представить его как человека номенклатуры, занимающего ответственное место в советском обществе.

Лифшиц вопреки утверждениям Г. Померанца не был ни редактором «Литературной газеты», ни редактором «Литературного критика». Единственная должность, которую он занимал, — заместитель директора Третьяковской галереи. На этой должности он сыграл огромную положительную роль в деле собирания и изучения древнерусского искусства. В 1949 году, в период кампании по борьбе с космополитизмом, Лифшиц подвергался гонениям и был исключен из партии.

Ничего, кроме возмущения, не могут вызвать такие, к примеру, слова Г. Померанца о Лифшице: «Я почувствовал его готовность примириться с любыми мерзостями, сохраняя при этом брезгливую уверенность, что все разумное действительно и все действительное разумно».

Как же можно писать в таком тоне о выдающемся ученом, авторе классических работ по истории литературы и эстетике! Нелепо и связывать мысли Лифшица о роли консервативного мировоззрения в творчестве писателя с пактом Молотова — Риббентропа.

Но не только Лифшиц стал объектом нападок благодарного «ученика». Два замечательных лектора — Б. Пуришев и Н. Гудзий — обвинены в том, что они «говорили банальности» и никаких «значительных мыслей у них не было». Да, Б. Пуришев и Н. Гудзий не были теоретиками в том смысле, в каком теоретиком был М. Лифшиц. Но они воспитали целое поколение, привили ему любовь к древней литературе, сделали специалистами. Лекции Б. Пуришева, посвященные средним векам и эпохе Возрождения, определили судьбу многих современных исследователей. Мне говорил мой покойный друг, видный исследователь Возрождения Александр Аникст, что Б. Пуришев первый направил его по этому пути и открыл ему красоты этой литературы.

Пушкин как-то заметил, что уважение к предкам — первый признак просвещенного человека. Неужели Г. Померанц не понимает этой простой истины?

А. Штейн,
доктор искусствоведения
Москва

Содержание журнала «Знамя» за 1993 год

ПРОЗА

- АВИЛОВА Алла — Удавшийся любовный треугольник. Рассказ. № 10
АНТОНОВ Сергей — Девочка. Рассказ. № 7
БАКЛАНОВ Григорий — Входите узкими вратами. Невыдуманные рассказы. № 3; Непорочное зачатие. Рассказ. № 10
БЫКОВ Василь — Стужа. Повесть. Перевел с белорусского автора. № 11
ВАСИЛЬЕВА Светлана — Время пионов. Роман. № 6
ВАССМУ Хербьёрг — Книга Дины. Роман. Перевод с норвежского Л. Горлиной. № 3
ВОЙНОВИЧ Владимир — Дело № 34840. № 12
ГАРЕЕВ Зуфар — Озноб. Рассказ. № 8
ДАВИДОВ Юрий — Зоровавель. Повесть. № 3; Заговор сионистов. (Конспект частного расследования). № 12.
ЕЖОВ Владимир — Без меня — тебе! Фрагмент. № 12
ЕРМАКОВ Олег — Фрески города Гороухици. № 6
ЗАНТАРИЯ Даур — О линиях жизни и печени. Рассказ. Перевел с абхазского автор. № 4
ИЛЬИНА Наталия — В одной отдельно взятой... Рассказы о давнем и недавнем. № 11
ИСКАНДЕР Фазиль — Пшада. Повесть. № 8
КАФКА Франц — Афоризмы. Перевод с немецкого С. Апта. № 6
КЕНЖЕЕВ Бахыт — Иван Безуглов. Мещанский роман. №№ 1, 2
КИРЕЕВ Руслан — Из поздней прозы. № 4
КУРИЦЫН Вячеслав — Сухие грозы: зона мерцания. № 9
КУРЧАТКИН Анатолий — Стражница. Роман. №№ 5, 6
МАКАНИН Владимир — Стол, покрытый сукном и с графином посередине. Повесть. № 1
МИТРОФАНОВ Илья — Кормушка для крыс (Ночная хроника). № 2.
НИКОЛАЕВА Олеся — Кук из рода серафимов. Рассказ. № 1
ОКУДЖАВА Булат — Упраздненный театр. Роман. Книга I. №№ 9, 10
ПЕЛЕВИН Виктор — Жизнь насекомых. Роман. № 4
ПЕТРОВ Григорий — Домовик Проша. Рассказ. № 3
ПОЛЯНСКАЯ Ирина — Рассказы. № 5
ПРОКОФЬЕВ Сергей — Рассказы. Предисловие и публикация Олега Прокофьева. № 2
ПЬЕЦУХ Вячеслав — Туда и обратно. Рассказ. № 5
РОНЬШИН Валерий — Проживание жизни. Рассказ. № 2
САПГИР Генрих — Очень короткие рассказы. № 10
СЕЛЬЯНОВА Алла — Новое поколение. Рассказ. № 11
СЛАПОВСКИЙ Алексей — Пыльная зима. Повесть. № 10
СМОЛЯНИЦКИЙ Михаил — Осведомленный. Повесть. № 9
ХУРГИН Александр — Страна Австралия. Повесть из провинциальной, а также и иной жизни. № 7
ШИШКИН Михаил — Урок каллиграфии. Рассказ. № 1; Всех ожидает одна ночь. Роман. №№ 7, 8
ШКЛОВСКИЙ Евгений — Сутра пятого патриарха. Рассказ. № 4

ПОЭЗИЯ

- АГРАНОВИЧ Евгений — Три послания одному адресату. № 9
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Сняющим шелком. № 6
АРАБОВ Юрий — Бумажный бифштекс. № 9
АСТИНА Марина — В темном зеркале. № 9
АХМАДУЛИНА Белла — Вид снизу вверх. № 10
ВЕРНИК Александр — Сад над бездной. № 11
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — Стихи разного времени. № 3
ГРИГОРЬЯН Леонид — Стихи девяносто третьего года. № 7
ГУБАНОВ Леонид — Волчьи ягоды. № 4
КАВЫШ Инна — Спасение. № 1
КАЛЬПИДИ Виталий — Записки из захолустья. № 6
КЕНЖЕЕВ Бахыт — Из книги «Ато ergo sum». № 1G
КИБИРОВ Тимур — Стихи этого лета. № 11
КЛЕНОВСКИЙ Дмитрий — Из собрания стихов. № 11
КРЮКОВА Елена — Литургия оглашенных. № 2
КУКИН Михаил — К Фурдуеву. № 12
КУШНЕР Александр — В мировом спектакле. № 5

- ЛЕОНОВИЧ Владимир — Ход китовраса. № 6
 ЛИПКИН Семен — Перед заходом солнца. № 2
 МАРК Григорий — Среди вещей и голосов. № 9
 МЕЙЛАХ Михаил — Рифей. № 7
 ОХАПКИН Олег — Вьюжная Пасха. № 4
 ПАВЛОВА Вера — Об этом. № 8
 ПОЛЕТАЕВА Татьяна — Ходят в поле кони. № 7
 ПОСТНИКОВА Ольга — Понтийская соль. № 12
 САНЧУК Виктор — Воспоминание о Северо-Востоке. № 8
 САПГИР Генрих — Новый вес и объем. Элегии. № 4
 СТЕПАНОВА Мария — Вертоград. № 3
 ТЕМКИНА Марина — С оказией... № 4
 ТОНЧИЧ Стеван — Из «Сараевской рукописи». Предисловие и подстрочный перевод с сербохорватского И. Радволиной. № 7
 УШАКОВА Елена — Новизна нашей жизни. № 11
 ФРОЛОВ Владимир — Дыханье. № 5
 ХАНАН Владимир — Что-то стало холодать... № 10
 ХЛЕБНИКОВ Олег — В том же составе. (Московская повесть). № 3
 ЧИЧИБАВИН Борис — Цветение картошки. № 7
 ШАЛАМОВ Варлам — Из «Колымских тетрадей» (1937—1956). № 1
 ЩЕРБАКОВ Михаил — Лекарство от государства. № 12.

М Е М У А Р Ы . А Р Х И В Ы . С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

- АБРАМОВ Федор — Кто он? Фрагменты незавершенной повести. Подготовка текста, публикация и комментарии Л. Крутиковой-Абрамовой. № 3
 БЕРДИНСКИХ Виктор — Колхоз «Некуда деваться!» (Устные рассказы вятских крестьян). № 10
 БОННЭР Елена — Без корня и полынь не растет. Вольные заметки. № 12
 ДО И ПОСЛЕ ТРАГЕДИЙ. Смерть П. И. ЧАЙКОВСКОГО в документах. Вступительная статья, публикация и комментарий В. Соколова; послесловие С. Фильштейн. № 11
 ЛАЗАРЕВ Л. — Шестой этаж. Главы из книги воспоминаний о «Литературной газете» во времена «оттепели» и «заморозков». № 6
 МАКАРОВА Елена — Джазовая импровизация на тему поломанной раскладушки. № 10
 МАНДЕЛЬШТАМ Надежда — Моцарт и Сальери. Публикация, вступительная заметка и комментарий Ю. Фрейдина. № 9
 ПОМЕРАНЦ Григорий — Записки гадкого утенка. №№ 7, 8
 УХТОМСКИЙ А. А. — Из неопубликованного наследия. Вступительная заметка, публикация и примечания Л. Соколовой. № 10
 ЧТО БЫЛО БЫ С РОССИЕЙ?.. Из застольных разговоров Гитлера в Ставке Германского верховного главнокомандования. Вступление, составление и комментарии Ильи Фрадина; перевод с немецкого Ильи Розанова. № 2
 ШАЛАМОВ Варлам. Воспоминания. Подготовка текста и публикация И. Сиротинской. № 4; Из переписки. Публикация и примечания И. Сиротинской. № 5.
 ШОСТАКОВИЧ Дмитрий — «Моя музыка никогда не умирала...». Из писем. Предисловие М. Кураева; публикация и примечания И. Д. Глигмана. № 1

U R B I E T O R B I

- БОРХЕС Хорхе Лунс — Четыре притчи о цивилизации. Предисловие и перевод с испанского Бориса Дубина. № 10

C R E D O

- МАСАРСКИЙ Марк — Правый центр? № 8
 САРАСКИНА Людмила — На безрыбье. (Самоидентификация от противного и очень противного). № 10
 ЧУПРИНИН Сергей — Выбор. Заметки русского либерала: опыт самоидентификации. № 7

П У Б Л И Ц И С Т И К А

- БЕШЛОСС Майкл Р., ТЭЛБОТТ Струоб — На самом высоком уровне. (Закулисная история окончания холодной войны). Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Н. Изосимовой. № 9

- ВИШНЕВСКИЙ Анатолий — Бурги без буржуа. № 3; Демографическая свобода в несвободном обществе. № 8
- ЗУБОВ Андрей — Третий русский национализм. № 1; Послесловие к эпохе этнических революций. (Советская практика современной теории этнических движений). № 5
- ИВАНИЦКАЯ Елена — Дедушка надвое сказал. (К проблеме преодоления ментальных мифологем в процессе обновления самоидентификации). № 12
- ИВАНОВА Наталья — Двойное самоубийство. (Интеллигенция и идеология). № 11
- КАКОВКИН Григорий — Служба, дело и дружба. № 4
- КТО ТАМ, НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ГОРИЗОНТЕ? Григорий ЯВЛИНСКИЙ в беседе с Людмилой САРАСКИНОЙ. № 3
- НОВИКОВ Феликс — Кто закажет застывшую музыку? № 4
- ПАНАРИН Александр — Проект для России: фундаментальный либерализм или либеральный фундаментализм? № 9
- СЕДОВ Леонид — Сопротивление материала. № 10
- СИМКИН Лев — Присяжные заседатели в конце начала. № 5
- СТАРИКОВ Евгений — Базар — не рынок. № 6; Антиподы. (Компрадорская и национальная буржуазия в России). № 12
- ФАДИН Андрей — Власть через кровь: путь вверх. (Социальный смысл постсоветских войн). № 2
- ШАКИНА Марина — Останутся только рабочие лошадки. № 7

ЭКСПЕРТИЗА

- СТАРИКОВ Евгений — Россия и «другие русские». № 2

MODUS VIVENDI

- КАБИН Григорий — Кабы разрешили... № 1
- ХАРИТОНОВ Марк — Родившийся в тридцать седьмом. № 1

КРИТИКА

- АГЕЕВ Александр — Мерзкая плоть. (Олег Ермаков и перспективы «афганской» литературы). № 4
- АРБИТМАН Роман — Капитан Фьючер в стране большевиков. (Западная беллетристика на наших книжных прилавках). № 8
- ВЯЛЬЦЕВ Александр — Литература и мораль. № 6
- ДОБРЕНКО Евгений — Стой! Кто идет?! (У истоков советского манихейства). № 3
- ЕЛИСЕЕВ Никита — Мыслящие вслух. (Гефтер, Померанц, Мамардашвили, Лосев). № 2
- ИВАНИЦКАЯ Елена — Из-под обломков. (Традиционные критерии перед судом действительности). № 5
- ИВАНОВА Наталья — Пейзаж после битвы. № 9
- ЛИПОВЕЦКИЙ Марк — Современность тому назад. (Взгляд на литературу «застоя»). № 10
- НЕДОСКАЗАННОЕ. (К итогам литературного года). Н. ИВАНОВА, К. СТЕПАНЯН, А. АГЕЕВ, В. ШОХИНА, С. ЧУПРИНИН. № 1
- НЕМЗЕР Андрей — Двойной портрет на фоне заката. № 12
- НОВИКОВ Вл. — Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий. № 7
- РУДЕНКО Мария — После литературы: игра или молитва? № 6
- СТЕПАНЯН Карен — Назову себя Цвайшпаццерен? (Любовь, ирония и проза развитого постмодернизма). № 11
- ТИХОМИРОВА Елена — В поисках утраченной жизни, или Вокруг смерти. (О романах третьей эмиграции). № 10
- ЧУПРИНИН Сергей — Сбившееся небывшее. (Либеральный взгляд на современную литературу — и «высокую», и «низкую»). № 9

ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

- ЖОЛКОВСКИЙ Александр — Поэтика произвола и произвольность поэтики. (Маяковский: «дачный случай» — 1928). № 11

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СМЕХ. Рассказы Аркадия АВЕРЧЕНКО, Аркадия БУХОВА, ТЭФФИ. Вступление и публикация Рафаэля Соколовского. № 3
КАЦЕВА Евгения — Описание одной борьбы. (Франц Кафка — по-русски). № 12
КИРЕЕВСКИЙ Евг. — Коррупция sub specie aeternitatis. № 1
КНИЖНИК Михаил — Из «Записной книги». № 9

В МИРЕ ЖУРНАЛОВ И КНИГ

АБАШЕВА Марина — Осенний поход отшельников. (О книге Беллы Улановской «Осенний поход лягушек»). № 9
АРЬЕВ Андрей — Искресатель. (О сборниках стихотворений Дмитрия Бобышева). № 11
БОЧАРОВ Сергей — Былое и думы по поводу жареного петуха. (О книге Е. Федорова «Жареный петух»). № 8
ПАНЧЕНКО Александр — Вера и разум. (Сборники памяти о. Александра Меня). № 3

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Владимир АБАШЕВ представляет книжную серию «Классики Пермской поэзии». № 7
Владимир НОВИКОВ представляет постмодернистскую новеллистику. № 2
Карен СТЕПАНИН представляет книги об исторических судьбах интеллигенции. № 5

НЕ СОВЕТУЕМ ЧИТАТЬ

Александр АГЕЕВ представляет серию «Жизнь замечательных россиян». № 6

ИЗ ПОЧТЫ «ЗНАМЕНИ»

БАРАНОВ Вадим — Ох, уж этот великий «пост»! Poleмические заметки о том, как «зачисляют» в классику и отлучают от нее. № 10
ЛЕВАШОВ В. — Надо ли утверждать либеральные ценности? № 12
ЛОБЫЦЫНА Мария — Кто вы, доктор Живаго? № 5
МОИСЕЕВА Н. — Был ли Достоевский эпилептиком. (История одной врачебной ошибки). № 10
ТАРТАКОВСКИЙ Марк — Историсофия, или Мудрость истории. № 4
ОТКЛИКИ на статью Н. Работнова «С дровами в XXI-й век?». № 6
ПИСЬМА Льва ШТЕЙНА (№ 3), Р. Н. ОВЧИННИКОВА и В. С. ХАРЧЕНКО (№ 11), А. ШТЕЙНА (№ 12)

* * *

БАКЛАНОВ Григорий. К читателям. № 12.

Общественный совет редакции:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, И. И. ВИНОГРАДОВЕ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ,
В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. С. МАКАНИН, М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА,
В. А. ТИХОНОВ, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Редколлегия: А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА (зам. гл. редактора), Е. А. КАЦЕВА (отв. секретарь), В. И. КАШИРСКИЙ, К. А. СТЕПАНИН, С. И. ЧУПРИНИН (первый зам. гл. редактора)

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-08, ответственный секретарь — 923-22-73, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 923-94-45, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.
Факс 921-32-72.

Технический редактор З. П. Кузнецова.

Сдано в набор 04.10.93. Подписано к печати 25.10.93. Формат 70×108^{1/16}.
Печать высокая. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч.-изд. л. 20,08.
Тираж 76 500 экз. Заказ № 831.

